

Фильдинг Генри
История Тома Джонса, Найденыша (Книги 1-6)
ПЕРЕВОД А. ФРАНКОВСКОГО

Mores hominum multorum vidit
Видел нравы многих людей

ДОСТОПОЧТЕННОМУ ДЖОРДЖУ ЛИТТЛТОНУ, ЭСКВАЙРУ
Лорду Уполномоченному Казначейства

Сэр! Несмотря на то что просьба моя предпослать этому посвящению ваше имя встречала у вас постоянный отказ, я все же буду настаивать на своем праве искать вашего покровительства для настоящего произведения.

Вам, сэр, история эта обязана своим возникновением. Ваше пожелание впервые заронило во мне мысль о подобном сочинении. С тех пор прошло уже столько лет, что вы, быть может, позабыли про это обстоятельство; но ваши пожелания для меня закон; оставленное ими впечатление никогда не изгладится в моей памяти.

Кроме того, сэр, без вашего содействия история эта никогда не была бы закончена. Пусть вас не удивляют мои слова. Я не собираюсь навлекать на вас подозрение, будто вы сочинитель романов. Я хочу сказать только, что несколько обязан вам своим существованием в течение значительной части времени, затраченного на работу,- другое обстоятельство, о котором вам, может быть, необходимо напомнить, если вы так забывчивы, относительно некоторых ваших поступков; поступки эти, надеюсь, я всегда буду помнить лучше, чем вы.

Наконец, вам обязан я тем, что история моя появляется в своем настоящем виде. Если это произведение, как некоторым угодно было заметить, содержит более яркий образ подлинно доброжелательной души, чем те, что встречаются в литературе, то у кого же из знающих вас, у кого из ваших близких знакомых могут возникнуть сомнения, откуда эта доброжелательность "писана? Свет, думаю, не польстит мне предположением, что я заимствовал ее у самого себя. Меня это не огорчает: кто же откажется признать, что два лица, послужившие мне образцом, иными словами, два лучших и достойнейших человека на свете - мои близкие и преданные друзья? Я мог бы этим удовлетвориться, однако мое тщеславие хочет присоединить к ним третьего - превосходнейшего и благороднейшего не только по своему званию, но и по всем своим общественным и личным качествам. Но в эту минуту, когда из груди моей вырывается благодарность герцогу Бедфордскому за его княжеские милости, вы мне простите, если я вам напомню, что вы первый рекомендовали меня вниманию моего благодетеля.

Да и какие у вас могут быть возражения против того, чтоб оказать мне честь, которой я добивался? Ведь вы так горячо хвалили книгу, что без стыда прочтете ваше имя перед посвящением. В самом деле, сэр, если сама книга не заставляет вас краснеть за ваши похвалы, то вам не может, не должно быть стыдно за то, что я здесь пишу. Я вовсе не обязан отказываться от своего права на ваше заступничество и покровительство из-за того, что вы похвалили мою книгу, ибо хоть я и признаю множество сделанных вами мне одолжений, но похвалу эту не отношу к их числу; в ней дружба, я убежден, не играет почти никакой роли, потому что она не может ни повлиять на ваше суждение, ни поколебать ваше беспристрастие. Враг в любое время добьется от вас похвалы, если он ее заслуживает, но друг, совершивший промах, может, самое большее, рассчитывать на ваше молчание или разве что на любезное снисхождение, если подвергнется слишком уж суровым нападкам.

Короче говоря, сэр, я подозреваю, что истинной причиной вашего отказа

исполнить мою просьбу является нелюбовь к публичному восхвалению. Я заметил, что, подобно двум другим моим друзьям, вы с большой неохотой выслушиваете малейшее упоминание о ваших достоинствах; что, как говорит один великий поэт о подобных вам людях (он справедливо мог бы сказать это о всех троих), вы привыкли

Творить добро тайком, стыдясь огласки.

Если люди этого склада стыдятся похвал еще больше, чем другие порицаний, то сколь справедливо должно быть ваше опасение доверить перу моему ваше имя! Ведь как устранился бы другой при нападении писателя, получившего от него столько оскорблений, сколько я получил от вас одолжений!

И разве страх порицания не возрастает соответственно размерам проступка, в котором мы сознаем себя виновными? Если, например, вся наша жизнь постоянно давала материал для сатиры, то как нам не трепетать, попавшись в руки раздраженного сатирика! Сколь же справедливым покажется, сэр, ваш страх передо мной, если применить все это к вашей скромности и вашему отвращению к панегирикам!

И все-таки вы должны были бы вознаградить мое честолюбие хотя бы потому, что я всегда предпочту угождение вашим желаниям потворству моим собственным. Ярким доказательством этого послужит настоящее обращение, в котором я решил следовать примеру всех пишущих посвящения и пишу не то, чего мой покровитель в действительности заслуживает, а то, что он прочтет с наибольшим удовольствием.

Поэтому без дальнейших предисловий преподношу вам труды нескольких лет моей жизни. Какие в них есть достоинства, вам уже известно. Если ваш благосклонный отзыв пробудил во мне некоторое уважение к ним, то этого нельзя приписать тщеславию: ведь я так же беспрекословно согласился бы с вашим мнением и в том случае, если бы оно было в пользу чьих-либо чужих произведений. Во всяком случае, могу сказать, что если бы я признавал в моем произведении какой-либо существенный недостаток, то вы - последний, к кому я решился бы обратиться за покровительством для него.

Имя моего патрона, надеюсь, послужит каждому приступающему к этому произведению читателю порукой в том, что он не встретит на всем его протяжении ничего предосудительного в отношении религии и добродетели, ничего несовместимого со строжайшими правилами приличия, ничего такого, что могло бы оскорбить даже самые целомудренные взоры. Напротив, заявляю, что я искренне старался изобразить доброту и невинность в самом выгодном свете. Вам угодно думать, что эта честная цель мной достигнута; и, сказать правду, ее скорее всего можно достигнуть в книгах этого рода, ибо пример есть картина, на которой добродетель становится как бы предметом зрения и трогает нас идеей той красоты, которая, по утверждению Платона, заключена в ней в своей неприкрытой прелести.

Кроме раскрытия этой красоты ее на радость человечеству, я пытался привести в пользу добродетели довод более сильный, убеждая людей, что в их же собственных интересах стремиться к ней. С этой целью я показал, что никакие выгоды, достигнутые ценой преступления, не могут вознаградить потерю душевного мира - неизменного спутника невинности и добродетели - и ни в малейшей степени не способны уравновесить зло тревоги и ужаса, поселяемых вместо них преступлением в наших сердцах. Я показал, что сами по себе эти выгоды обыкновенно ничего не стоят, а способы их достижения не только низменны и постыдны, но, в лучшем случае, ненадежны и всегда полны опасностей. Наконец, я всячески старался втолковать, что добродетель и невинность могут быть поставлены в опасное положение разве только опрометчивостью, которая одна лишь вовлекает их в ловушки, расставляемые обманом и подлостью,- назидание, над которым я трудился тем прилежнее, что усвоение его скорее всего может увенчаться успехом, так как, мне кажется, гораздо легче сделать добрых людей умными, чем дурных

хорошими.

Для достижения этой цели я пустил в ход все остроумие и юмор, на какие я способен, насмешками стараясь отучить людей от их излюбленных безрассудств и пороков. Насколько я успел в этом благом начинании, предоставляю судить беспристрастному читателю, но обращаюсь к нему с двумя просьбами: во-первых, не искать в этом произведении совершенства и, во-вторых, отнестись снисходительно к некоторым частям его, если в них не окажется тех маленьких достоинств, каких, надеюсь, не лишены другие части.

Не буду больше задерживать вас, сэр. В самом деле, я сбился на предисловие, заявив, что буду писать посвящение. Но могло ли быть иначе? Я не осмеливаюсь восхвалять вас; и единственный известный мне способ избежать этого, когда я о вас думаю, - либо хранить полное молчание, либо направить свои мысли на другой предмет.

Простите же мне все сказанное в этом послании не только без вашего согласия, но прямо вопреки ему, и разрешите мне, по крайней мере, публично заявить, что я, с величайшим почтением и благодарностью остаюсь,

сэр,
глубоко вам обязанный,
покорнейший и нижайший слуга

Генри Фильдинг
КНИГА ПЕРВАЯ,
КОТОРАЯ СОДЕРЖИТ О РОЖДЕНИИ НАЙДЕНЬША СТОЛЬКО СВЕДЕНИЙ,
СКОЛЬКО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЗНАКОМСТВА С НИМ
ЧИТАТЕЛЯ

ГЛАВА I

Введение в роман, или Список блюд на пиршестве

Писатель должен смотреть на себя не как на барина, устраивающего званый обед или даровое угощение, а как на содержателя харчевни, где всякого потчуют за деньги. В первом случае хозяин, как известно, угощает чем ему угодно, и хотя бы стол был не особенно вкусен или даже совсем не по вкусу гостям, они не должны находить в нем недостатки: напротив, благовоспитанность требует от них на словах одобрять и хвалить все, что им ни подадут. Совсем иначе дело обстоит с содержателем харчевни. Посетители, платящие за еду, хотят непременно получить что-нибудь по своему вкусу, как бы они ни были избалованы и разборчивы; и если какое-нибудь блюдо им не понравится, они без стеснения воспользуются своим правом критиковать, бранить и посылать стряпню к черту.

И вот, чтобы избавить своих посетителей от столь неприятного разочарования, честные и благомыслящие хозяева ввели в употребление карту кушаний, которую каждый вошедший в заведение может немедленно прочесть и, ознакомившись, таким образом, с ожидающим его угощением, или остаться и ублажать себя тем, что для него приготовлено, или идти в другую столовую, более сообразную с его вкусами.

Так как мы не считаем зазорным позаимствоваться умом-разумом от всякого, кто способен поучить нас, то согласились последовать примеру этих честных кухмистеров и представить читателю не только общее меню всего вашего угощения, но также особые карты каждой перемены кушаний, которыми собираемся потчевать его в этом и следующих томах.

А заготовленная вами провизия является не чем иным, как человеческой природой. И я не думаю, чтобы рассудительный читатель, хотя бы и с самым избалованным вкусом, стал ворчать, придирается или выражать недовольство тем,

что я назвал только один предмет. Черепаха - как это известно из долгого опыта бристо́льскому олдермену, очень сведущему по части еды,- помимо отменных спинки и брюшка, содержит еще много разных съедобных частей; а просвещенный читатель не может не знать чудесного разнообразия человеческой природы, хотя она и обозначена здесь одним общим названием: скорее повар переберет все на свете сорта животной и растительной пищи, чем писатель исчерпает столь обширную тему.

Люди утонченные, боюсь, возразят, пожалуй, что это блюдо слишком простое и обыкновенное; ибо что же иное составляет предмет всех этих романов, повестей, пьес и поэм, которыми завалены прилавки? Много изысканных кушаний мог бы забраковать эпикурец, объявляя их обыкновенными и заурядными на том только основании, что где-нибудь в глухом переулке подается под таким же названием разная дрянь. В действительности настоящую природу так же трудно найти у писателей, как байонскую ветчину или болонскую колбасу в лавках.

Вся суть - будем держаться нашей метафоры - в писательской кухне, ибо, как говорит мистер Поп:

Остро сказать - наряд к лицу надеть,
Живую мысль в слова облечь уметь.

То самое животное, которое за одни части своего мяса удостоивается чести быть поданным к столу герцога, нередко подвергается унижению за другие части, и иные его куски болтаются на веревке в самой последней городской лавчонке. В чем же тогда разница между пищей барина и привратника, которые едят одного и того же быка или теленка, как не в приправе, приготовлении, гарнире и сервировке? Вот почему одно блюдо возбуждает и разжигает самый вялый аппетит, а другое отталкивает и притупляет самый острый и сильный.

Подобным же образом высокие достоинства умственного угощения зависят не столько от темы, сколько от искусства писателя выгодно подать ее. Как же будет порадован читатель, найдя, что в настоящем сочинении мы заботливо придерживались одного из первейших правил лучшего повара, какого только произвел нынешний век, а может быть, даже век Гелиогабала! Этот великий человек, как хорошо известно всем любителям полакомиться, подает сначала, на голодный желудок, простые кушанья, а потом, когда, по его предположениям, аппетит слабеет, восходит до самых пикантных соусов и пряностей. Так и мы предложим сначала человеческую природу свежему аппетиту нашего читателя в том простом и безыскусственном виде, в каком она встречается в деревне, а потом начнем и приправим ее всякими тонкими французскими и итальянскими специями притворства и пороков, которые изготавливаются при дворах и в городах. Мы не сомневаемся, что такими средствами можно поселить в читателе желание читать до бесконечности, вроде того как только что названный великий человек вызывал в иных людях охоту без конца поглощать еду.

Предпослав эти замечания, мы не будем больше томить голодом читателей, которым наше меню пришлось по вкусу, и немедленно угостим их первым блюдом нашей истории.

ГЛАВА II

Краткое описание сквайра Олвергпи и более обстоятельные сведения о мисс Бриджет Олверти, его сестре

В той части западной половины нашего королевства, которая обыкновенно называется Сомерсетшир, жил недавно, а может быть, и теперь еще живет, дворянин по фамилии Олверти, которого с полным правом можно было назвать баловнем Природы и Фортуны, ибо они, казалось, состязались, как бы пощеднее одарить его и облагодетельствовать. Из этого состязания Природа, на взгляд иных, вышла победительницей, оделив его множеством даров, тогда как в распоряжении Фортуны был один только дар, но, награждая им, она проявила такую расточительность, что,

пожалуй, этот единственный дар покажется иному стоящим больше всех разнообразных благ, отпущенных ему Природой. От последней ему достались приятная внешность, здоровое телосложение, ясный ум и доброжелательное сердце; Фортуна же сделала его наследником одного из обширнейших поместий в графстве.

В молодости дворянин этот был женат на весьма достойной и красивой женщине, которую любил без памяти; от нее он имел троих детей, но все они умерли в младенчестве. Ему выпало также несчастье лет за пять до начала нашей повести похоронить и свою любимую жену. Как ни велика была утрата, он перенес ее как человек умный и с характером, хотя, должно признаться, часто толковал насчет этого немножко странно; так, порой от него можно было услышать, что он по-прежнему считает себя женатым и думает, что жена лишь немного опередила его в путешествии, которое и ему неизбежно придется, раньше или позже, совершить вслед за ней, и что он нисколько не сомневается встретиться с ней снова там, где уж никогда больше с ней не разлучится,- суждения, за которые одни из соседей отвергали в нем здравый смысл, другие - религиозные чувства, а третьи - искренность.

Теперь он жил большей частью в деревенской глуши, вместе с сестрой, которую нежно любил. Дама эта перешагнула уже за тридцать - возраст, в котором, по мнению злых, можно уже не чинясь называть себя старой девой. Она была из тех женщин, которых мы хвалим скорее за качество сердца, чем за красоту, а представительницы прекрасного пола называют обыкновенно порядочными женщинами: "Она, знаете, порядочная, во всех отношениях порядочная". И в самом деле, она так мало сожалела о недостатке красоты, что говорила об этом совершенстве, если красоту вообще можно назвать совершенством, не иначе как с презрением и часто благодарила бога за то, что она не так красива, как мисс такая-то, которая, не будь у нее красоты, наверное, не натворила бы столько глупостей. Мисс Бриджет Олверти (как звали эту даму) весьма справедливо видела в обаятельной внешности женщины всего лишь ловушку и для нее самой, и для других, но несмотря на личную безопасность была все же крайне осмотрительна в своем поведении и до такой степени держалась настороже, словно ей были расставлены все ловушки, когда-либо угрожавшие прекрасному полу. Действительно, я заметил, хотя это и может показаться читателю несуразным, что такого рода благоразумная осмотрительность, подобно полицейским дозорам, исполняет свои обязанности тем ретивее, чем меньше опасность. Часто эта осмотрительность постыдно и трусливо покидает первых красавиц, по которым мужчины томятся, вздыхают, чахнут и которым они расстилают все сети, какие только в их власти, и ни на шаг не отходит от тех высшего разбора женщин, к которым сильный пол относится с самым глубоким и благоговейным почтением и которых (должно быть, отчаиваясь в успехе) никогда не решается атаковать. Читатель, прежде чем мы пойдем с тобой дальше, не мешает, мне кажется, предупредить тебя, что в продолжение этой повести я намерен при всяком удобном случае пускаться в отступления; и когда это делать - мне лучше знать, чем какому-либо жалкому критику. Вообще я покорнейше просил бы всех господ критиков заниматься своим делом и не соваться в дела или сочинения, которые их вовсе не касаются, ибо я не обращаюсь к их суду, пока они не представят доказательств своего права быть судьями.

ГЛАВА III

Станный случай, приключившийся с мистером Олверти по возвращении домой. Благопристойное поведение миссис Деборы Вилкинс с добавлением нескольких замечаний о незаконных детях

В предыдущей главе я сказал читателю, что мистер Олверти получил в наследство крупное состояние, что он имел доброе сердце и что у него не было детей. Многие, без сомнения, сделают отсюда вывод, что он жил, как подобает

честному человеку; никому не был должен ни шиллинга, не брал того, что ему не принадлежало, имел открытый дом, радушно угощал соседей и благотворительствовал бедным, то есть тем, кто предпочитает работе попрошайничество, бросая им объедки со своего стола, построил богадельню и умер богачом.

Многое из этого он действительно сделал: но если бы он этим ограничился, то я предоставил бы ему самому увековечить свои заслуги на красивой мраморной доске, прибитой над входом в эту богадельню. Нет, предметом моей истории будут события гораздо более необыкновенные, иначе я только попусту потратил бы время на писание столь объемистого сочинения, и вы, мой рассудительный друг, могли бы с такой же пользой и удовольствием прогуляться по страницам книг, в шутку названных проказниками авторами Историей Англии.

Мистер Олверти целые три месяца провел в Лондоне по какому-то частному делу; не знаю, в чем оно состояло, но, очевидно, было важное, если так надолго задержало его вдали от дома, откуда в течение многих лет не отлучался даже на месяц. Он приехал домой поздно вечером и, наскоро поужинав с сестрой, ушел, очень усталый, в свою комнату. Там, простояв несколько минут на коленях обычай, которого он не нарушал ни при каких обстоятельствах, Олверти готовился уже лечь в постель, как вдруг, подняв одеяло, к крайнему своему изумлению, увидел на ней завернутого в грубое полотно ребенка, который крепко спал сладким сном. Несколько времени он стоял, пораженный этим зрелищем, но так как добрые чувства всегда брали в нем верх, то скоро проникся состраданием к лежащему перед ним бедному малютке. Он позвонил и приказал немедленно разбудить и позвать пожилую служанку, а сам тем временем так залюбовался красотой невинности, которую всегда в живых красках являет зрелище спящего ребенка, что совсем позабыл о своем ночном туалете, когда в комнату вошла вызванная им матрона. А между тем она дала своему хозяину довольно времени для того, чтобы одеться, ибо из уважение к нему и ради приличия провела несколько минут перед зеркалом, приводя в порядок свою прическу, несмотря на то что лакей позвал ее с большой торопливостью и ее хозяин, может быть, умирал от удара или с ним случилось какое-нибудь другое несчастье.

Нет ничего удивительного, что женщину, столь требовательную к себе по части соблюдения приличий, шокирует малейшее несоблюдение их другими. Поэтому, едва только она отворила дверь и увидела своего хозяина стоявшим у постели со свечой в руке и в одной рубашке, как отскочила в величайшем испуге назад и, по всей вероятности, упала бы в обморок, если бы Олверти не вспомнил в эту минуту, что он не одет, и не положил конец ее ужасу, попросив ее подождать за дверью, пока он накинет какое-нибудь платье и не будет больше смущать непорочные взоры миссис Деборы Вилкинс, которая, хотя ей шел пятьдесят второй год, божилась, что отроду не видела мужчины без верхнего платья. Насмешники и циники станут, пожалуй, издеваться над ее испугом; но читатели более серьезные, приняв в соображение ночное время и то, что ее подняли с постели и она застала своего хозяина в таком виде, вполне оправдают и одобряют ее поведение, разве только их восхищение будет немного умерено мыслью, что Дебора уже достигла той поры жизни, когда благоразумие обыкновенно не покидает девицы.

Когда Дебора вернулась в комнату и услышала от хозяина о найденном ребенке, то была поражена еще больше, чем он, и не могла удержаться от восклицания, с выражением ужаса в голосе и во взгляде: "Батюшки, что ж теперь делать?"

Мистер Олверти ответил на это, что она должна позаботиться о ребенке, а утром он распорядится подыскать ему кормилицу.

- Слушаюсь, сударь! И я надеюсь, что ваша милость отдаст приказание арестовать шлюху-мать; это, наверно, какая-нибудь, что живет по соседству; то-то приятно будет поглядеть, как ее будут отправлять в исправительный дом и сечь на

задке телеги! Этих негодных тварей как ни наказывай, все будет мало! Побожусь, что у нее не первый. Экое бесстыдство: подкинуть его вашей милости!

- Подкинуть его мне, Дебора? - удивился Олверти.- Не могу допустить, чтобы у нее было такое намерение. Мне кажется, она избрала этот путь просто из желания обеспечить своего ребенка, и я очень рад, что несчастная не сделала чего-нибудь хуже.

- Чего уж хуже,- воскликнула Дебора,- если такие негодницы взваливают свой грех на честного человека! Известно, ваша милость тут ни при чем, но свет всегда готов судить, и не раз честному человеку случалось прослыть отцом чужих детей. Если ваша милость возьмет заботы о ребенке на себя, это может заронить подозрения. Да и с какой стати вашей милости заботиться о младенце, которого обязан взять на свое попечение приход? Что до меня, то, будь еще это честно прижитое дитя, так куда ни шло, а к таким пащенкам, верьте слову, мне прикоснуться противно, я за людей их не считаю. Фу, как воняет! И запах-то у него не христианский! Если смею подать совет, то положила бы я его в корзину, унесла бы отсюда и оставила бы у дверей церковного старосты. Ночь хорошая, только ветрено немного и дождь идет; но если его закутать хорошенько да положить в теплую корзину, то два против одного, что проживет до утра, когда его найдут. Ну, а не проживет, мы все-таки долг свой исполнили, позаботились о младенце... Да таким созданиям и лучше умереть невинными, чем расти и идти по стопам матерей, ведь от них ничего хорошего и ожидать нельзя.

Кое-какие выражения этой речи, по всей вероятности, вызвали бы неудовольствие у мистера Олверти, если бы он слушал Дебору внимательно, но он вложил в это время палец в ручку малютки, и нежное пожатие, как бы молившее его о помощи, было для него несравненно убедительнее красноречия Деборы, если бы даже она говорила в десять раз красноречивее. Он решительно приказал Деборе взять ребенка к себе на постель и распорядиться, чтобы кто-нибудь из служанок приготовил ему кашку и все прочее, на случай если он проснется. Он велел также, чтобы рано утром для ребенка достали белье поопрятнее и принесли малютку к нему, как только он встанет.

Миссис Вилкинс была так понятлива и относилась с таким уважением к своему хозяину, в доме которого занимала превосходное место, что после его решительных приказаний все ее сомнения мгновенно рассеялись. Она взяла ребенка на руки без всякого видимого отвращения к незаконности его появления на свет и, назвав его премиленьким крошкой, ушла с ним в свою комнату.

А Олверти погрузился в тот сладкий сон, каким способно наслаждаться жаждущее добра сердце, когда оно испытало полное удовлетворение. Такой сон, наверно, приятнее снов, которые бывают после сытного ужина, и я постарался бы расписать его моему читателю обстоятельнее, если бы только знал, какой воздух ему посоветовать для возбуждения названной жажды.

ГЛАВА IV

Шее читателя угрожает опасность от головокружительного описания, Он благополучно ее минует. Великая снисходительность мисс Бриджет Олверти

Готический архитектурный стиль не создавал ничего благороднее, чем дом мистера Олверти. Своим величественным видом он внушал зрителю уважение и мог потягаться с лучшими образцами греческой архитектуры. Внутренние его удобства не уступали солидной внешности.

Он стоял на юго-восточном склоне холма, ближе к подошве, чем к вершине, так что укрыт был с северо-востока рощей старых дубов, некруто поднимавшейся над ним на полмили, и все же достаточно высоко, чтобы любоваться восхитительным видом на отрывавшуюся внизу долину.

От середины рощи к дому спускалась красивая лужайка, у вершины которой, из

скалы, покрытой елями, бил роскошный ключ, образуя вечный каскад футов в тридцать вышиной, падавший не по правильным уступам, но по беспорядочно раскиданным природой обломкам замшелых камней; достигнув таким образом подножия скалы, он уже с гораздо меньшей прытью змеился далее по кремнистому руслу и у подошвы холма, в четверти мили к югу от дома, впадал в озеро, которое было видно из всех комнат, расположенных по фасаду. Из этого озера, которое заполняло центр красивой равнины, убранной купами буков и вязов и служившей пастбищем для овец, вытекала река; на протяжении нескольких миль она извивалась среди восхитительных лугов и лесов и впадала наконец в море, замыкавшее горизонт своим широким рукавом, с островом посередине.

Направо от этой долины открывалась другая, не столь обширная, с разбросанными по ней селениями, и кончавшаяся увитой плющом башней и еще уцелевшей частью фасада старого разрушенного монастыря.

По левую руку открывался вид на прекрасный парк, раскинутый по очень неровной местности и приятно радовавший взгляд всем разнообразием, какое могут явить холмы, лужайки, деревья и воды, распланированные с удивительным изяществом не столько искусной рукой человека, сколько самой природой. Дальше местность постепенно поднималась и переходила в гребень диких гор, вершины которых скрывались в облаках.

Было замечательное ясное майское утро, когда мистер Олверти вышел на террасу, и заря с каждой минутой все шире раскрывала перед ним только что описанный прелестный пейзаж. Выслав вперед потоки света, разливавшиеся по голубому небосклону как предвестники его великолепия, во всем блеске своего величия вошло солнце, затмить которое в нашем брэнном мире могло только одно существо, и этим существом был сам Олверти - человек, исполненный любви к ближнему и размышлявший, каким бы способом получше угодить творцу, делая добро его творениям.

Читатель, берегись! Я необдуманно завел тебя на вершину столь высокой горы, как особа мистера Олверти, и теперь хорошенько не знаю, как тебя спустить, не сломав шею. Все же давай-ка попробуем скатиться вместе, ибо мисс Бриджет звонит, приглашая мистера Олверти к завтраку, на котором и я должен присутствовать, и буду рад, если ты пожадуешь вместе со мной.

Обменявшись обычными приветствиями с мисс Бриджет и подождав, пока нальют чай, мистер Олверти велел позвать миссис Вилкинс и сказал сестре, что у него есть для нее подарок; та поблагодарила, вообразив, должно быть, что речь идет о каком-нибудь платье или драгоценности. Брат очень часто делал ей такие подарки, и в угоду ему она тратила немало времени на свой туалет. Я говорю у угоду брату, потому что сама она всегда выражала величайшее презрение к нарядам и к тем дамам, которые ими занимаются.

Но если таковы были ее ожидания, то как же была она разочарована, когда миссис Вилкинс, исполняя приказание своего хозяина, принесла ребенка! Крайнее изумление, как известно, бывает обыкновенно немим; так и мисс Бриджет не промолвила ни слова, пока брат не нарушил молчания, рассказав ей всю историю. Читатель уже знает ее, так что мы не станем передавать его рассказ.

Мисс Бриджет всегда свидетельствовала такое уважение к тому, что дамы благоволят называть добродетелью, и сама держала себя так строго, что присутствующие, особенно же миссис Вилкинс, ожидали от нее по этому поводу потока горьких слов и предложения немедленно удалить из дома ребенка, как вредного звереныша. Но она, напротив, отнеслась к происшествию весьма благодушно, выразила некоторое сострадание к беспомощному малютке и похвалила брата за совершенное им доброе дело.

Может быть, читатель объяснит себе это поведение ее уступчивостью мистеру

Олверти, если мы ему поведаем, что в заключение Своего рассказа этот добрый человек объявил о своем решении позаботиться о ребенке и воспитать его, как родное дитя; ибо, нужно сказать правду, мисс Бриджет всегда была готова угодить брату очень редко, а может быть, и никогда, не противоречила его суждениям. Правда, подчас у нее вырывались кое-какие замечания- вроде того, что мужчины своевольны и непременно хотят поставить на своем и что ей очень хотелось бы иметь независимое состояние,- но все подобные замечания высказывались потихоньку, и голос ее самое большее возвышался до так называемого ворчания.

Впрочем, эта сдержанность мисс Бриджет по отношению к ребенку была щедро возмещена расточительностью по адресу бедной неизвестной матери; она обозвала ее срамницей, скверной шлюхой, наглой девкой, бесстыдной тварью, подлой потаскухой и другими подобными именами, на которые не скупится добродетель, когда хочет заклеить негодниц, наносящих бесчестье женскому полу.

Потом стали совещаться, каким образом обнаружить мать ребенка. Сперва разобрали по косточкам поведение всей женской прислуги в доме; но миссис Вилкинс выгородила своих подручных и шла, несомненно, права: она сама их подобрала, и вряд ли где-нибудь еще можно было найти такую коллекцию огородных пугал. Следующим шагом был розыск среди обитательниц прихода; дело это поручили миссис Вилкинс, которая должна была произвести самое тщательное расследование и доложить после обеда о его результатах.

Порешив на этом, мистер Олверти удалился, по обыкновению, к себе в кабинет и оставил ребенка сестре, которая, по его просьбе, взяла на себя заботы о нем.

ГЛАВА V,

которая содержит самые обыкновенные события с весьма необыкновенным по их поводу замечанием

После ухода мистера Олверти Дебора молча ожидала, 'какую ей подаст реплику мисс Бриджет: искушенная домоправительница нисколько не полагалась на то, что произошло при ее хозяине, ибо не раз бывала свидетельницей, как мнения барышни в присутствии брата резко отличались от высказанных в его отсутствие. Мисс Бриджет, однако, недолго протомила ее в этом неопределенном состоянии. Внимательно посмотрев на ребенка, спавшего на коленях у Деборы, добрая дама не выдержала: крепко поцеловала дитя, заявив, что она в восторге от его красоты и невинности. Едва только Дебора увидела это, как кинулась обнимать его и осыпать поцелуями с тем неистовством, с каким иногда степенная сорокапятилетняя дама обнимает своего юного и здорового жениха. с Ах, что за милый малютка! Миленочек, душка, красавчик! Ей-богу, такого красивого мальчика еще свет не видел!" - пронзительно вскрикивала она.

Воскликания эти были наконец прерваны ее госпожой, которая, исполняя поручение, данное ей братом, распорядилась приготовить для ребенка все необходимое и отвела ему под детскую одну из лучших комнат в доме. Щедрость ее при этом была так велика, что, будь даже ребенок ее родным сыном, и тогда она не могла бы распорядиться щедрее; но, чтобы добродетельный читатель не осудил ее за столь исключительное внимание к ребенку низкого происхождения, всякое милосердие к которому возбраняется законом, как противное религии, мы считаем долгом заметить, что распоряжения свои она заключила так: раз уж ее брат вздумал усыновить мальчишку, то, разумеется, с барçonком нужно обойтись как можно ласковее. Сама она считает, что это - потакание пороку, но ей слишком хорошо известно упрямство мужчин, чтобы она стала противиться их нелепым причудам.

Таковыми рассуждениями она, как уже было сказано, обыкновенно сопровождала каждую свою уступку братниным желаниям; и, конечно, ничто не могло в большей степени поднять цены ее угодливости, чем заявление, что она сознает всю нелепость и безрассудство этих желаний и все-таки им подчиняется. Молчаливое повиновение

не предполагает никакого напряжения воли и поэтому дается легко и без всяких усилий; но когда жена, ребенок, родственник или друг исполняют наши желания ворча и с неохотой, высказывая неудовольствие и досаду, то очевидный труд, который они для этого приложили, сильно повышает в наших глазах их одолжение.

Это одно из тех глубоких замечаний, которые едва ли кто из читателей способен сделать самостоятельно, и потому я счел своим долгом прийти им на помощь; но на такую любезность не следует особенно рассчитывать в этом произведении. Не часто буду я настолько снисходителен к читателю; разве вот в таких случаях, как настоящий, когда столь замечательное открытие может быть сделано не иначе как с помощью вдохновения, свойственного только нам, писателям.

ГЛАВА VI

Миссис Дебора вводится в среду прихожан при помощи риторического сравнения. Краткие сведения о Дженни Джонс с описанием трудностей и препятствий, встречаемых порой молодыми женщинами на пути к знанию

Устроив ребенка согласно приказанию своего хозяина, миссис Дебора приготовилась посетить жилища, в которых, как можно было предполагать, скрывалась его мать.

Как при виде парящего в высоте и повисшего над головой коршуна, грозы пернатого царства, нежный голубь и иные безобидные пташки распространяют кругом смятение и в трепете разлетаются по тайникам, а он гордо, в сознании собственного достоинства, рассекает воздух, обдумывая затеянное злодеяние, так при вести о приближении миссис Деборы все обитательницы прихода в трепете разбежались по своим домам, и каждая хозяйка молила о том, чтобы грозное посещение ее миновало. Величественным шагом, гордо выступает она по полю битвы, высоко подняв царственную голову, исполненная убеждения в своем превосходстве, обдумывая, как бы половчее произвести желанное открытие.

Проницательный читатель не заключит из этого сравнения, ИТО бедные поселяне сколько-нибудь догадывались о намерениях направлявшейся к ним миссис Вилкинс; но так как великолепие нашего сравнения может остаться неоцененным в течение сотни лет, пока это произведение не попадет в руки какого-нибудь будущего комментатора, то я считаю полезным оказать здесь читателю некоторую помощь.

Итак, мое намерение - показать, что, насколько в природе коршуна пожирать мелких пташек, настолько в природе таких особ, как миссис Вилкинс, обижать и тиранить мелкий люд. Этим способом они обыкновенно вознаграждают себя за крайнее раболепство и угодливость по отношению к своим господам; ведь вполне естественно, что рабы и льстецы взимают со стоящих ниже их ту дань, какую сами платят стоящим выше их.

Каждый раз, как миссис Деборе случалось сделать что-либо чрезвычайное в угоду мисс Бриджет и тем несколько омрачить свое хорошее расположение духа, она обыкновенно отправлялась к этим людям и отводила душу, изливая на них и, так сказать, опоражнивая всю накопившуюся в ней горечь. По этой причине она никогда не бывала желанной гостьей, и, правду сказать, все единодушно ее боялись и ненавидели.

Придя в селение, она отправилась прямо к одной пожилой матроне, к которой обыкновенно относилась милостивее, чем к остальным, потому что матрона имела счастье походить на нее миловидностью и быть ее ровесницей. Этой женщине поведала она о случившемся и о цели своего сегодняшнего посещения. Обе тотчас же стали перебирать всех девушек в приходе, и, наконец, подозрение их пало на некую Дженни Джонс, которая, по их согласному мнению, скорее всех была виновна в этом проступке.

Эта Дженни Джонс не отличалась ни красотой лица, ни стройностью стана, но природа в известной степени вознаградила ее за недостаток красоты тем качеством,

которое обыкновенно больше ценится женщинами, с возрастом достигшими полной зрелости в своих суждениях: она одарила ее весьма незаурядом умом. Дар этот Дженни еще развила учением. Она пробыла несколько лет служанкой у школьного учителя, который, обнаружив в девушке большие способности и необыкновенное пристрастие к знанию - все свободные часы она проводила за чтением школьных учебников,- возымел добрую или безрассудную мысль - как будет угодно читателю назвать ее - настолько обучить ее латинскому языку, что в своих познаниях она, вероятно, не уступала большинству молодых людей хорошего общества того времени. Однако преимущество это, подобно большей части не совсем обыкновенных преимуществ, сопровождалось кое-какими маленькими неудобствами: молодая женщина с таким образованием, естественно, не находила большого удовольствия в обществе людей, равных ей по положению, но по развитию стоящих значительно ниже ее, и потому не надо особенно удивляться, что это превосходство Дженни, неизбежно отражавшееся в ее обращении, вызывало у остальных нечто вроде зависти и недоброжелательства, должно быть, тайно запавших в сердца ее соседок с тех пор, как она вернулась со службы домой.

Однако зависть не проявлялась открыто, пока бедная Дженни, к общему удивлению и досаде всех молодых женщин этих мест, не появилась в один воскресный день публично в новом шелковом платье, кружевном чепчике и других принадлежностях туалета того же качества.

Пламя, прежде таившееся под спудом, теперь вырвалось наружу. Образование усилило гордость Дженни, но никто из ее соседок не выказывал готовности поддерживать эту гордость тем вниманием, какого она, по-видимому, требовала; и на этот раз вместо почтительного восхищения наряд ее вызвал только ненависть и оскорбительные замечания. Весь приход объявил, что она не могла получить такие вещи честным путем; и родители, вместо того чтобы пожелать и своим дочерям такие же наряды, поздравляли себя с тем, что у их детей таких нарядов нет.

Может быть, по этой именно причине упомянутая почтенная женщина прежде всего назвала миссис Вилкинс имя бедной Дженни; но было и другое обстоятельство, укрепившее Дебору в ее подозрении: в последнее время Дженни часто бывала в доме мистера Олверти. Она исполняла должность сиделки мисс Бриджет, которая была опасно больна, и провела немало ночей у постели этой дамы; кроме того, миссис Вилкинс собственными глазами видела ее в доме в самый день приезда мистера Олверти, хотя это и не возбудило тогда в этой проницательной особе никаких подозрений; ибо, по ее собственным словам, она "всегда считала Дженни благонравной девушкой (хотя, по правде говоря, она очень мало знает ее) и скорее подумала бы на кого-нибудь из тех беспутных замарашек, что ходят задрав нос, воображая себя бог весь какими хорошенькими".

Дженни было приказано явиться к миссис Деборе, что она немедленно и сделала. Миссис Дебора, напустив на себя важный вид строгого судьи, встретила ее словами: "Дерзкая распутница!"- и в своей речи не стала даже обвинять подсудимую, а прямо произнесла ей приговор.

Хотя по указанным основаниям миссис Дебора была совершенно убеждена в виновности Дженни, но мистер Олверти мог истребовать более веских улик для ее осуждения; однако Дженни избавила своих обвинителей от всяких хлопот, открыто признавшись в проступке, который на нее взыскивали.

Признание это, хотя и сделанное в покаянном тоне, ничуть не смягчило миссис Дебору, которая вторично произнесла Дженни приговор, в еще более оскорбительных выражениях, чем первый; не больше успеха имело оно и у собравшихся в большом числе зрителей. Одни из них громко кричали: "Так мы и знали, что шелковое платье барышни этим кончится!", другие насмешливо говорили об ее учености. Из присутствующих женщин ни одна не упустила случая выказать

бедной Дженни свое отвращение, и та все перенесла терпеливо, за исключением злобной выходки одной кумушки, которая прошлась не очень лестно насчет ее наружности и сказала, задрав нос: "Неприхотлив, должно быть, молодчик, коль дарит шелковые платья такой дряни!" Дженни ответила на это с резкостью, которая удивила бы здравомыслящего наблюдателя, видевшего, как спокойно она выслушивала все оскорбительные замечания о ее целомудрии; но, видно, терпение ее истощилось, ибо добродетель эта скоро утомляется от практического применения.

Миссис Дебора, преуспев в своем расследовании свыше всяких чаяний, с большим торжеством вернулась домой и в назначенный час сделала обстоятельный доклад мистеру Олверти, которого очень поразил ее рассказ; он был наслышан о необыкновенных способностях и успехах Дженни и собирался даже выдать ее за соседнего младшего священника, обеспечив его небольшим приходом. Его огорчение по этому случаю было не меньше удовольствия, которое испытывала миссис Дебора, и многим читателям, наверное, покажется гораздо более справедливым.

Мисс Бриджет перекрестилась и сказала, что с этой минуты она больше ни об одной женщине не будет хорошего мнения. Надобно заметить, что до сих пор Дженни имела счастье пользоваться также и ее благосклонностью.

Мистер Олверти снова послал мудрую домоправительницу за несчастной преступницей, не затем, однако, как надеялись иные и все ожидали, чтобы отправить ее в исправительный дом, но чтобы высказать ей порицание и преподать спасительное наставление, с каковыми любители назидательного чтения познакомятся в следующей главе.

ГЛАВА VII,

которая содержит такие важные материи, что читатель на всем ее протяжении ни разу не посмеется, - разве только над автором

Когда Дженни явилась, мистер Олверти увел ее в свой кабинет и сказал следующее:

- Ты знаешь, дитя мое, что властью судьи я могу очень строго наказать тебя за твой проступок; и тебе следует опасаться, что я применю эту власть в тем большей степени, что ты в некотором роде сложила свои грехи у моих дверей.

Однако это, может быть, и послужило для меня основанием поступить с тобой мягче. Личные чувства не должны оказывать влияние на судью, и поэтому я не только не хочу видеть в твоём поступке с ребенком, которого ты подкинула в мой дом, обстоятельство, отягчающее твою вину, но, напротив, полагаю, к твоей выгоде, что ты сделала это из естественной любви к своему ребенку, надеясь, что у меня он будет лучше обеспечен, чем могла бы обеспечить его ты сама или негодный отец его. Я был бы действительно сильно разгневан на тебя, если бы ты обошлась с несчастным малюткой подобно тем бесчувственным матерям, которые, расставшись со своим целомудрием, утрачивают также всякие человеческие чувства. Итак, есть другая сторона твоего проступка, за которую я намерен пожурить тебя: я имею в виду утрату целомудрия - преступление весьма гнусное само по себе и ужасное по своим последствиям, как легко ни относятся к нему развращенные люди.

Гнусность этого преступления совершенно очевидна для каждого христианина, поскольку оно является открытым вызовом законам нашей религии и определенно выраженным заповедям основателя этой религии.

И легко доказать, что последствия его ужасны; ибо что может быть ужаснее божественного гнева, навлекаемого нарушением божественных заповедей, да еще в столь важном проступке, за который возведено особенно грозное отмщение?

Но эти вещи, хоть им, боюсь, и уделяется слишком мало внимания, настолько ясны, что нет никакой надобности осведомлять о них людей, как бы ни нуждались последние в постоянном о них напоминании. Довольно, следовательно, простого

намека, чтобы привлечь твою мысль к этим предметам: мне хочется вызвать в тебе раскаяние, а не повергнуть тебя в отчаяние.

Есть еще и другие последствия этого преступления, не столь ужасные и не столь отвратительные, но все же способные, мне кажется, удержать от него всякую женщину, если она внимательно поразмыслит о них.

Ведь оно покрывает женщину позором и, как ветхозаветных прокаженных, изгоняет ее из общества - из всякого общества, кроме общества порочных и коснеющих в грехе людей, ибо люди порядочные не пожелают знаться с ней.

Если у женщины есть состояние, она лишается возможности пользоваться им; если его нет, она лишается возможности приобретать его и даже добывать себе пропитание, ибо ни один порядочный человек не примет ее к себе в дом. Так сама нужда часто доводит ее до срама и нищеты, неминуемо кончающихся погибелью тела и души.

Разве может какое-нибудь удовольствие вознаградить за такое зло? Разве способно какое-нибудь искушение настолько прельстить и оплести тебя, чтобы ты согласилась пойти на такую нелепую сделку? Разве способно, наконец, плотское влечение настолько одолеть твой разум или погрузить его в столь глубокий сон, чтобы ты не бежала в страхе и трепете от преступления, неизменно влекущего за собой такую кару?

Сколь низкой и презренной, сколь лишенной душевного благородства и скромной гордости, без коих мы недостойны имени человека, должна быть женщина, которая способна сравняться с последним животным и принести все, что есть в ней великого и благородного, все свое небесное наследие в жертву вожделению, общему у нее с самыми гнусными тварями! Ведь ни одна женщина не станет оправдываться в этом случае любовью. Это значило бы признать себя простым орудием и игрушкой мужчины. Любовь, как бы варварски мы ни извращали и ни искажали значение этого слова,- страсть похвальная и разумная и может стать неодолимой только в случае взаимности; ибо хотя описание повелевает нам любить врагов наших, но отсюда не следует, чтобы мы любили их той горячей любовью, какую естественно питаем к нашим друзьям; и еще менее, чтобы мы жертвовали им нашей жизнью и тем, что должно быть нам дороже жизни,- нашей невинностью. А кого же, если не врага, может видеть рассудительная женщина в мужчине, который хочет возложить на нее все описанные мной бедствия ради краткого, пошлого, презренного наслаждения, купленного в значительной мере за ее счет! Ведь обычно весь позор со всеми его ужасными последствиями падает всецело на женщину. Разве может любовь, которая всегда ищет добра любимому предмету, пытаться вовлечь женщину в столь убыточную для нее сделку? Поэтому, если такой соблазнитель имеет бесстыдство притворно уверять женщину в искренности своего чувства к ней, разве не обязана она смотреть на него не просто как на врага, но как на злейшего из врагов - как на ложного, коварного, вероломного, притворного друга, который замышляет растлить не только ее тело, но также и разум ее?

Тут Дженни стала выражать глубокое сокрушение. Олверти помедлил немного и потом продолжал:

- Я сказал все это, дитя мое, не с тем, чтобы тебя выбрать за то, что прошло и непоправимо, но чтобы предостеречь и укрепить на будущее время. И я не взял бы на себя этой заботы, если бы, несмотря на твой ужасный промах, не предполагал в тебе здравого ума и не надеялся на чистосердечное раскаяние, видя твоё откровенное и искреннее признание. Если оно меня не обманывает, я постараюсь услать тебя из этого места, бывшего свидетелем твоего позора, туда, где ты, никому не известная, избежешь наказания, которое, как я сказал, постигнет тебя за твое преступление в этом мире; и я надеюсь, что благодаря раскаянию ты избежешь также гораздо более тяжкого приговора, возвещенного против него в мире ином. Будь

хорошей девушкой весь остаток дней твоих, и никакая нужда не совратит тебя с пути истины; поверь, что даже в этом мире невинная и добродетельная жизнь дает больше радости, чем жизнь развратная и порочная.

А что касается ребенка, то о нем тебе нечего тревожиться: я позабочусь о нем лучше, чем ты можешь ожидать. Теперь тебе остается только сообщить, кто был негодяй, соблазнивший тебя; гнев мой обрушится на него с гораздо большей силой, чем на тебя.

Тут Дженни скромно подняла опущенные в землю глаза и почтительным тоном начала так:

- Знать вас, сэр, и не любить вашей доброты - значило бы доказать полное отсутствие ума и сердца. Я выказала бы величайшую неблагодарность, если бы не была тронута до глубины души великой добротой, которую вам угодно было проявить ко мне. Что же касается моего сокрушения по поводу случившегося, то я знаю, что вы пощадите мою стыдливость и не заставите возвращаться к этому предмету. Будущее поведение покажет мои чувства гораздо лучше всяких обещаний, которые я могу дать сейчас. Позвольте вас заверить, сэр, что ваши наставления я принимаю с большей признательностью, чем великодушное предложение, которым вы заключили свою речь, ибо, как вы изволили сказать, сэр, они доказывают ваше высокое мнение о моем уме.

Тут хлынувшие потоком слезы заставили ее остановиться на минуту; немного успокоившись, она продолжала так:

- Право, сэр, доброта ваша подавляет меня; но я постараюсь оправдать ваше лестное обо мне мнение; ибо если я не лишена ума, который вы так любезно изволили приписать мне, то ваши драгоценные наставления не могут пропасть втуне. От всего сердца благодарю вас, сэр, за заботу о моем бедном, беспомощном дитяти; оно невинно и, надеюсь, всю жизнь будет благодарно за оказанные вами благодеяния. Но на коленях умоляю вас, сэр, не требуйте от меня назвать отца его! Твердо вам обещаю, что со временем вы это узнаете; но в настоящую минуту самые торжественные обязательства чести, самые святыя клятвы и заверения заставляют меня скрывать его имя. Я слишком хорошо вас знаю, вы не станете требовать, чтобы я пожертвовала своей честью и святостью клятвы.

Мистер Олверти, которого способно было поколебать малейшее упоминание этих священных слов, с минуту находился в нерешительности, прежде чем ответить, и затем сказал Дженни, что она поступила опрометчиво, дав такие обещания негодяю; но раз уж они даны, он не может требовать их нарушения. Он спросил об имени преступника не из праздного любопытства, а для того, чтобы наказать его или, по крайней мере, не облагодетельствовать, по неведению, недостойного.

На этот счет Дженни успокоила его торжественным заверением, что этот человек находится вне пределов досягаемости: он ему не подвластен и, по всей вероятности, никогда не сделается предметом его милостей.

Прямодушие Дженни подействовало на почтенного сквайра так подкупающе, что он поверил каждому ее слову. То обстоятельство, что для своего оправдания она не унизилась до лжи и не побоялась вызвать в нем еще большее нерасположение к себе, отказавшись выдать своего сообщника, чтобы не поступиться честью и прямоотой, рассеяло в нем всякие опасения насчет правдивости ее показаний.

Тут он отпустил ее, пообещав в самом скором времени сделать ее недосыгаемой для злословия окружающих, и заключил еще несколькими увещаниями раскаяться, сказав:

- Помни, дитя мое, что ты должна примириться еще с тем, чья милость неизмеримо для тебя важнее, чем моя.

ГЛАВА VIII

Диалог между госпожами Бриджет и Деборой, который содержит больше

забавного, но меньше поучительного, чем предшествующий

Едва мистер Олверти, как мы видели, удалился с Дженни Джонс в свой кабинет, как мисс Бриджет и почтенная домоправительница бросились к наблюдательному посту в смежной комнате, откуда сквозь замочную скважину всосали своими ушами поучительное назидание, преподанное мистером Олверти, а также ответы Дженни и вообще подробности, о которых было рассказано в предыдущей главе.

Эта скважина в дверях кабинета была прекрасно известна мисс Бриджет, и она прикладывалась к ней столь же часто, как древняя Фисба к знаменитой щели в стене. Это служило ей для многих полезных целей. Таким способом мисс Бриджет нередко узнавала братнины намерения, избавляя его от труда излагать их. Правда, общение это сопровождалось кое-какими неудобствами, и подчас у нее бывали основания воскликнуть вместе с шекспировской Фисбой: "О, злобная, злобная стена!" Дело в том, что мистер Олверти был мировым судьей, и при разборе дел о незаконных детях и тому подобного у него в комнате слышались разговоры, способные сильно оскорбить целомудренный слух девиц, особенно когда они приближаются к сорокалетнему возрасту, как мисс Бриджет. Однако в таких случаях она пользовалась преимуществом скрывать румянец от людских глаз. *A de non apparentibus et non existentibus eadem est ratio*, что можно перевести так: "Когда никто не видит, как женщина краснеет, она не краснеет вовсе".

Обе почтенные дамы хранили гробовое молчание в течение всего диалога между мистером Олверти и Дженни; но едва только он кончился и они отошли на такое расстояние, что этот джентльмен не мог их слышать, как миссис Дебора не выдержала и разразилась жалобами на снисходительность своего хозяина и особенно на то, что он позволил девушке утаить имя отца ребенка, которое она поклялась выведать от нее еще до захода солнца.

При этих словах на лице мисс Бриджет изобразилась улыбка (вещь очень для нее необычная). Да не подумает читатель, что это была одна из тех шаловливых улыбок, какие Гомер предлагает вам вообразить на лице Венеры, когда называет ее смехолюбивой богиней, или же одна из тех улыбок, какими стреляет из своей литерной ложи леди Серафина на зависть самой Венере, которая отдала бы за нее свое бессмертие. Нет, это была скорее одна из тех улыбок, какие можно предположить на впалых щеках величественной Тизифоны или одной из девиц сестер ее.

И вот с такой улыбкой и голосом, мелодичным, как вечернее дуновение Борея в очаровательном месяце ноябре, мисс Бриджет мягко пожурила миссис Дебору за ее любопытство - порок, которым последняя, по-видимому, была сильно заражена и против которого первая высказалась очень резко, заявив, что, при всех ее недостатках, враги ее, благодарение богу, не могут обвинить ее в том, что она суется в чужие дела.

Потом она принялась хвалить благородство и такт Дженни. Она сказала, что не может не согласиться с братом; искренность ее признания и честность по отношению к любовнику заслуживают одобрения; что она всегда считала Дженни порядочной девушкой и не сомневается в том, что ее соблазнил какой-нибудь мерзавец, гораздо больше ее достойный порицания, который, по всей вероятности, увлек девушку обещанием жениться или иным предательским способом.

Такое поведение мисс Бриджет сильно удивило миссис Дебору. Эта благовоспитанная дама редко открывала рот перед своим хозяином и его сестрой, не выведав предварительно их намерений, с которыми ее мнения всегда совпадали. Тут, однако, она сочла, что может выступить безопасно; и проницательный читатель едва ли обвинит ее в недостатке предусмотрительности, но скорее подивится, с какой поразительной быстротой она повернула руль, убедившись, что держит неверный курс.

- Да, сударыня,- сказала эта способная женщина и поистине великий дипломат,-сказать правду, и я, подобно вашей милости, не могу не удивляться уму этой девушки. И если, как говорит ваша милость, ее обманул какой-нибудь злодей, то бедняжка достойна сожаления. Право, как говорит ваша милость, она всегда казалась порядочной, честной, прямодушной девушкой и, ей-богу, никогда не чванилась своей смазливостью, как иные бесстыдницы, ее соседки.

- Это правда, Дебора,- отвечала мисс Бриджет.- Если бы она была тщеславной девчонкой, которых столько в нашем приходе, я осудила бы брата за снисходительность к ней. На днях я видела в церкви двух фермерских дочек с открытой шеей. До чего я была возмущена! Если эти девки сами приманивают парней, выставляя напоказ свои прелести, пусть потом страдают - не жалко. Терпеть не могу таких тварей! Для них было бы лучше, если бы лица их были разукрашены оспой. Но, право же, я никогда не замечала такого бесстыдства у Дженни. Убеждена, что какой-нибудь хитрый негодяй обманул ее, может быть, даже изнасиловал! От всего сердца жалею бедняжку.

Миссис Дебора одобрила все эти сентенции, и диалог был заключен самым резким порицанием красоты и многими соболезнованиями по адресу простых честных девушек, вводимых в заблуждение злыми кознями обманщиков мужчин.

ГЛАВА IX,

содержащая события, которые удивят читателя

Дженни вернулась домой, очень довольная приемом, который был ей оказан мистером Олверти, и старательно разгласила о его снисходительности - частью, вероятно, для того, чтобы польстить своему самолюбию, а частью из более благоразумного желания расположить к себе соседей и прекратить дурные толки.

Но хотя этот последний мотив, если она действительно им руководилась, может показаться довольно разумным, однако результаты не оправдали ее ожиданий. Когда Дженни позвали к судье и всем казалось, что ей не миновать исправительного дома, то, хотя некоторые молодые женщины закричали, что "туда ей и дорога", и потешались над тем, как она в шелковом платье будет трепать пеньку,- однако было немало и таких, которые начали ее жалеть; но когда стало известно, каким образом мистер Олверти обошелся с ней, общественное мнение круто изменилось. Одна говорила: "Везет же нашей барышне!" Другая кричала: "Поглядите-ка, что значит быть в милости!" Третья: "А все оттого, что ученая!" Словом, по этому случаю каждая сделала какое-нибудь злобное замечание и попрекнула судью за пристрастие.

Такое поведение соседей мо/кет показаться читателю неблагоприятным и неблагодарным, если он примет в соображение власть и доброту мистера Олверти. Но он никогда не пользовался своей властью, а что касается доброты, то он выказывал ее так часто, что досадил всем своим соседям. Большие люди хорошо знают, что, делая кому-нибудь одолжение, они не всегда приобретают друга, но непременно наживают себе множество врагов.

Однако благодаря заботам и доброте мистера Олверти Дженни скоро была удалена в такое место, куда до нее не доходили упреки; тогда злоба, лишившись возможности излить свою ярость на нее, начала искать себе другой предмет и нашла его в лице самого мистера Олверти: вскорости пошел слух, что он сам отец подкинутого ребенка.

Это предположение так хорошо согласовалось с его образом действий, что встретило единодушную поддержку, и вопли против его снисходительности превратились в нападки на жестокость его поступка с бедной девушкой. Степенные и добродетельные женщины громко обвиняли мужчин, которые производят на свет детей, а потом от них отрекаются. Не было недостатка и в таких, которые после отъезда Дженни стали намекать, что она была увезена с гнусным намерением, и даже говорили, что не худо бы произвести законное расследование всего этого дела

и заставить кой-кого выдать девушку.

Подобная клевета, очень возможно, повлекла бы за собой дурные последствия или, по крайней мере, доставила бы некоторые неприятности человеку с более сомнительной и подозрительной репутацией, чем у мистера Олверти, но в применении к нему она не возымела такого действия: встреченная им с глубочайшим презрением, она послужила только к невинному развлечению местных кумушек.

Но так как мы не можем угадать, какого мнения на этот счет наш читатель, и пройдет еще немало времени, прежде чем он услышит снова о Дженни, то считаем долгом заранее осведомить его, что мистер Олверти был, как это впоследствии обнаружится, совершенно неповинен ни в каком преступном намерении. Он сделал лишь ту тактическую ошибку, что судил милостиво и не пожелал ублажать сострадательную чернь¹, дав пищу для ее добрых чувств в лице бедной Дженни, которую всем хотелось видеть заключенной в исправительный дом, погибшей и опозоренной, чтобы иметь случай пожалеть ее.

Мистер Олверти совершенно пренебрег этим желанием, удовлетворение которого похоронило бы всякую надежду на исправление девушки и закрыло бы перед ней двери, если бы даже она сама вздумала когда-нибудь вступить на путь добродетели, и предпочел, напротив, поощрить ее в этом намерении единственным возможным способом; ведь многие женщины, боюсь, сбились с пути и погрузились на самое дно порока лишь потому, что не имели возможности подняться после первого падения. Боюсь, так бывает всегда, если они остаются в кругу прежних знакомых. Поэтому мистер Олверти поступил мудро, удалив Дженни в такое место, где она могла наслаждаться добрым именем, после того как узнала на опыте, к каким горьким последствиям приводит его потеря.

Пожелаем же ей счастливого пути и пока простимся с ней и с маленьким найденышем, ее сыном, ибо нам предстоит сообщить читателю о гораздо более важных событиях.

ГЛАВА X

Гостеприимство Олверти с кратким очерком характеров двух братьев - доктора и капитана, проживающих под кровом этого джентльмена

Ни дом, ни сердце мистера Олверти ни для кого не были закрыты, но особенно широко они распахивались перед людьми достойными. По правде говоря, это был единственный дом в Англии, где вам был обеспечен обед, если вы его заслужили.

Больше всех остальных милостями его пользовались люди с поэтическим дарованием и ученые; но и между ними мистер Олверти делал большое различие; обстоятельства, правда, помешали ему получить законченное образование, однако, будучи наделен большими природными способностями, он настолько усовершенствовал свой ум прилежным, хоть и запоздалым изучением наук и беседами со многими выдающимися людьми, что сам стал весьма компетентным судьей во всех областях литературы.

Не удивительно, что в век, когда заслуги этого рода так мало в моде и так скудно вознаграждаются, обладающие ими люди усердно стекались в место, где с полной уверенностью могли рассчитывать на любезный прием, и пользовались всеми благами богатства почти так же свободно, как если бы они сами были хозяевами; ибо мистер Олверти не принадлежал к числу тех хлебосолов, которые готовы щедро кормить, поить и давать кров людям умным и образованным, но с условием, чтобы они их развлекали, поучали, льстили им и прислуживали,- словом, записались к ним в лакеи, не нося только ливреи и не получая жалованья.

В доме мистера Олверти, напротив, каждый был полным хозяином своего времени; каждый мог удовлетворять все свои желания в рамках закона, нравственности и религии и вправе был поэтому, если требовало состояние его здоровья и склонность к умеренности или даже к полному воздержанию, не являться

к столу или вставать из-за стола, когда ему вздумается, не опасаясь, что его будут упрашивать остаться: ведь подобные упрашивания со стороны высших всегда сильно отзываются приказанием. Здесь никому из гостей не угрожала такая бесцеремонность - не только богачам, принять которых везде считается за честь, но даже и людям со скромными средствами, для которых подобный даровой кров является хорошим подспорьем и которые за столом большого барина не так желательны, потому что они нуждаются в обеде.

В числе таких людей был доктор Блайфил, человек способный, но, к несчастью, не имевший возможности усовершенствовать свои большие дарования из-за упрямства отца, непременно хотевшего подготовить его к профессии, которую он не любил. Из-за этого упрямства доктор принужден был в молодости изучать медицину, или, вернее, говорить, будто ее изучает, так как в действительности из всех книг только медицинские остались, кажется, ему неизвестны; доктор, к несчастью, овладел почти всеми науками, кроме той, при помощи которой ему надо было добывать себе пропитание; следствием этого было то, что к сорока годам он остался без куска хлеба.

Такой человек мог быть уверен, что найдет радушный прием в доме мистера Олверти, для которого несчастья всегда служили хорошей рекомендацией, если они происходили от безрассудства и подлости других, а не самого несчастливца. Кроме этого отрицательного качества, у доктора было еще и положительное: он имел вид человека очень набожного. Была ли эта набожность настоящая или только показная, я не берусь судить, так как не обладаю мерилom для различения истинного и поддельного в этой области.

Если эта черта его характера нравилась мистеру Олверти, то мисс Бриджет была от нее в восторге. Она любила вовлекать доктора в богословские споры, причем всегда бывала весьма удовлетворена его познаниями и едва ли меньше комплиментами, которые он часто расточал насчет собственной ее учености. И в самом деле, мисс Бриджет прочла много английских богословских сочинений и поставила в тупик не одного соседнего священника. Речи ее всегда были так чисты, взгляды так скромны и вся осанка такая важная и торжественная, что она смело сошла бы за святую наравне со своей тезкой или другой подвижницей из римско-католического календаря.

Всякая симпатия способна зародить любовь, но опыт показывает, что у лиц разного пола больше всего этому благоприятствует родство религиозных чувств. Доктор обнаружил в мисс Бриджет такое расположение к себе, что начал сожалеть о несчастной случайности, приключившейся с ним лет десять назад, именно о женитьбе на другой женщине, которая не только была еще жива, что гораздо хуже, о существовании которой зная мистер Олверти. Это было роковой преградой к счастью, которого иначе он, по всей вероятности, достиг бы союзом с молодой дамой; ибо что касается прелюбодеяния, то, он, конечно, никогда и не помышлял о нем. Происходило это или от его набожности, что, пожалуй, наиболее вероятно, или от чистоты чувства, направленного на такие предметы, которые мог предоставить в его распоряжение или на которые мог дать ему право только законный брак, а не преступная связь. Размышляя на эти темы, доктор скоро вспомнил, что у него есть брат, не стесненный этой несчастной неспособностью. Он нисколько не сомневался, что этот брат будет иметь успех; ибо, как ему казалось, он заметил в мисс Бриджет сильную склонность к замужеству; и читатель, может быть, не станет порицать доктора за эту уверенность в успехе, когда услышит, какими качествами обладал брат его.

Это был джентльмен лет тридцати пяти, среднего роста и, как говорится, крепко сколоченный. Шрам на лбу не столько портил красоту его, сколько свидетельствовал о его доблести (он был запасный офицер на половинном окладе). Зубы у него были

прекрасные и улыбка, когда он хотел, приветливая; в выражении его лица, а также в наружности и голосе, правда, было от природы много грубого, но он мог в любую минуту подавить эту грубость и становился тогда воплощенной любезностью и веселостью. Он был не без воспитания и не совсем лишен был ума, а в молодости отличался большой живостью, которую мог, когда хотел, выказать и теперь, хотя с годами сильно остепенился.

Так же как и доктор, он получил университетское образование; отец, с уже упомянутой родительской властью, назначил его в духовное звание; но старик умер, прежде чем сын посвящен был в священники, и брат доктора предпочел церкви военную профессию и службе епископу - службу королю.

Он купил себе место драгунского поручика, а затем дослужился до капитана; но из-за ссоры с полковником принужден был, в собственных интересах, продать свое место. После этого он уединился в деревню, предался изучению Священного писания, и его стали сильно подозревать в наклонности к методизму.

Все это давало большую надежду, что такой человек будет иметь успех у набожной дамы, вдобавок весьма сильно расположенной к браку вообще. Но почему доктор, не питавший особенно дружеских чувств к брату, вздумал ради него так дурно отблагодарить Олверти за гостеприимство,- это вопрос, на который нелегко ответить.

Может быть, некоторым натурам зло доставляет такое же удовольствие, какое другие находят в добрых делах? Или нам приятно быть пособниками в воровстве, когда мы не можем совершить его сами? Или же, наконец (и опыт, по-видимому, подтверждает это), нас радует возвышение членов нашей семьи, пусть даже мы не чувствуем к ним ни малейшей любви и ни малейшего уважения?

Руководился ли доктор каким-нибудь из этих побуждений, мы не беремся решить, только дело обстояло именно так. Он послал за братом и легко нашел способ ввести его в дом Олверти, сказав, что тот приехал погостить на короткое время.

Не прошло и недели со времени приезда капитана, как доктор уже мог поздравить себя с большим успехом. Капитан оказался таким же мастером в искусстве любви, каким некогда был Овидий. Вдобавок он получил от брата полезные указания, которыми не преминул воспользоваться самым лучшим образом.

ГЛАВА XI,

которая содержит много правил и несколько примеров того, как люди влюбляются; описание красоты и благоразумных побуждений к женитьбе

Мудрыми мужчинами или женщинами - я забыл, кем именно,- было замечено, что всем людям раз в жизни бывает суждено влюбиться. Особенного периода, насколько я помню, для этого не назначено; однако возраст, которого достигла мисс Бриджет, подходит для этого, как мне кажется, не хуже всякого другого. Правда, часто это случается гораздо раньше, но если не случилось, то, как я заметил, любовь почти никогда не забывает явиться в эту пору. Кроме того, можно утверждать, что в этом возрасте любовь обыкновенно бывает серьезнее и постояннее, чем в ранней молодости. Любовь девочек переменчива, своенравна и настолько бестолкова, что мы не всегда можем понять, чего собственно хочет Молодая особа; позволительно даже усомниться, знает ли это она сама.

Но мы без затруднения можем угадать, чего хочет женщина лет под сорок; поскольку такие степенные, серьезные и искушенные дамы прекрасно знают свои желания, то даже самый непроницательный человек легко это откроет с полной достоверностью.

Мисс Бриджет служит наглядным доказательством всех этих замечаний. Стоило ей побывать несколько раз в обществе капитана, как она уже страстно в него влюбилась. Она не ходила возле дома, вздыхая и томясь, как зеленая, глупая девчонка, которая не понимает, что с ней творится; она знала, она наслаждалась

волновавшим ее сладостным чувством, не боялась его и не стыдилась, будучи убеждена, что оно не только невинно, но и похвально.

И надо сказать правду: благоразумная страсть, которую женщина в этом возрасте чувствует к мужчине, во всех отношениях разнится от пн-стой детской любви девочки к мальчику, которая часто обращена только на внешность и на вещи ничтожные и преходящие, как, например, на румяные щеки, маленькие белые руки, черные, как смородина, глаза, волнистые локоны, покрытый нежным пушком подбородок, стройную талию и даже подчас на прелести еще более суетные и вовсе не принадлежащие к личности любимого, каковы чисто внешние украшения, которыми он обязан не природе, а портному, парикмахеру, шляпному мастеру и торговцу модными товарами. Такой страсти можно устыдиться, и не удивительно, что девочка обыкновенно не признается в ней ни себе, ни другим.

Любовь мисс Бриджет была иного рода. По части своего туалета капитан ничем не был обязан искусству моды, и природа не наградила его красотой. Иными словами, и одежда и наружность его были таковы, что, появившись в обществе или в гостиной, они сделались бы предметом презрения и насмешек всех изысканных дам. Костюм его был, правда, опрятен, но прост, неизящен, мешковат и старомоден. А что касается наружности, то мы уже дали ее точное описание. Щеки его не только не были румяны, но вообще невозможно было разобрать, какого они цвета, потому что до самых глаз заросли густой черной бородой. Талия, руки и ноги его были, правда, вполне пропорциональны, но по своей массивности скорее под стать дюжему пахарю, чем дворянину; плечи непомерной ширины и икры толще, чем у носильщика портшеза. Словом, вся его внешность лишена была того изящества и красоты, которые составляют прямую противоположность неуклюжей силе и так выгодно отличают наших светских джентльменов, обязанных ими отчасти благородной крови их предков, составленной из пряных соусов и отборных вин, и отчасти раннему городскому воспитанию.

Хотя мисс Бриджет была женщина весьма разборчивая, пн чары капитанского обращения заставили ее совершенно пренебречь недостатками его внешности. Она полагала - и, может быть, очень мудро, - что узнает с капитаном больше приятных минут, чем с иным, гораздо красивейшим мужчиной, и пожертвовала утехой очей, чтобы обеспечить себе более существенное удовольствие.

Едва только капитан заметил страсть мисс Бриджет, проявив в этом открытии необыкновенную проницательность, как тотчас же честно ответил ей взаимностью. Почтенная дама могла похвастать красотой не больше своего поклонника. Я попробовал бы нарисовать ее портрет, если бы это уже не было сделано более искусным мастером, самим мистером Хогартом, которому она позировала несколько лет тому назад; недавно джентльмен этот сделал ее особу достоянием публики на гравюре, изображающей зимнее утро, которого она была недурной эмблемой; там ее можно видеть идущей (так она изображена на гравюре) в Ковент-Гарденскую церковь с заморышем-пажом, несущим за ней молитвенник.

Капитан тоже разумно предпочитал преходящим телесным прелестям более существенные утехы, которые сулил ему союз с этой дамой. Он был из числа тех мудрых людей, в глазах которых женская красота является весьма маловажным и поверхностным достоинством или, говоря точнее, которые предпочитают наслаждаться всеми удобствами жизни с уродом, чем терпеть лишения с красавицей. Обладая большим аппетитом и очень неприхотливым вкусом, он полагал, что недурно справится со своей ролью на брачном пиру и без приправы красоты.

Скажем читателю начистоту: капитан с самого своего приезда или, во всяком случае, с той минуты, как брат предложил ему эту партию и задолго до открытия каких-либо лестных для себя симптомов в поведении мисс Бриджет, был уже без памяти влюблен - влюблен в дом и сады мистера Олверти, его земли, сдаваемые в

аренду фермы и наследственные владения; ко всем этим предметам капитан загорелся такой пылкой страстью, что, наверное, согласился бы жениться на них, если бы даже ему пришлось взять в придачу Аэндорскую волшебницу.

А так как мистер Олверти объявил доктору, что никогда не женится вторично, так как, далее, сестра была его ближайшей родственницей и доктор выведал, что он намерен отказать все свое имение ее детям, что, впрочем, случилось бы и без его участия, на основании закона, то доктор вместе с братом сочли делом человеколюбия даровать жизнь существу, которое в такой изобилии будет обеспечено всем необходимым для счастья. Вследствие этого все помыслы братьев сосредоточились на том, как бы снискать благосклонность любезной хозяйки.

Но Фортуна, как нежная мать, часто делающая для своих любимчиков больше, чем они заслуживают или желают, была настолько заботлива к капитану, что, пока он строил планы, каким образом достигнуть своей цели, мисс Бриджет возымела точно такие же желания и, с своей стороны, придумывала, как бы поощрить капитана, но не очень явно, ибо она строго соблюдала все правила приличия. Это ей легко удалось, так как капитан всегда был начеку, и от него не ускользнули ни один взгляд, ни один жест, ни одно слово.

Удовольствие, доставленное капитану любезностью мисс Бриджет, сильно умерялось опасениями насчет мистера Олверти, ибо, несмотря на все бескорыстие последнего, капитан думал, что когда дойдет до дела, то он последует примеру остальных людей и не согласится на брак, столь невыгодный для его сестры в материальном отношении. Какой оракул подсказал ему эту мысль, предоставляю решать читателю; но откуда бы она ни пришла, капитан был в большом затруднении, как ему вести себя, чтобы выказывать свои чувства сестре и в то же время скрывать их от брата. Наконец он решил не пропускать ни одного случая поухаживать за ней наедине, но в присутствии мистера Олверти держаться настороже и быть как можно более сдержанным. Этот план встретил полное одобрение со стороны брата.

Скоро он нашел способ выразить влюбленной свои чувства в самой недвусмысленной форме и получил от нее подобающий ответ - тот ответ, который был дан впервые несколько тысяч лет тому назад и с тех пор, по преданию, переходил от матери к дочери. Если бы потребовалось прибегнуть к латыни, я передал бы его двумя словами: *Nolo episcopari*² - изречение тоже незапамятной давности, но сделанное по другому поводу.

Как бы там ни было, капитан в совершенстве понял свою даму; он вскоре повторил свои домогательства с еще большим жаром и страстностью - и снова, по всем правилам, получил отказ; но, по мере того как желания его делались все нетерпеливее, сопротивление леди, как полагается, все более слабело.

Чтобы не утомлять читателя описанием подряд всех сцен этого сватовства (они хоть и представляют, по мнению одного великого писателя, занимательнейшее событие в жизни действующих лиц, но удручающе тоскливы и скучны для зрителей), скажу лишь, что капитан вел наступление и крепость защищалась по всем правилам искусства и, наконец, тоже по всем правилам, сдалась на волю победителя.

Во время этих маневров, занявших почти целый месяц, капитан держался на очень почтительном расстоянии от леди в присутствии ее брата, и чем больше успевал в любви наедине, тем сдержаннее вел себя при других. А что касается мисс Бриджет, то, обеспечив себе поклонника, она стала выказывать к нему в обществе величайшее равнодушие, так что мистеру Олверти надо было обладать проницательностью самого дьявола (или, может быть, еще худшими его качествами), чтобы хоть смутно догадаться о том, что возле него происходит.

ГЛАВА XII,

содержащая в себе то, что читатель, может быть, и ожидает найти в ней

Во всех сговорах, идет ли речь о женитьбе, поединке или других подобных

вещах, всегда требуется маленькая предварительная церемония для благополучного завершения дела, если обе стороны питают действительно серьезные намерения. Не обошлось без нее и в настоящем случае, и меньше чем через месяц капитан и его возлюбленная стали мужем и женой.

Самым щекотливым делом было теперь сообщить о случившемся мистеру Олверти. За это взялся доктор.

Однажды, когда Олверти гулял в саду, доктор подошел к нему и, придав своему лицу как можно более расстроенное выражение, сказал очень серьезным тоном:

- Я пришел известить вас, сэр, о деле чрезвычайной важности, но не знаю, как и начать; при одной мысли о нем голова идет кругом!

И он разразился жесточайшей бранью против мужчин и женщин, обвинив первых в том, что они заботятся только о своей собственной выгоде, а вторых в такой приверженности к пороку, что их нельзя без опасения доверить ни одному мужчине.

- Мог ли я предположить,- говорил он,- что столь благоразумная, рассудительная и образованная женщина даст волю неразумной страсти! Мог ли я подумать, что мой брат... Впрочем, Скачем я его так называю? Он больше не брат мне!

- Отчего же? - сказал Олверти.- Он все-таки вам брат, так же как и мне.

- Боже мой, сэр! - воскликнул доктор.- Так вам уже известно про это скандальное дело?

- Видите ли, мистер Блайфил,- отвечал ему добрый сквайр,- я всю жизнь держался правила мириться со всем, что случается. Хотя сестра моя гораздо моложе меня, однако она уже в таком возрасте, что сама отвечает за свои поступки. Если бы брат ваш соблазнил ребенка, я еще призадумался бы, прежде чем простить ему; но женщина, которой за тридцать, должна же знать, что составит ее счастье. Она вышла замуж за джентльмена, может быть, и не совсем равного ей по состоянию, но если он обладает в ее глазах достоинствами, которые могут возместить этот недостаток, то мне непонятно, почему я должен противиться ее выбору; подобно сестре, я не думаю, чтобы счастье заключалось только в несметном богатстве. Правда, я не раз заявлял, что дам свое согласие почти на всякое предложение, и мог бы поэтому ожидать, что в настоящем случае спросят моего совета; но это вещи чрезвычайно деликатные, и, может быть, сестра не обратилась ко мне просто из стыдливости. А что касается вашего брата, то, право, я на него совсем не сержусь. Он ничем мне не обязан, и, мне кажется, ему вовсе не надо было спрашивать моего согласия, раз сестра моя, как я уже сказал, *sui juris* и в таком возрасте, что всецело отвечает за свои поступки только перед самой собою.

Доктор упрекнул мистера Олверти в слишком большой снисходительности, повторил свои обвинения против брата и заявил, что с этой минуты не желает больше видеть его и признавать за родственника. Потом он пустился расточать панегирики доброте Олверти, петь похвалы его дружбе и в заключение сказал, что никогда не простит своему брату поступка, благодаря которому он рисковал потерять эту дружбу.

Олверти так отвечал ему:

- Если бы даже я питал какое-нибудь неудовольствие против вашего брата, никогда бы я не перенес этого чувства на человека невинного; но уверяю вас, что я нисколько на него не сердит. Брат ваш кажется мне человеком рассудительным и благородным. Я не осуждаю выбора моей сестры и не сомневаюсь, что она является предметом его искреннего увлечения. Я постоянно считал любовь единственной основой счастья в супружеской жизни, так как она одна способна породить ту высокую и нежную дружбу, которая всегда должна быть скрепой брачного союза; по моему мнению, все браки, заключаемые по другим соображениям, просто преступны; они являются поруганием святого обряда и обыкновенно кончаются раздорами и

бедствием. Ведь обращать священнейший институт брака в средство удовлетворения сластолюбия и корыстолюбия - поистине значит подвергать его поруганию; а можно ли определить иначе все эти союзы, заключаемые людьми единственно ради красивой внешности или крупного состояния?

Отрицать, что красота приятное зрелище для глаза и даже достойна некоторого восхищения, было бы несправедливо и глупо. Эпитет "прекрасный" часто употребляется в Священном писании, и всегда в возвышенном смысле. Мне самому выпало счастье жениться на женщине, которую свет считал красивой, и, должен признаться, я любил ее за это еще больше. Но делать красоту единственным побуждением к браку, прельщаться ею до такой степени, чтобы проглядеть из-за нее все недостатки, или требовать ее так безусловно, чтобы отвергать и презирать в человеке набожность, добродетель и ум - то есть качества по природе своей гораздо более высокие - только потому, что он не обладает изяществом внешних форм,- это, конечно, несообразно с достоинством мудрого человека и доброго христианина. И было бы слишком большой снисходительностью предполагать, что такие люди, вступая в брак, заботятся о чем-нибудь ином, кроме угождения плотской похоти; а брак, как мы знаем, установлен не для этого.

Перейдем теперь к богатству. Светская мудрость требует, конечно, до некоторой степени принимать его в расчет, и я не стану всецело и безусловно это осуждать. Свет так устроен, что семейная жизнь и заботы о потомстве требуют некоторого внимания к тому, что мы называем достатком. Но требование это сильно преувеличивают по сравнению с действительной необходимостью: безрассудство и тщеславие создают гораздо больше потребностей, чем природа. Наряды для жены и крупные средства для каждого из детей обыкновенно считаются чем-то совершенно необходимым, и ради приобретения этих благ люди пренебрегают и жертвуют благами действительно существенными и сладостными - добродетелью и религией.

Тут бывают разные степени; крайнюю из них можно едва отличить от умопомешательства: я разумею те случаи, когда люди, владеющие несметными богатствами, связывают себя брачными узами с людьми, к которым питают, и не могут не питать, отвращение,- с глупцами и негодьями,- для того чтобы увеличить состояние, и без того уже слишком крупное для удовлетворения всех их прихотей. Конечно, такие люди, если они не хотят, чтобы их сочли сумасшедшими, должны признать, что они либо не способны наслаждаться утехами нежной дружбы, либо приносят величайшее счастье, какое только могли бы испытать, в жертву суетным, переменчивым и бессмысленным законам светского мнения, которые обязаны своей властью и своим возникновением одной только глупости.

Такими словами заключил Олверти свою речь, которую Блайфил выслушал с глубочайшим вниманием, хотя ему стоило немалых усилий парализовать некоторое движение своих лицевых мускулов. Он принялся расхваливать каждый период этой речи с жаром молодого священника, удостоенного чести обедать с епископом в тот день, когда его преосвященство проповедовал с церковной кафедры.

ГЛАВА XIII,

завершающая первую книгу и содержащая в себе пример неблагодарности, которая, мы надеемся, покажется читателю противоестественной

На основании рассказанного читатель сам может догадаться, что примирение (если только это можно назвать примирением) было делом простой формальности; поэтому мы его опустим и поскорее перейдем к вещам, несомненно, более существенным.

Доктор передал брату разговор свой с мистером Олверти и прибавил с улыбкой:

- Ну, знаешь, я тебя не пощадил! Я решительно настаивал, что ты не заслуживаешь прощения: после того как наш добрый хозяин отозвался о тебе с благосклонностью, на это можно было решиться совершенно безопасно, и я хотел,

как в твоих интересах, так и в своих собственных, предотвратить малейшую возможность подозрения.

Капитан Блайфил не обратил никакого внимания на эти слова, но впоследствии использовал их весьма примечательно.

Одна из заповедей дьявола, оставленных им своим ученикам во время последнего посещения земли, гласит: взобравшись на высоту, выталкивай из-под ног табуретку. В переводе на общепонятный язык это означает: составивши себе счастье с помощью добрых услуг друга, отделяйся от него как можно скорее.

Руководился ли капитан этим правилом, не берусь утверждать с достоверностью; несомненно только, что его поступки прекрасно согласовались с дьявольским советом и с большим трудом могут быть объяснены какими-нибудь иными мотивами, ибо не успел он завладеть мисс Бриджет и примириться с Олверти, как начал проявлять холодность в обращении с братом, которая с каждым днем все возрастала и превратилась, наконец, в грубость, бросающуюся в глаза всем окружающим.

Как-то наедине доктор стал горько выговаривать ему за такое поведение, но в ответ добился только следующего недвусмысленного заявления:

- Если вам не нравится что-нибудь в доме моего шурина, милостивый государь, то никто вам не мешает его покинуть.

Эта странная, жестокая и почти непостижимая неблагодарность со стороны капитана была чрезвычайно тяжелым ударом для бедного доктора, ибо никогда неблагодарность не ранит в такой степени человеческое сердце, как в том случае, когда она исходит от людей, ради которых мы решились на неблагоприятный поступок. Мысль о добрых и благородных делах, как бы их ни принимал и как бы за них ни оплачивал человек, для пользы которого они совершены, всегда содержит в себе нечто для нас утешительное. Но где нам найти утешение в случае такого жестокого удара, как неблагодарность друга, если в то же время потревоженная совесть колет нам глаза и упрекает, зачем мы замарали себя услугой такому недостойному человеку?

Сам мистер Олверти вступился перед капитаном за доктора и пожелал узнать, в чем он провинился. Жестокосердый негодяй имел низость ответить на это, что он никогда не простит брату попытки повредить ему в мнении великодушного хозяина; по его словам, он выведал это от самого доктора и считает такой бесчеловечностью, которую простить невозможно.

Олверти стал сурово порицать капитана, назвав его поведение недостойным. Он с таким негодованием обрушился на злопамятность, что капитан в конце концов притворился убежденным его доводами и сделал вид, что примирился с братом.

Что же касается новобрачной, то она проводила еще медовый месяц и так страстно была влюблена в своего свежее испеченного мужа, что не могла себе представить его неправым, и его неприязнь к кому-либо была для нее достаточным основанием, чтобы самой относиться к этому человеку неприязненно.

Капитан, как мы сказали, сделал вид, что примирился с братом по настоянию мистера Олверти, но в сердце его осталась затаенная обида, и он так часто пользовался случаем выказывать брату с глазу на глаз свои чувства, что пребывание в доме мистера Олверти под конец стало для бедного доктора невыносимо; он предпочел лучше терпеть всякого рода неудобства, скитаясь по свету, чем сносить долее жестокие и бессердечные оскорбления от брата, для которого сделал так много.

Однажды он собрался было рассказать все Олверти, но не решился на это признание, потому что значительную часть вины ему пришлось бы взять на себя. Кроме того, чем более он очернил бы брата, тем более тяжким показался бы Олверти его собственный проступок и тем сильнее было бы, как он имел основание

предполагать, негодование сквайра.

Он придумал поэтому какой-то предлог для отъезда, пообещав, что скоро вернется. Братья простились с такой искусно разыгранной сердечностью, что Олверти остался совершенно уверен в искренности их примирения.

Доктор отправился прямо в Лондон, где вскоре после этого и умер от огорчения - недуга, который убивает людей гораздо чаще, чем принято думать; этот недуг занял бы более почетное место в таблицах смертности, если бы не отличался от всех прочих болезней тем, что ни один врач не может его вылечить.

После прилежнейшего изучения прежней жизни обоих братьев я нахожу теперь, помимо упомянутого выше гнусного правила дьявольской политики, еще и другой мотив поведения капитана. Капитан, в дополнение к уже сказанному, был человек очень гордый и строптивый и всегда обращался со своим братом, человеком иного склада, совершенно чуждого этих качеств, крайне высокомерно. Между тем доктор был гораздо образованнее и, по мнению многих, умнее брата. Капитан это знал и не мог снести, ибо хотя зависть вообще страсть весьма зловредная, однако она становится еще гораздо злее, когда к ней примешивается презрение; а если к этим двум чувствам прибавить еще сознание обязанности по отношению к презируемому, то, я боюсь, что суммой этих трех слагаемых окажется не благодарность, а гнев.

КНИГА ВТОРАЯ,

ЗАКЛЮЧАЮЩАЯ В СЕБЕ СЦЕНЫ СУПРУЖЕСКОГО СЧАСТЬЯ В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ, А ТАКЖЕ ДРУГИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ В ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЕРВЫХ ДВУХ ЛЕТ ПОСЛЕ ЖЕНИТЬБЫ КАПИТАНА БЛАЙФИЛА НА МИСС БРИДЖЕТ ОЛВЕРТИ

ГЛАВА I,

показывающая, какого рода эта история, на что она похожа и на что не похожа

Хотя мы довольно справедливо назвали наше произведение историей, а не жизнеописанием и не апологией чьей-либо жизни, как теперь в обычае, но намерены держаться в нем скорее метода тех писателей, которые занимаются изображением революционных переворотов, чем подражать трудолюбивому плодовитому историку, который для сохранения равномерности своих выпусков считает себя обязанным истреблять столько же бумаги на подробное описание месяцев и лет, не ознаменованных никакими замечательными событиями, сколько он уделяет ее на те достопримечательные эпохи, когда на подмостках мировой истории разыгрывались величайшие драмы.

Такие исторические исследования очень смахивают на газету, которая - есть ли новости или нет - всегда состоит из одинакового числа слов. Их можно сравнить также с почтовой каретой, которая - полная ли она или пустая-постоянно совершает один и тот же путь. Автор их считает себя обязанным идти в ногу с временем и писать под его диктовку; подобно своему господину времени, он передвигается с ним по столетиям монашеского тупоумия, когда мир пребывал точно в спячке, столь же неторопливо, как и по блестящей, полной жизни эпохе, так великолепно обрисованной прекрасным латинским поэтом:

Ad cernfligendum venientibus undique Poenis,
Omnia cum belli trepido concussa tumultu
Horrida contremueie sub altis aetheris oris,
In dubioque fuere utrorum ad regna cadendum
Omnibus humanis esset terraque marique.

То есть:

При нападении войск отовсюду стекавшихся пунов,
В те времена, когда мир, потрясаемый громом сражений,
Весь трепетал и дрожал под высокими сводами неба,
И сомневались все человеки, какому народу

Выпадут власть над людьми и господство на суше и море.

Мы намерены придерживаться на этих страницах противоположного метода. Если встретится какая-нибудь необыкновенная сцена (а мы рассчитываем, что это будет случаться нередко), мы не пожалеем ни трудов, ни бумаги на подробное ее описание читателю; но если целые годы будут проходить, не создавая ничего достойного его внимания, мы не побоимся пустот в нашей истории, но поспешим перейти к материям значительным, оставив такие периоды совершенно неисследованными.

Эти периоды надо рассматривать как пустышки в великой лотерее времени, и мы, ее протоколисты, последуем примеру тех рассудительных господ, которые обслуживают лотерею, устраиваемую в Гильдхолле, и никогда не беспокоят публику объявлением многочисленных пустых номеров; но как только выпадет крупный выигрыш, газеты мгновенно наполняются этой новостью, и всему свету сообщается, в чьей конторе был куплен счастливый билет; обыкновенно даже на честь обладания им притязают два или три учреждения сразу, желая, должно быть, убедить искателей счастья, что некоторые комиссионеры посвящены в таинства Фортуны и состоят ее приближенными советниками.

Пусть же не удивляется читатель, если он найдет в этом произведении и очень короткие, и очень длинные главы - главы, заключающие в себе один только день, и главы, охватывающие целые годы,- если, словом, моя история иногда будет останавливаться, а иногда мчаться вперед. Я не считаю себя обязанным отвечать за это перед каким бы то ни было критическим судилищем: я творец новой области в литературе и, следовательно, волен дать ей какие угодно законы. И читатели, которых я считаю моими подданными, обязаны верить им и повиноваться; а чтобы они делали это весело и охотно, я ручаюсь им, что во всех своих мероприятиях буду считаться главным образом с их довольством и выгодой; ибо я не смотрю на них, подобно тирану, *jure divino*⁴, как на своих рабов или свою собственность. Я поставлен над ними только для их блага, я сотворен для них, а не они для меня. И я не сомневаюсь, что, сделав их интерес главной заботой своих сочинений, я встречу у них единодушную поддержку моему достоинству и получу от них все почести, каких заслуживаю или желаю.

ГЛАВА II

Библейские тексты., возбраняющие слишком большую благосклонность к незаконным детям, и великое открытие, сделанное миссис Деборой Вилкинс

Через восемь месяцев после отпразднования свадьбы капитана Блайфила и мисс Бриджет Олверти - дамы прекрасной собой, богатой и достойной,- миссис Бриджет, по случаю испуга, разрешилась хорошеньким мальчиком. Младенец был, по всей видимости, вполне развит, только повивальная бабка заметила, что он родился на месяц раньше положенного срока.

Хотя рождение наследника у любимой сестры очень порадовало мистера Олверти, однако оно несколько не охладило его привязанности к найденышу, которого он был крестным отцом, которому дал свое имя Томас и которого аккуратно навещал, по крайней мере, раз в день, в его детской.

Он предложил сестре воспитывать ее новорожденного сына вместе с маленьким Томми, на что она согласилась, хотя и с некоторой неохотой; ее готовность угождать брату была поистине велика, и потому она всегда обращалась с найденышем ласковее, чем иные дамы строгих правил, подчас неспособные проявить доброту к таким детям, которых, несмотря на их невинность, можно по справедливости назвать живыми памятниками невоздержания.

Но капитан не мог так легко примириться с тем, что он осуждал как ошибку со стороны мистера Олверти. Он неоднократно намекал ему, что усыновлять плоды греха - значит потворствовать греху. В подтверждение он приводил много текстов

(ибо был начитан в Священном писании), как, например: "Карает на детях грехи отцов", или: Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина", и т. п. Отсюда он доказывал справедливость наказания внебрачных детей за проступок родителей. Он говорил, что хотя закон и не разрешает уничтожать таких детей низкого происхождения, но признает их за ничьих; что церковь рассматривает их как детей, не имеющих родителей; и что в лучшем случае их следует воспитывать для самых низких и презренных должностей в государстве.

Мистер Олверти отвечал на это и на многое, высказанное капитаном по тому же поводу, что, как бы ни были преступны родители, дети их, конечно, невинны; а что касается приведенных текстов, то первый является угрозой, направленной исключительно против евреев за то, что они впали в грех идолопоклонства, покинули и возненавидели своего небесного царя; последний же имеет иносказательный смысл и скорее указывает несомненные и неминуемые последствия греха, чем имеет в виду определенное осуждение его. Но представлять себе, что всемогущий отмщает чьи-либо грехи на невинном, непристойно и даже кощунственно, равно как и представлять его действующим вопреки основам естественной справедливости и вопреки изначальным понятиям о добре и зле, которые сам же он насадил в наших умах, чтобы с их помощью мы судили не только о предметах, данных нам в опыте, но даже об истинах откровения. Он прибавил, что знает многих, разделяющих мнение капитана по этому поводу, но сам он твердо убежден в противном и будет заботиться об этом бедном ребенке совершенно так же, как о законном сыне, которому выпало бы счастье находиться на его месте.

В то время как капитан при всяком случае пускал в ход эти и подобные им доводы с целью охладить к найденышу мистера Олверти, которого он начал ревновать за доброту к нему, миссис Дебора сделала открытие, грозившее гораздо более роковыми последствиями для бедного Томми, чем все рассуждения капитана.

Привело ли добрую женщину к этому открытию ее ненасытное любопытство, или же она сделала его с намерением упрочить благорасположение к себе миссис Блайфил, которая, несмотря на показную заботливость о найденыше, наедине нередко бранила ребенка, а заодно с ним и брата за привязанность к нему, этого я не берусь решить; только миссис Дебора была теперь совершенно убеждена, что ей удалось обнаружить отца сиротки.

Так как открытие это чрезвычайно важно, то необходимо подойти к нему исподволь. Поэтому мы самым подробным образом изложим подготовившие его обстоятельства, и с этой целью нам придется разоблачить все тайны одного маленького семейства, еще совершенно незнакомого читателю, в котором существовали такие редкие и диковинные порядки, что, боюсь, они покажутся неправдоподобными многим женатым лицам.

ГЛАВА III

Описание домашнего строя, основанного на правилах, диаметрально противоположных аристотелевским

Пусть читатель благоволит припомнить, что Дженни Джонс, как мы выше сообщали, жила несколько лет у некоего школьного учителя, по настойчивой ее просьбе обучившего ее латыни, в каковой, нужно отдать справедливость ее способностям, она настолько преуспела, что сделалась учение своего наставника.

Действительно, хотя этот бедняк взялся за дело, необходимое требующее познаний, однако менее всего мог ими похвалиться. Это был добродушнейший человек на свете и в то же время такой мастер по части шуток и юмора, что прослыл за первого остряка в -околотке. Все соседние дворяне приглашали его наперебой; и так как он не владел талантом отказывать, то проводил у них много времени, которое с большей пользой мог бы провести у себя в школе.

Совершенно очевидно, что джентльмен с такими познаниями в наклонностях

не представлял особенно грозной опасности для учебных заведений в Итоне и Вестминстере. Говоря прямо, все его ученики разделялись на два класса: в старшем сидел сын соседнего сквайра, в семнадцать лет только что добравшийся до синтаксиса, а в младшем - другой сын того же джентльмена, обучавшийся чтению и письму вместе с семьей деревенскими мальчиками.

Получаемая за это плата вряд ли позволила бы нашему учителю роскошествовать, если бы обязанности педагога он не совмещал с должностью пономаря и цирюльника и если бы мистер Олверти не выплачивал ему ежегодного пособия в размере десяти фунтов, которое бедняк исправно получал к рождеству и мог, таким образом, повеселить свою душу на святках.

В числе других сокровищ педагог обладал женой, которую взял с кухни мистера Олверти за приданое в двадцать фунтов, прикопленных ею на барской службе.

Эта женщина не отличалась особенной миловидностью. Позировала она моему другу Хогарту или нет, я не берусь сказать, Только она как две капли воды похожа была на молодую женщину, наливающую чай своей госпоже, изображенную на третьем листе серии "Путь прелестницы". Она была, кроме того, убежденнейшей последовательницей благородной секты, основанной в древности Ксантиппой, и вследствие этого сделалась большей грозой для школы, чем ее муж, который, сказать правду, в ее присутствии не чувствовал себя хозяином ни в школе, ни где-либо в другом месте.

Наружность ее вообще не говорила о большой нежности нрава, но ее, может быть, еще больше ожесточило обстоятельство, обыкновенно отравляющее семейное счастье. Детей недаром называют залогом любви, а муж ее, несмотря на девять лет супружества, не подарил ей ни одного такого залога - упущение, совершенно для него непростительное ни по возрасту, ни по состоянию здоровья, ибо ему не исполнилось еще тридцать лет, и был он, что называется, славный малый и весельчак.

Отсюда проистекало другое зло, не менее стеснительное для бедного педагога: супруга ревновала его столь неустанно, что он не смел заговорить почти ни с одной женщиной в приходе, ибо малейшая вежливость или даже простое обращение к женщине неминуемо навлекали грозу и на него и на соперницу.

Чтобы предохранить себя от супружеской неверности в собственном доме, она всегда старалась, нанимая служанку, выбирать ее из того разряда женщин, наружность которых служит известной порукой их добродетели; к числу их, как уже знает читатель, принадлежала и Дженни Джонс.

Так как лицо этой девушки можно было считать прекрасной порукой упомянутого рода, так как ее поведение всегда отличалось отменной скромностью - верное свидетельство ума в женщине,- то она прожила больше четырех лет у мистера Партриджа (так звали учителя), не возбудив ни малейшего подозрения в своей хозяйке. Больше того: обращение с ней было необыкновенно любезное, и миссис Партридж сама позволила мужу давать ей упомянутые выше уроки.

Но ревность - та же подагра: если эти недуги в крови, никогда нельзя быть уверенным, что они не разразятся вдруг, и часто это случается по ничтожнейшим поводам, когда меньше всего этого ожидаешь.

Так случилось и с миссис Партридж, которая в течение четырех лет позволяла мужу давать уроки молодой девушке и часто прощала ей неисправность в работе, когда она проистекала от прилежного учения. Однажды, зайдя в классную, миссис Партридж застала девушку за книгой, а учителя наклонившимся над ней; не знаю, по какой причине, Дженни вдруг вскочила со стула,- и это впервые заронило подозрение в душу ее хозяйки.

Однако в ту минуту оно не проявилось наружу, а залегло в сердце, как неприятель в засаде, ждущий подкрепления, чтобы выйти в открытое поле и

приступить к военным действиям. Такое подкрепление вскоре и подоспело на подмогу ее подозрительности. Немного времени спустя, за супружеским обедом, хозяин сказал служанке: "Da mihi aliquid potum"⁵. Бедная девушка улыбнулась в ответ - может быть, плохой латыни, а когда хозяйка вскинула на нее очи, покраснела - вероятно, от конфуза, что посмеялась над хозяином. Миссис Партридж мгновенно пришла в бешенство и пустила тарелкой в бедную Дженни, закричав:

- Ах ты, бесстыдница!.. Перемигиваться при мне с моим мужем?

И с этими словами она сорвалась со стула с ножом в руках, который, по всей вероятности, послужил бы ей орудием трагической мести, если бы Дженни не стояла, по счастью, ближе к двери и не спаслась бегством от разъяренной хозяйки. Что же касается бедного мужа, то удивление лишило его способности двигаться, или же (что весьма вероятно) страх удержал от всякой попытки к сопротивлению, только он остался на месте, выпучив глаза и дрожа всем телом; так он просидел, не шевелясь и не произнося ни одного слова, пока возвращение жены, пустившейся в погоню за Дженни, не заставило его принять необходимые меры для собственной безопасности, и он вынужден был, в свою очередь, по примеру служанки, обратиться в бегство.

Эта добрая женщина, не больше чем Отелло, была расположена

...ревностию жить

И прибыль каждую луны и убыль

Встречать все новым подозреньем...

Для нее, как и для мавра,

...сомненье

С решимостью бывало неразлучно,

и поэтому она приказала Дженни сию же минуту складывать свои пожитки и убираться вон, не допуская мысли, чтобы девушка провела еще хоть одну ночь в ее доме.

Мистер Партридж был слишком научен опытом не вмешиваться в дела такого рода. Ему осталось только прибегнуть к обычному своему рецепту терпения, ибо, не будучи большим знатоком латыни, он все же помнил и хорошо понимал совет, заключающийся в словах:

...leve fit, quod bene fertur onus...

то есть: "груз делается легким, когда несешь его с умением". Это правило он всегда держал на языке и, сказать правду, часто имел случай убедиться в его истине.

Дженни попробовала было торжественно поклясться, что ни в чем не повинна, но буря была слишком сильна, и девушку не стали слушать. Волей-неволей ей пришлось заняться укладыванием своего добра, которое уместилось в нескольких листках оберточной бумаги, и Дженни, получив свое скудное жалованье, вернулась домой.

Учитель и супруга его провели этот вечер довольно невесело; но ночью что-то такое случилось, отчего к утру бешенство миссис Партридж немного поутихло; в конце концов она дозволила мужу принести ей извинения, которым поверила тем охотнее, что учитель не стал просить о возвращении Дженни, а, напротив, был очень доволен тем, что она уволена, заметив, что служанка она теперь бесполезная, так как вечно сидит за книгами, да еще сделалась дерзкой и упрямой. Действительно, в последнее время она часто вступала со своим наставником в литературные споры, сделавшись, как уже было сказано, гораздо учнее этого наставника. Он, однако, ни за что не хотел это признать и, приписав приверженность Дженни правильным взглядам ее упрямству, возненавидел ее с немалым ожесточением.

ГЛАВА IV,

содержащая описание одной из кровопролитнейших битв, или, вернее, поединков, какие известны в хрониках семейной жизни

По причинам, указанным в предыдущей главе, и вследствие некоторых других

супружеских уступок, хорошо известных большинству мужей, но, подобно масонским тайнам, не подлежащих разглашению среди не-членов этого почтенного братства, миссис Партридж вполне убедилась в несправедливости своих подозрений насчет мужа и постаралась загладить свою ошибку ласковостью. Страсти ее были одинаково бурными, какое бы направление они ни принимали: если гнев ее не знал меры, то не было пределов и ее нежности.

Хотя эти страсти обыкновенно чередовались между собой в педагогу редко выпадали сутки, когда он не испытывал бы на себе в некоторой степени и той и другой, однако в исключительных случаях, когда гнев бушевал слишком сильно, послабление бывало более продолжительным. Так дело обстояло и теперь: по окончании припадка ревности миссис Партридж пребывала в состоянии благосклонности гораздо дольше, чем это случалось с ней когда-либо раньше, и не будь некоторых маленьких упражнений, которые всем последовательницам Ксантиппы приходится проделывать ежедневно, мистер Партридж в течение нескольких месяцев наслаждался бы безмятежным спокойствием.

Полная тишина на море считается опытными моряками предвестницей бури, и я знаю людей, которые, будучи вовсе не суеверны, склоняются к мысли, что долгий и необыкновенный мир всегда сменяется распрями. По этой причине древние в таких случаях приносили жертвы Немезиде - богине, взирающей, по их мнению, завистливым оком на людское счастье и находящей особенное наслаждение разрушать его.

Будучи весьма далеки от веры в эту языческую богиню и не желая поощрять никаких суеверий, мы были бы рады, если бы мистер Джон Фр... или другой подобный ему философ потрудился бы немного над отысканием истинной причины этих внезапных переходов от благополучия к несчастью, так часто наблюдающихся в жизни. Мы тоже приведем такой пример, ибо наше дело излагать факты, а рассуждать о причинах предоставим умам более высокого полета.

Люди всегда находили большое удовольствие в том, чтобы разузнавать чужие дела и толковать о них. Вследствие этого во все времена и у всех народов существовали особые места для общественных сборищ, где любопытные могли встречаться и удовлетворять свое любопытство. Среди них цирюльни по справедливости занимали выдающееся место. "Новости цирюльни" вошли у греков в пословицу, а Гораций в одном из своих посланий делает и о римских цирюльниках почетное упоминание в этом смысле.

Английские брадобреи ничуть не уступают своим греческим и римским предшественникам. Иностранные дела обсуждаются у них почти с таким же важным видом, как и в кофейнях, а события отечественные - гораздо пространнее и непринужденнее. Но эти заведения служат только для мужчин; а так как и наши соотечественницы, особенно из низших классов, любят собираться и потолковать гораздо больше всех иноплеменниц, то английский общественный строй обладал бы большим недочетом, если бы и они не располагали таким местом, где могли бы удовлетворять свое любопытство, принимая во внимание, что в этом качестве слабый пол ничуть не уступает сильной половине человеческого рода.

Итак, в отношении места, где они могли бы собираться, британских дам нужно считать счастливее их иноплеменных сестер, ибо, насколько я припоминаю, мне не случалось ни читать в истории, ни наблюдать во время путешествий ничего подобного.

Означенное место является не чем иным, как мелочной лавкой; там можно узнать все новости; в каждом английском приходе там собираются кумушки, вульгарно выражаясь, посплетничать.

Попав однажды в такое сборище женщин, миссис Партридж была спрошена одной из своих соседок, не слышала ли она чего-нибудь новенького о Дженни Джонс.

На ее отрицательный ответ спрашивавшая заметила с улыбкой, что приход очень обязан миссис Партридж за то, что она выгнала вон Дженни.

Миссис Партридж, как известно читателю, уже давно излечившаяся от ревности и не имевшая других поводов к неудовольствию на свою служанку, развязно отвечала, что не понимает, за что тут быть обязанным: ведь другой такой девушки, как Джейви, пожалуй, и нет в приходе.

- Будем надеяться, что нет,- сказала кумушка,- хоть и довольно у нас всякой дряни. Так вы, видно, не слышали, что она разрешилась двойней? Впрочем, она родила их не здесь, поэтому муж мой и другой наш надзиратель за призреваемыми говорят, что мы не обязаны их воспитывать.

- Двойней! - с жаром воскликнула миссис Партридж.- Вы меня огорошили! Не знаю, обязаны ли мы их воспитывать, но я уверена, что они произведены здесь: ведь нет еще девяти месяцев, как девчонка ушла отсюда.

Ничто не может сравниться с быстротой и внезапностью операций ума, особенно когда его приводит в действие ревность со своими помощницами надеждой и страхом. Миссис Партридж мигом припомнила, что, живя в ее доме, Дженни почти никуда не отлучалась. Наклонившийся над стулом муж, быстрота, с какой девушка вскочила с места, латынь, улыбка и многие другие вещи разом пришли ей в голову. Удовольствие мужа по случаю ухода Дженни показалось ей теперь притворным и в то же время искренним, проистекавшим от пресыщения и сотни других дурных причин, что только пуще разогревало ее ревность. Словом, теперь она была уверена в виновности своего мужа и немедленно, в большой тревоге, покинула собрание.

Хотя домашняя кошка - и младшая в кошачьей породе, но она по свирепости не уступает старшим линиям своего семейства и, будучи гораздо слабее благородного тигра, равняется с ним в кровожадности; когда маленькая, измученная ею для забавы мышь на время ускользает от ее когтей, она беснуется, мяукает, ворчит, брюзжит и, если отодвинуть ящик или сундук, за которым спряталась мышка, как молния бросается на свою добычу и с дикой яростью кусает, царапает, мнет и терзает бедного зверька.

С не меньшим бешенством ринулась миссис Партридж на бедного педагога, обрушив на него сразу и язык, и зубы, и руки. Парик мгновенно был сорван с его головы, рубашка - с плеч, и по лицу несчастного потекли пять кровавых ручьев по числу когтей, которыми природа, по несчастью, вооружила неприятеля.

Мистер Партридж придерживался некоторое время чисто оборонительной тактики, стараясь только прикрыть руками лицо; но, видя, что ярость противника не утихает, он рассудил, что вправе наконец попробовать обезоружить его. то есть придержать его руки. В последовавшей схватке чепчик слетел с головы миссис Партридж, короткие, не достававшие до плеч волосы встали дыбом, корсет, зашнурованный только на одну нижнюю петлю, растянулся, и груди, гораздо более обильные, чем волосы, сверились ниже пояса; лицо ее было запачкано кровью мужа, зубы скрежетали от бешенства, и глаза метали огонь, как из кузнечного горна. Словом, эта воинственная амазонка привела бы в трепет и человека похрабрее мистера Партриджа.

Наконец бедняге посчастливилось овладеть ее руками и лишить таким образом оружия, которое она носила на кончиках пальцев; как только это случилось, так тотчас мягкость, свойственная ее полу, взяла в ней верх над бешенством: в ту же минуту она залилась слезами, а слезы кончились обмороком.

Небольшая доля самообладания, еще остававшаяся у мистера Партриджа во время этой дикой сцены, причины которой ему были непонятны, теперь окончательно покинула его. Он опрометью выбежал на улицу с криком, что жена его при смерти, и умолял соседей поспешить поскорее к ней на помощь. Несколько добрых женщин вняли его мольбам, вошли в дом и, употребив обычные в таких случаях средства,

привели в конце концов миссис Партридж в чувство, к великой радости ее мужа.

Едва только супруга, выпив успокоительного, немного пришла в себя, как начала выкладывать присутствующим многочисленные оскорбления, нанесенные ей мужем; изменник, жаловалась она, не только оскорбил ее супружеское ложе, но еще и обошелся с ней самым бесчеловечным образом, когда она его за это упрекнула: сорвал с нее чепчик и корсет, оттащав за волосы да вдобавок отколотил так, что знаки от побоев она унесет с собой в могилу.

Бедный муж, носивший на лице гораздо явственнейшие следы супружеского гнева, онемел от изумления при этом обвинении, столь мало согласном, как, надеюсь, засвидетельствует читатель, с истиной: ведь он ни разу не ударил ее. Его молчание было истолковано собравшимися женщинами как публичное признание, и все они разом стали, а она все-таки, упрекать и бранить его, приговаривая, что только подлецы способны бить женщину.

Мистер Партридж сносил все это терпеливо; но когда жена призвала кровь на лице своем в свидетели его бесчеловечности, он не выдержал и заявил о своих правах на эту кровь, которая действительно принадлежала ему; бедняге показалось слишком противоестественным, чтобы она восстала мстительницей против него, как кровь убитого против убийцы.

Женщины ответили только: как жаль, что это кровь из его лица, а не из самого сердца, и объявили в один голос, что, если их мужья посмеют поднять на них руку, они выпустят им всю кровь из жил.

После многих замечаний по поводу случившегося и множества добрых советов мистеру Партриджу насчет его будущего поведения общество наконец разошлось, оставив мужа наедине с женой, из беседы с которой мистер Партридж скоро узнал причину своих страданий.

ГЛАВА V,

в которой читателю есть что обсудить и над чем поразмыслить

Я считаю справедливым замечание, что тайна редко бывает достоянием только одного лица; но было бы почти чудом, если бы происшествие, подобное описанному, сделавшись известным целому приходу, не получило дальнейшей огласки.

И действительно, не прошло и нескольких дней, как во всем околотке, употребляя образное выражение, затрезвонили о зверском избиении жены учителем из Литтл-Баддингтона. В иных местах передавали даже, что он ее убил, в других что он переломал ей руки, в третьих - ноги. Словом, послушать эти толки, так миссис Партридж получила от мужа едва ли не все увечья, какие только можно нанести человеческому телу.

О причине этой ссоры рассказывали тоже различно; если, по словам некоторых, миссис Партридж застала мужа в кровати со служанкой, то ходили и совсем другие слухи. Некоторые переносили даже вину на супругу, а ревность приписывали мужу.

Миссис Вилкинс давно уже слышала об этой ссоре; но так как до слуха ее дошла версия, далекая от истины, то она сочла благоразумным молчать о ней, главным образом потому, может быть, что все порицали мистера Партриджа; между тем его жена, еще будучи служанкой у мистера Олверти, чем-то оскорбила миссис Вилкинс, которая была не очень расположена прощать подобные вещи.

Но миссис Вилкинс обладала острым зрением и заглядывала на несколько лет вперед; она чувствовала, что со временем ее хозяином, по всей вероятности, станет капитан Блайфил. Видя же его нерасположение к найденышу, она вообразила, что окажет капитану приятную услугу, если ей удастся сделать какие-нибудь открытия, способные охладить привязанность мистера Олверти к этому ребенку, доставлявшую настолько явное неудовольствие капитану, что он не мог его скрывать даже в присутствии самого Олверти, хотя миссис Блайфил, игравшая свою роль при посторонних гораздо искуснее, часто ставила в пример мужу свое угождение причуде

брата, которую, по ее словам, видела и осуждала ничуть не меньше других.

Вот почему миссис Вилкинс, получив случайно, хоть и с большим запозданием, правильные сведения о ссоре учителя с женой, не замедлила разузнать досконально все подробности и доложила капитану, что ей удалось наконец открыть настоящего отца подкидыша; при этом она посетовала на слабость своего хозяина, который, говорила она, только роняет себя в мнении околотка, окружая такой заботливостью незаконного ребенка.

Капитан побранил ее за эти заключительные слова, сказав, что слугам не пристало судить о поступках своих господ. Если бы даже чувство чести и разум позволили ему вступить в союз с миссис Вилкинс, то гордость ни за что бы этого не допустила. И по правде говоря, нет ничего опрометчивее входить в заговор со слугами вашего друга против их хозяина, потому что таким образом вы становитесь рабом этих самых слуг, способных в любую минуту предать вас. Это соображение, должно быть, и удержало капитана Блайфила от излишней откровенности с миссис Вилкинс и не позволило ему поощрить ее критику поступков Олверти.

Однако, не выразив миссис Вилкинс никакого удовольствия по случаю этого открытия, он внутренне немало ему порадовался и решил извлечь из него как можно больше выгоды.

Долго хранил он новость в тайне, надеясь, что мистер Олверти узнает ее от кого-нибудь другого; однако миссис Вилкинс, не то обидевшись на капитана, не то не поняв его тактики и боясь, что ее открытие действительно ему не понравилось, не проронила больше о нем ни слова.

Поразмыслив, я нахожу несколько странным, что домоправительница не поделилась своей новостью с миссис Блайфил, несмотря на то что женщины делятся новостями друг с другом гораздо охотнее, чем с нами. Единственным, как мне кажется, объяснением этой загадки может служить отчужденность, установившаяся с некоторых пор между барыней и экономкой. Может быть, миссис Блайфил была недовольна слишком большим вниманием Вилкинс к найденышу, ибо, стараясь вредить ребенку с целью снискать себе расположение капитана, Дебора в то же время с каждым днем все больше расхваливала его перед Олверти, потому что любовь к нему сквайра с каждым днем возрастала. Это обстоятельство, вопреки всем стараниям экономки выказывать перед миссис Блайфил прямо противоположные чувства, должно быть, оскорбляло щепетильную барыню, положительно возненавидевшую миссис Вилкинс. Хотя она и не отказала ей от должности, может быть, потому, что не могла этого сделать, однако находила множество способов отравлять ей существование. В конце концов это до того озлобило миссис Вилкинс, что, в пику своей барыне, она стала обращаться с маленьким Томми с подчеркнутым уважением и нежностью.

Капитан, видя, что история таким образом, пожалуй, заглохнет, воспользовался наконец удобным случаем и рассказал ее сам.

Однажды зашел у него с мистером Олверти разговор о милосердии; капитан с большим знанием дела доказывал мистеру Олверти, что в Священном писании слово "милосердие" нигде не обозначает благотворительности или щедрости.

- Христианская религия,- говорил он,- установлена для целей более высоких, чем утверждение истин, задолго до нее преподанных многими языческими философами; истины эти, может быть, и достойны названия нравственных добродетелей, но еще весьма далеки от того возвышенного христианского уmonoстроения, того воспарения мысли, по чистоте своей приближающегося к ангельскому совершенству, которое достигается, выражается и испытывается только силой благодати. Те ближе подошли к смыслу Священного писания,- говорил он,- которые понимают под милосердием чистосердечие, благожелательное мнение о наших братьях и снисходительное суждение об их поступках- добродетель, более

высокую и более объемлющую по своей природе, чем жалкое раздавание милостыни, которое, хотя бы мы разорились и пустили по миру свои семьи, никогда не может коснуться многих, тогда как в ином и более истинном значении милосердие может объять все человечество.

- Принимая во внимание,-говорил он,-кто такие были апостолы, нелепо предполагать, будто им было преподано правило щедрости или раздавания милостыни. Но если мы не можем представить себе, чтобы такое правило было преподано божественным нашим учителем людям, которые не могли применить его на деле, то тем более у нас нет оснований думать, чтобы его понимали таким образом те, которые могут применять его и не применяют.

- Но хотя в таких добрых делах,- продолжал он,- боюсь я, и нет большой заслуги, однако должен признать, что они могли бы доставить доброму сердцу большое наслаждение, если бы его не отравляло то обстоятельство, что мы легко подвержены обману и часто оказываем лучшие наши благодеяния недостойным, как, признайтесь, случилось и с вами: этот низкий человек Партридж совсем не заслуживал вашей щедрости. Два-три таких примера должны сильно уменьшить внутреннее удовольствие, которое находит добрый человек в делах благотворительности, и даже внушить ему страх, как бы не оказаться виновным в попустительстве пороку и поощрении людей пропащих; преступление это очень тяжелое и ни в коем случае не может быть оправдано тем, что у нас и в мыслях не было заниматься таким попустительством, - разве только при выборе предметов для нашей благотворительности мы соблюдали сугубую осторожность. Я не сомневаюсь, что это соображение сильно умеряло щедрость многих достойных и благочестивых людей.

Мистер Олверти отвечал капитану, что он не может состязаться с ним в знании греческого языка и потому ничего не может сказать насчет истинного значения слова, переведенного как "милосердие", но он всегда считал, что сущность его состоит в делах и что подавание милостыни составляет, по крайней мере, одну ветвь этой добродетели.

Что же касается вопроса о заслуге, то он охотно соглашается с капитаном; ибо какая заслуга в простом исполнении долга? А долг этот, как ни толковать слово "милосердие", достаточно ясно вытекает из всего духа Нового завета. Таким образом, он необходимо предписывается и христианскими законами, и законами самой природы; и при этом исполнение его настолько приятно, что если о каком-нибудь долге можно сказать, что он сам себе награда, то таким долгом является именно благотворение.

- Необходимо, однако, признать,- продолжал он, - что есть один род щедрости (я бы назвал его милосердием), которому действительно присуща некоторая видимость заслуги: именно когда мы из доброжелательности и христианской любви отдаем другому то, в чем сами нуждаемся, когда для облегчения несчастий ближнего соглашаемся часть их взять на себя, отказываясь в его пользу от таких вещей, без которых нам самим очень трудно обойтись. В этом, мне кажется, есть заслуга; а облегчать положение наших братьев только от избытка, быть милосердным (приходится употребить это слово) скорее за счет своей казны, чем себя самих, спасти несколько семейств от нищеты ценой отказа от приобретения редкой картины или удовлетворения иного суетного желания - это значит не больше, чем быть человеком. Я решусь даже сказать: это значит быть в некоторой мере эпикурейцем; ибо может ли величайший эпикуреец пожелать чего-либо большего, как есть многими ртами вместо одного? А так именно, по-моему, следует сказать о человеке, знающем, что многие обязаны хлебом насущным его щедрости.

Что же касается опасности облагодетельствовать человека, который впоследствии может оказаться недостойным, как это нередко случается, то, конечно,

она не способна удержать благотворителя от свершения добрых дел. Я не допускаю, чтобы несколько и даже много примеров неблагодарности могли оправдать бесчувственность состоятельного человека к горю ближних, и не верю, чтобы они могли оказать подобное действие на истинно милосердное сердце. Только убеждение во всеобщей порочности могло бы удержать человека отзывчивого; и такое убеждение должно привести его, мне кажется, или к атеизму, или к фанатизму. Однако недопустимо заключать о всеобщей порочности из факта существования небольшого числа порочных лиц, и я уверен, что такого вывода никогда не сделает тот, кто, исследуя собственное сердце, находит в нем явное исключение из этого общего правила.

В заключение мистер Олверти спросил, кто такой этот Партридж, которого капитан назвал низким человеком.

- Я имею в виду,- отвечал капитан,- Партриджа - цирюльника, учителя... и не знаю, кем он еще состоит. Партриджа - отца ребенка, которого вы нашли в своей постели.

Мистер Олверти выразил большое удивление при этом известии, а капитан - не меньшее удивление, что его шурин этого не знал: он сказал, что новость известна ему уже более месяца, и припомнил, правда, с большим трудом, что ее сообщила ему миссис Вилкинс.

Вилкинс была немедленно призвана и после подтверждения ею сказанного капитаном, отправлена мистером Олверти, по совету капитана, в Литтл-Бадингтон -разузнать, правда ли все это, ибо капитан объявил себя противником всякой поспешности в уголовных делах, сказав, что ни в коем случае не желает подсказывать мистеру Олверти решение, неблагоприятное для ребенка или его отца, не удостоверившись предварительно в виновности последнего; хотя сам он втайне был убежден показаниями одного соседа Партриджа, но великодушие не позволило ему сообщать такие улики мистеру Олверти.

ГЛАВА VI

Процесс Партриджа, школьного учителя, по обвинению его в распутстве; показание его жены, краткое размышление о мудрости наших законов и много иных важных материй, которые больше всего понравятся людям, наилучшим образом в них смыслящим

Может показаться удивительным, что такая всем известная история, давшая столько материала для разговоров, не дошла до сих пор до мистера Олверти и что он являлся, должно быть, единственным человеком в околотке, никогда о ней не слышавшим.

Чтобы до некоторой степени объяснить читателю такую странность, я считаю долгом сообщить ему, что никто в целом королевстве не был больше мистера Олверти далек от мысли поступать против учения о милосердии - в том смысле этого слова, как было рассмотрено в предыдущей главе. Действительно, он практиковал эту добродетель и в положительном и в отрицательном ее значении: никто не был более отзывчив к нужде и более готов помочь другому в несчастье, никто не относился деликатнее к чужой репутации и недоверчивее - к разным невыгодным для нее слухам.

Поэтому злословие не имело доступа к его столу. Давно уже замечено, что человека можно узнать по его приятелям; я же беру на себя смелость утверждать, что из разговора за столом знатного человека можно узнать о его религиозности, политических убеждениях, вкусах и вообще всех наклонностях; ибо хотя я есть такие чудачки, которые везде будут высказывать свой образ мыслей, но у большинства людей достаточно силен инстинкт угодничества, для того чтобы сообразовать свой разговор со вкусами и наклонностями высших.

Возвратимся, однако, к миссис Вилкинс, которая, несмотря на пятнадцать миль

расстояния, исполнила свое поручение чрезвычайно быстро и представила такое убедительное доказательство виновности учителя, что мистер Олверти распорядился послать за преступником и допросить его *viva voce*⁷. Итак, мистер Партридж был призван явиться лично и оправдаться (если только он может) против возведенных на него обвинений.

В назначенное время предстали пред лицом самого мистера Олверти в зале, называвшемся "Парадиз", как упомянутый Партридж с женой своей Анной, так и миссис Вилкинс, его обвинительница.

Мистер Олверти воссел в судейское кресло, и мистер Партридж был подведен к нему. Выслушав обвинение из уст миссис Вилкинс, последний не признал себя виновным, с большим жаром утверждая, что он совершенно непричастен к этому делу.

Потом была допрошена миссис Партридж; после скромного извинения, что ей приходится говорить правду во вред своему мужу, она рассказала все обстоятельства, уже известные читателю, и в заключение сказала, что муж ей во всем сознался.

Простила она ему или нет, этого я не берусь решить; верно только, что она неохотно выступила свидетельницей против мужа, и есть много оснований предполагать, что ее никогда не заставили бы дать эти показания, если бы миссис Вилкинс еще дома не выведала от нее с большой ловкостью всех подробностей и не пообещала ей от имени мистера Олверти, что наказание мужа не причинит никакого вреда его семейству.

Партридж упорно продолжал отрицать свою виновность, хотя и согласился, что действительно сделал жене упомянутое признание; он оправдывался тем, что был к нему вынужден ее неотступной назойливостью: она поклялась не оставлять его в покое, пока он не признается, так как у нее нет никаких сомнений насчет его виновности, и дала торжественное обещание в случае его признания никогда больше об этом не упоминать. Вот что довело учителя, по его словам, до ложного признания, хотя он и не был виноват; по этим соображениям он готов был признаться хоть в убийстве.

Такого поклепа миссис Партридж не могла снести хладнокровно; не имея в настоящем положении никакого средства, кроме слез, она прибегла к их помощи, разрыдавшись в три ручья, и сказала (или, вернее, прокричала), обращаясь к мистеру Олверти:

- С позволения вашей милости, ни одна еще женщина на свете не терпела таких оскорблений, как я от этого низкого человека! Это не в первый раз он мне изменяет. Нет, с позволения вашей милости, он оскорблял мое ложе многое множество раз. Я могла бы еще терпеть его пьянство и нерадение по должности, не нарушай он священной заповеди брака. Добро бы, где-нибудь на стороне, что еще куда ни шло, но с моей служанкой, в моем доме, под моей крышей осквернять мое чистое ложе - а, ей-богу, он валялся на нем со своими гнусными, вонючими потаскушками! Да, негодник, ты осквернил мое ложе, осквернил! И смеешь после этого обвинять меня, что я страшила тебя и вынудила к признанию! Ну, скажите, пожалуйста, можно ли поверить, чтоб я его страшила? Все мое тело в синяках от его жестокого обращения. Если бы ты был мужчиной, мерзавец, то постыдился бы так обижать женщину! Но какой же ты мужчина! Ты и не муж мне! Тебе нужно бегать за девками!.. Не отпирайся, когда я говорю! И раз уж он ведет себя так дерзко, то я готова, с позволения вашей милости, присягнуть, что застала их в кровати. Ты забыл, небось, как избил меня до беспамятства и все лицо раскровенил за то, что я мягко укорила тебя в прелюбодействе! Так я могу призвать в свидетели всех моих соседей. Ты до смерти меня обидел, да, да!..

Тут мистер Олверти перебил ее и попросил успокоиться, обещая ей

восстановить справедливость; затем обратился к Партриджу, обалдевшему и потерявшему половину рассудка от изумления, половину от страха, и сказал, что ему прискорбно видеть такого падшего человека. Он заявил ему, что это вилянье, эти признания и отпирательства сильно отягчают его вину и что ее могут загладить только откровенное признание и искреннее раскаяние. Поэтому он увещевал его немедленно сознаться в совершенном преступлении и не упорствовать в отрицании того, что так ясно доказано даже его женой.

Здесь, читатель, прошу тебя минуточку потерпеть, пока я воздам справедливую хвалу великой мудрости и прозорливости наших законов, которые не принимают в расчет показаний жены ни за, ни против мужа. Это, - говорит один ученый автор, которого, насколько мне известно, цитировали до сих пор только в юридических сочинениях, - породило бы вечные раздоры между ними и послужило бы поводом многих клятвопреступлений, а также многих побоев, штрафов, заключений в тюрьму, ссылок и повешений.

Партридж стоял некоторое время безмолвный, пока от него не потребовали ответа. Тогда он сказал, что его заявление правильно, и призвал в свидетели своей невиновности небо и самое Дженни, прося его милость немедленно послать за ней, ибо он не знал - пли, по крайней мере, делал вид, что не знает, - об ее отъезде из этой местности.

Врожденная любовь к справедливости в соединении со спокойным характером делала мистера Олверти терпеливейшим из судей и заставляла его выслушивать всех свидетелей, которых обвиняемый мог выставить в свою защиту. Поэтому он согласился отложить окончательный приговор по настоящему делу до приезда Дженни, за которой немедленно отправил нарочного, после чего, посоветовав Партриджу и жене его соблюдать мир (причем обращался преимущественно не к тому лицу, к какому следовало бы), велел им снова явиться к нему через два дня, ибо он выслал Дженни на целый день пути от своего дома.

В назначенное время все стороны собрались, когда вернулся нарочный с донесением, что не мог найти Дженни, так как несколько дней тому назад она покинула свое жилище в обществе одного офицера-вербовщика.

Тогда мистер Олверти заявил, что показание такой распутницы, какой оказывается Дженни, не заслуживает никакого доверия, но что, по его твердому убеждению, если бы она была налицо и сказала бы правду, то, наверное, подтвердила бы факты, достаточно ясно доказанные множеством обстоятельств, в том числе собственным признанием обвиняемого и заявлением жены, что она застала мужа на месте преступления. Поэтому он снова стал увещевать Партриджа сознаться. Но когда тот продолжал утверждать, что он не виновен, мистер Олверти заявил, что теперь у него нет никаких сомнений в виновности учителя и что он считает такого дурного человека недостойным получать от него какое-нибудь вспомоществование. Он лишил его поэтому ежегодного пособия и посоветовал раскаяться для спасения души своей на небе и трудиться для пропитания себя и жены на земле.

Не много, должно быть, найдется людей несчастнее бедного Партриджа. Потеряв большую часть доходов вследствие показания жены, он ею же был попрекаем ежедневно за то, что наряду со многими другими лишил ее и этой милости. Но такова уж была его судьба, и ему пришлось покориться ей.

Хотя я назвал учителя в последнем абзаце "бедным Партриджем", но прошу читателя отнести этот эпитет на счет сострадательности моего сердца, не делая из него никаких заключений насчет невиновности потерпевшего. Был он невиновен или нет, это, может быть, обнаружится впоследствии; но если уж муза истории доверила мне некоторые тайны, я ни за что не стану их разглашать, пока она не даст мне на это позволения.

Итак, пусть читатель сдержит на время свое любопытство. Верно лишь то, что, как бы ни обстояло дело в действительности, у Олверти было более чем достаточно улик для объявления его виновным; любое судебное учреждение удовольствовалось бы и половиной их для постановления об его отцовстве. И все же, несмотря на категоричность утверждений миссис Партридж, которая готова была даже присягнуть, очень может статься, что учитель был совершенно невиноват; ибо, хотя из сопоставления времени отъезда Дженни из Литтл-Баддингтона с временем ее родов ясно было, что она зачала ребенка еще и этом приходе, однако отсюда вовсе не следовало, что Партридж непременно был его отцом. Оставляя в стороне прочие мелочи, скажем только, что в том же самом доме жил малый лет восемнадцати, причем между ним и Дженни существовала достаточная короткость для того, чтобы дать повод к подозрениям; но ревность слепа, и это обстоятельство ни разу не остановило на себе внимания взбешенной супруги.

Раскаялся Партридж благодаря увещаниям мистера Олверти или нет, это не столь ясно. Несомненно только, что жена его искренне раскаивалась в сделанном ею показании, особенно когда убедилась, что миссис Дебора обманула ее и отказалась замолвить за нее слово мистеру Олверти. Несколько больший успех имела она у миссис Блайфил, которая, как заметил, должно быть, читатель, была женщина более добродушная и поэтому любезно взялась ходатайствовать перед братом о восстановлении пособия; впрочем, помимо сердечной доброты, ею руководило и другое сильнейшее и более естественное побуждение, которое выяснится в следующей главе.

Ее ходатайства были, однако, безуспешны. Мистер Олверти хотя и не разделял мнения некоторых новейших писателей, что милосердие заключается в наказании виновных, но был также далек от мысли, что эта высокая добродетель требует прощать тяжких преступников здорово живешь, без всякого основания. Сомнительность факта или какое-нибудь смягчающее вину обстоятельство никогда не оставлялись им без внимания, но просьбы правонарушителя или заступничество других нисколько его не трогали. Словом, он никогда не прощал по той только причине, что наказание приходилось не по вкусу самому виновному или друзьям его.

Партридж и жена его принуждены были покориться своей судьбе; а судьба эта была суровая: учитель не только не удвоил усердия к работе по случаю уменьшения доходов, но в некотором роде предался отчаянию; лень, всегда ему свойственный порок, в нем усилилась, вследствие чего он лишился своей маленькой школы и остался бы с женою без куска хлеба, если бы не помощь одного доброго христианина, снабдившего его небольшими средствами к существованию.

Так как помощь эта посылалась супругам неизвестной рукой, то они, так же как, вероятно, и читатель, думали, что тайный их благодетель не кто иной, как сам мистер Олверти; не желая открыто покровительствовать пороку, он, возможно, решился втайне помочь самим порочным, когда их бедствия стали несоразмерно жестоки по сравнению с проступком. В таком свете бедственное их положение представилось и самой Фортуне: она сжалилась наконец над несчастной четой и чувствительно облегчила незавидную участь Партриджа, положив конец страданиям его жены, которая вскоре захворала оспой и умерла.

Приговор, произнесенный мистером Олверти над Партриджем, сначала встречен был всеобщим одобрением; но едва только учитель стал испытывать на себе его последствия, как все соседи смягчились и начали жалеть бедняка и порицать, как суровость и жестокость, то, что сперва называли справедливостью. Они бранили судей, хладнокровно выносящих обвинительные приговоры, и пели похвалы милосердию и прощению.

Эти негодующие крики еще более усилились по случаю смерти миссис Партридж. Хотя причиной ее была только что упомянутая болезнь, порождаемая не

бедностью и не горем, многие не постыдились приписать ее суровости или, как теперь говорили, жестокости мистера Олверти.

Потеряв жену, школу и пособие и лишившись неизвестного благодетеля, переставшего посылать упомянутую выше помощь, Партридж решил переменить место действия и покинуть деревню, в которой, при всеобщем сострадании соседей, подвергался опасности умереть с голоду.

ГЛАВА VII

Беглый набросок наслаждения, которое благоразумные супруги могут извлечь из ненависти, с присовокуплением нескольких слов в защиту людей, смотрящих сквозь пальцы на недостатки своих друзей

Капитан хотя и сокрушил бедного Партриджа, однако не пожал плодов, на которые надеялся: ему не удалось выжить найденыша из дома мистера Олверти.

Напротив, последний с каждым днем все больше привязывался к маленькому Томми, словно чрезмерной нежностью и ласковостью к сыну хотел загладить суровость к отцу.

Это обстоятельство, наравне с другими ежедневными примерами великодушия мистера Олверти, сильно портило самочувствие капитана, ибо в каждой такой щедрости он видел ущерб своему богатству.

В этом, как мы сказали, он расходился со своей женой, как, впрочем, и во всем другом. Хотя любовь, основанная на рассудке, является, по мнению многих мудрых людей, более прочной, чем любовь, внушенная красотой, но в настоящем случае вышло не так. Как раз взгляды и суждения супругов сделались для них яблоком раздора и главной причиной ссор, от времени до времени возникавших между ними, пока, наконец, супруга не прониклась глубочайшим презрением к мужу, а супруг - безграничным отвращением к жене.

Так как оба они упражняли свои способности главным образом на вопросах богословия, то с первого их знакомства оно и составляло главный предмет их бесед. Капитан, как человек благовоспитанный, до свадьбы всегда уступал своей собеседнице, и притом не неуклюже, как иной самодовольный дурак, который, вежливо преклоняясь перед доводами высшего, желает все же показать, что считает себя правым. Напротив, капитан, хотя и был одним из спесивейших людей на свете, однако признавал свою противницу победительницей так безусловно, что мисс Бриджет, нисколько не сомневавшаяся в его искренности, всегда выносила из диспута удивление перед своим умом и любовь к его уму.

Хотя эта угодливость особе, которую капитан презирал от всей души, была не так тяжела для него, как в том случае, когда, в надежде на повышение в чинах, ему пришлось бы проявить ее по отношению к Годли или другому выдающемуся своей ученостью богослову, но и она обходилась ему слишком дорого, чтобы он мог терпеть ее без особых причин. Поэтому, когда женитьба устранила все такие причины, он стал тяготиться своей уступчивостью и выслушивал мнения жены с тем наглым высокомерием, на какое способны только люди, сами заслуживающие презрения, и какое способны сносить только те, которые его совершенно не заслуживают.

Когда первые потоки нежности иссякли и когда в спокойные и долгие промежутки между приступами страсти рассудок начал раскрывать глаза новобрачной и миссис Блайфил увидела, как изменилось обращение капитана, который под конец на все ее доводы только презрительно фыркал, то она не обнаружила никакого желания сносить оскорбление с кроткой покорностью. В первый раз оно до такой степени взбесило ее, что дело могло бы принять очень трагический оборот, если бы гнев ее не вылился в более мягкой форме, преисполнив ее глубочайшим презрением к умственным способностям мужа, что несколько умерило ее ненависть к нему, которой, впрочем, она тоже запаслась в немалом количестве.

Ненависть капитана к жене была проще: за недостатки ума и знаний он презирал ее не больше, чем за то, что она не была шести футов роста. В своем суждении о женском поле капитан перецегилял даже брюзгу Аристотеля: он смотрел на женщину, как на домашнее животное, немного поважнее кошки, потому что обязанности ее были несколько значительнее; но разница между ними, в его представлении, была так ничтожна, что при женитьбе на землях и угодьях мистера Олверти ему было почти безразлично, кого из них ему взять за ними в приданое. Все же самолюбие его было чрезмерно, и он болезненно переносил презрение, которое начала теперь проявлять к нему жена; в соединении с любовью, которой она так неумеренно награждала его раньше, это породило в нем гадливость и отвращение, какие редко в ком можно встретить.

Лишь одна ситуация супружеской жизни чужда наслаждению - состояние равнодушия. Но если многим моим читателям известно, надеюсь, как бесконечно приятно бывает угождать любимому человеку, то, боюсь, найдутся и такие, которые извели удовольствие мучить ненавистного. В этом удовольствии, сдается мне, нужно видеть причину того, что муж и жена часто отказываются от покоя, которым могли бы наслаждаться в браке, как бы ни были они ненавистны друг другу. Вот почему на жену часто находят припадки любви и ревности и она даже отказывает себе во всех удовольствиях, лишь бы разрушить и расстроить удовольствия мужа; а он в отместку подвергает себя всяческим стеснениям и сидит дома в неприятном для себя обществе, чтобы жена оставалась с человеком, которого она тоже терпеть не может. Отсюда также обильные слезы, нередко проливаемые вдовой над прахом мужа, с которым она не имела ни минуты мира и покоя в жизни, но которого теперь ей нельзя будет мучить.

Но ни одна супружеская чета не испытывала этого наслаждения в такой мере, как капитан и его жена. Достаточно было одному из них высказать какое-нибудь мнение, чтобы другой стал упорно отстаивать мнение прямо противоположное. Если один предлагал какое-нибудь развлечение, другой непременно от него отказывался, они никогда не любили и не ненавидели, не хвалили и не бранили одного и того же человека; и вот почему, заметив, что капитан злобно посматривает на найденыша, жена его начала ласкать ребенка не меньше собственного сына.

Читатель легко поймет, что такие отношения между мужем и женой не слишком содействовали покою мистера Олверти, мало напоминая то безмятежное счастье, которое он мечтал устроить для всех троих при помощи этого брачного союза. Но нужно сказать, что, как он ни обманулся в своих радужных надеждах, все же он далеко не знал всей правды; ибо если у капитана было достаточно оснований держаться настороже в его присутствии, то и жене его приходилось, из боязни навлечь на себя неудовольствие брата, вести себя точно таким же образом. Действительно, третье лицо может быть очень близким и даже долго жить в одном доме с супружеской четой, проявляющей достаточную сдержанность, и несколько не догадываться о горьких чувствах, питаемых супругами друг к другу. Бывает, конечно, что целого дня мало как для ненависти, так и для любви, однако долгие часы, обыкновенно проводимые вместе, без посторонних свидетелей, доставляют мало-мальски сдержанным супругам столько благоприятных случаев насладиться обеими названными страстями, что они свободно могут выдержать несколько часов в обществе и не миловаться, если они влюблены, или не плевать друг другу в лицо, если они друг друга ненавидят. Возможно, впрочем, что мистер Олверти видел довольно для того, чтобы ему было немного не по себе; ибо если умный человек не кричит и не жалуется, как ребенок или женщина, то отсюда мы вовсе не должны заключить, что ему не больно. Возможно также, что он видел некоторые недостатки в капитане и оставался к ним совершенно равнодушен, ибо истинно мудрые и добрые люди принимают людей и вещи такими, как они есть, не жалуясь на их

несовершенства и не пытаюсь их исправить. Они могут видеть недостаток в друге, в родственнике, в знакомом, не говоря об этом ни ему, ни другим, и часто это нисколько не мешает им любить его. Действительно, если бы широкий ум не умерялся подобной снисходительностью, то нам оставалось, бы только дружить с глупцами, которых ничего не стоит обмануть; ведь, надеюсь, мои друзья простят мне, если я скажу, что не знаю ни одного из них без недостатков, и мне было бы очень прискорбно, если бы среди моих друзей нашелся такой, который не видел бы их во мне. Оказывая подобную снисходительность, мы требуем, чтобы и другие оказывали ее нам. Это - проявление дружбы, далеко не лишенное приятности. И мы должны быть снисходительны без желания исправлять других. Пожалуй, нет более верного признака глупости, чем старание исправлять естественные слабости тех, кого мы любим. Самая утонченная натура, подобно тончайшему фарфору, может иметь изъян, и в обоих случаях, боюсь, он неисправим, хотя часто нисколько не уменьшает высокой ценности экземпляра.

Итак, мистер Олверти, разумеется, видел некоторые несовершенства в капитане. Но капитан был человек хитрый и всегда держался настороже в его присутствии, так что эти несовершенства казались мистеру Олверти не более как легкими пятнами на прекрасном характере; по доброте своей, он смотрел на них сквозь пальцы и из благоразумия не тыкал ими капитану в глаза. Мнения его сильно изменились, если бы он узнал всю правду, что, вероятно, и случилось бы со временем, если описанные отношения между супругами установились бы надолго; однако Фортуна решительным образом этому воспротивилась, заставив капитана совершить нечто такое, вследствие чего он снова стал дорог своей жене и вернул себе всю ее любовь и нежность.

ГЛАВА VIII

Средство вернуть утраченную любовь жены, всегда действовавшее безошибочно даже в самых отчаянных случаях

Капитан щедро вознаграждал неприятные минуты, проводимые в разговорах с женой (что он старался делать как можно реже), приятными размышлениями, которым он предавался наедине.

Эти размышления бывали всецело посвящены богатству мистера Олверти. Во-первых, он подолгу высчитывал, как мог, точные его размеры, причем часто открывал способ изменить их в свою пользу; во-вторых, и главным образом, тешил себя придумыванием разных перемен в доме и в садах и многими иными планами по части улучшений в поместье и придания ему большей пышности. С этой целью он принялся изучать архитектуру и садоводство и прочел много книг по этим предметам; эти занятия поглощали все его свободное время и были его единственным развлечением. В конце концов он составил великолепнейший план, и очень жаль, что мы не в силах изложить его читателю, настолько он затмевает по роскоши даже нынешнее время. Действительно, план капитана в сильнейшей степени обладал двумя главными качествами, отличающими все великие и благородные замыслы этого рода: он требовал непомерных издержек для осуществления и очень долгого времени для приведения в сколько-нибудь законченную форму. Что касается издержек, то огромное богатство, которым, по предположению капитана, владел мистер Олверти и которое капитан должен был унаследовать, обещало покрыть их с избытком; а крепкое здоровье и возраст - капитан был человек еще только средних лет - устраняли всякие опасения, что он не доживет до завершения своего плана.

Одного только недоставало, чтобы приступить к немедленному его выполнению: смерти мистера Олверти; высчитывая его сроки, капитан пускал в ход всю свою алгебру, а кроме того, скупал все книги о продолжительности жизни, об условных наследствах и т. п. Из них он убедился, что смерть может случиться каждый день и через несколько лет последует почти наверное.

Но однажды, когда капитан был погружен в глубокое размышление на эту тему, с ним приключилось весьма несчастное и несвоевременное происшествие. Действительно, коварная Фортуна не могла придумать ничего жесточе, ничего так некстати, ничего губительнее для всех его планов! Словом,- чтобы не томить больше читателя,- как раз в ту минуту, когда сердце его упивалось размышлениями о счастье, которое ему принесет смерть мистера Олверти, сам он... скончался от апоплексического удара.

К несчастью, это приключилось с капитаном во время одинокой вечерней прогулки, так что никто не мог подать ему помощь, да вряд ли она и спасла бы его. Итак, он отмерил кусок земли, который был теперь достаточен для всех его планов, и лежал мертвый на дорожке, как великое (хотя и не живое) доказательство истины слов Горация:

Tu secunda marmora

Locas sub ipsum funus: et sepulchrum

Immeior, struis domos,

которые я переведу читателю так: "Ты заготавливаешь благороднейшие строительные материалы, когда нужны только кирка и заступ, и строишь дом в пятьсот футов длиной и сто шириной, забыв о жилище в шесть футов".

ГЛАВА IX

Доказательство безошибочности вышеуказанного средства, явствующее из жалоб вдовы, а также другие аксессуары смерти, вроде врачей и т. п., и эпитафия в подобающем стиле

Мистер Олверти, сестра его и еще одна дама собрались в обычный час в столовой; они провели в ожидании гораздо больше времени, чем было принято, и мистер Олверти первый заявил, что его начинает беспокоить опоздание капитана (всегда аккуратно являвшегося к столу), и приказал позвонить на дворе, особенно в той стороне, куда капитан обычно ходил гулять.

Когда все эти призывы оказались безуспешными (ибо, по несчастной случайности, капитан отправился в тот вечер совсем по другой дороге), миссис Блайфил объявила, что она серьезно встревожена. Тогда другая дама, принадлежавшая к числу самых близких ее знакомых и хорошо знавшая ее истинные чувства, усердно принялась ее успокаивать, говоря, что, конечно, тревога ее вполне понятна, но ничего худого случиться не могло. Вечер такой прекрасный, что, по всей вероятности, капитан увлекся и зашел дальше обыкновенного, или, может быть, он задержался у кого-нибудь из соседей. Миссис Блайфил отвечала: нет, она уверена, что с ним что-нибудь случилось, он не остался бы в гостях, не приславши сказать ей об этом, так как должен же он знать, что она будет беспокоиться. На это знакомая дама ничего не могла ей возразить и прибегла к обычным в таких случаях уговариваниям, прося ее не пугаться, так как это может дурно отозваться на ее здоровье; в заключение она налила большой бокал вина и уговорила миссис Блайфил выпить.

В это время в столовую вернулся мистер Олверти, самолично отправившийся на розыски капитана. На лице его ясно видно было смятение, в сильной степени отнявшее у него дар речи. Но на разных людей горе действует различно, и те самые опасения, которые лишили его голоса, укрепили голосовые связки миссис Блайфил. Она начала горько жаловаться, сопровождая свои причитания потоком слез. Приятельница ее заявила, что не может ее бранить за эти слезы, но в то же время советовала ей не предаваться горю, пытаясь смягчить скорбь своей подруги философическими замечаниями насчет множества неприятностей, которым ежедневно подвержена человеческая жизнь, что, по ее мнению, является достаточным основанием для того, чтобы укрепить нас против всяких случайностей, как бы ни были они ужасны или внезапны. Она поставила миссис Блайфил в пример

терпение ее брата; правда, удар этот для него не может быть так чувствителен, как для нее, но и он, без сомнения, весьма опечален, а между тем удерживает свою скорбь в должных границах покорностью воле божьей.

- Не говорите мне о брате! - воскликнула миссис Блайфил.- Я одна достойна вашего сожаления! Что значит горе друга по сравнению с чувствами жены в таких случаях? Ах, он погиб! Его кто-нибудь убил... Я больше не увижу его!

Тут поток слез произвел на нее то же действие, какое стойкость оказала на мистера Олверти, и она замолчала.

В эту минуту вбежал, задыхаясь, слуга с криком: "Капитана нашли!.." И прежде чем он успел сообщить подробности, за ним вошли еще двое слуг, неся на руках мертвое тело.

Тут любознательный читатель может увидеть другой пример того, как различно действует на людей горе: если мистер Олверти до сих пор молчал по той же причине, по какой сестра его голосила, то вид бесчувственного тела, вызвавший у него слезы, вдруг остановил поток слез миссис Блайфил, которая сначала отчаянно взвизгнула и вслед за тем упала в обморок.

Комната скоро наполнилась слугами, часть которых вместе с гостьей принялась хлопотать над вдовой, а остальные вместе с мистером Олверти помогли перенести капитана в теплую постель, где были испробованы все средства для возвращения ему жизни.

Мы были бы очень рады, если бы могли сообщить читателю, что хлопоты над обоими бесчувственными телами увенчались одинаковым успехом: но в то время как старания привести в чувство миссис Блайфил оказались настолько удачны, что, пролежав приличное время в обмороке, она очнулась, к великому удовольствию окружающих,- все попытки кровопускания, растирания и т. п., примененные к капитану, не привели ни к чему. Смерть, неумолимый судья, произнесла над ним приговор и отказалась отменить его, несмотря на заступничество двух прибывших докторов, тотчас же по приезде получивших плату за совет.

Эти два доктора, которых, во избежание всяких злобных инсинуаций, назовем доктор Y и доктор Z, пощупав пульс,- доктор Y на правой руке и доктор Z на левой,- единогласно объявили, что капитан безусловно мертв, но что касается болезни, явившейся причиной его смерти, то мнения их разошлись: доктор Y полагал, что он умер от апоплексии, а доктор Z - от эпилепсии.

Это подало повод к диспуту между учеными мужами, в котором каждый из них представил доказательства в пользу своего мнения. Доказательства эти оказались настолько равносильными, что лишь укрепили каждого доктора в своих мыслях и не произвели ни малейшего впечатления на противника.

Сказать правду, почти у каждого врача есть своя излюбленная болезнь, которой он приписывает все победы, одержанные над человеческим естеством. Подагра, ревматизм, камни, чахотка - все имеют своих патронов в ученой коллегии, особенно же нервная лихорадка или нервное возбуждение. Этим а объясняются разногласия относительно причины смерти пациента, возникающие иногда среди самых ученых докторов и так сильно удивляющие людей, которые не знают изложенного нами обстоятельства.

Читатель найдет, может быть, странным, что эти ученые Испода, вместо того чтобы попытаться вернуть к жизни капитана, немедленно вступили в спор о причине его смерти; но все уже было испробовано еще до их прибытия: капитана уложили в теплую постель, отворили ему кровь, растерли лоб и пустили в рот и в нос все виды крепких капель.

Таким образом врачи, увидя, что все эти средства уже были пущены в ход, затруднялись, чем заполнить время, которое, согласно обычаю и требованиям приличия, полагается провести у постели пациента за полученную плату,- вот им и

пришлось придумать какую-нибудь тему для рассуждения; а какая тема могла быть естественнее только что упомянутой?

Наши доктора собрались уже уходить, когда мистер Олверти, оставив капитана и покоровшись воле божьей, стал расспрашивать о состоянии здоровья сестры и попросил их перед уходом навестить ее.

Миссис Блайфил уже оправилась после обморока и чувствовала себя настолько сносно, насколько вообще могла себя чувствовать женщина в ее положении. По выполнении всех предварительных церемоний, потому что это был новый пациент, доктора, согласно просьбе мистера Олверти, отправились к больной и завладели обеими ее руками совершенно так же, как раньше проделали это с руками трупа.

Положение леди было прямо противоположно положению ее мужа: тому не могла уже помочь никакая медицина, а она не нуждалась ни в какой помощи.

Нет ничего несправедливее ходячего мнения, которое клеветает на врачей, будто они являются друзьями смерти. Напротив, если сравнить число людей, поставленных на ноги медициной, с числом ее жертв, то, мне кажется, первое окажется более значительным. Иные врачи даже столь щепетильны в этом отношении, что, во избежание возможности убить пациента, воздерживаются от всякого лечения и прописывают только такие лекарства, которые не приносят ни пользы, ни вреда. Мне приходилось слышать, как иные из них с важностью изрекали, что "нужно предоставить природе делать свое дело, а врач должен только стоять рядом и поощрительно похлопывать ее по плечу, когда она хорошо справляется со своей обязанностью".

Наши доктора так мало любили смерть, что оставили в покое труп, удовольствовавшись платой только за один визит; но живой пациент далеко не внушал им такого отвращения; они немедленно пришли к соглашению касательно природы болезни миссис Блайфил и с большим усердием принялись прописывать ей рецепты.

Убедили ли врачи миссис Блайфил в том, что она больна, подобно тому как она сама сначала убедила их в этом, я не берусь решить, только она целый месяц по всем правилам разыгрывала роль больной. В течение этого времени ее посещали доктора, за ней ухаживали сиделки и знакомые постоянно присылали узнавать о ее здоровье.

Наконец приличный срок для болезни и неутешною горя истек, доктора были отпущены, и миссис Блайфил снова начала появляться в обществе, единственным изменением в ней по сравнению с прежним был траурный цвет ее платья и лица.

Капитана тем временем схоронили, и он, вероятно, уже далеко шагнул бы по дороге к забвению, если бы не дружеские чувства мистера Олверти, который позаботился сохранить память о нем при помощи следующей эпитафии, написанной человеком великого ума и правдивости, знавшим капитана в совершенстве:

Здесь покоится, в ожидании радостного воскресения, тело

КАПИТАНА ДЖОНА БЛАЙФИЛА

Лондон был почтен его рождением,

Оксфорд

его воспитанней

Ело дарования

сделали честь его званию и его отечеству, а жизнь - его религии и человеческой природе

Он был почтительный сын,

нежный супруг,

любящий отец,

любезный брат,

искренний друг,

набожный христианин
и добрый человек
Неутешная вдова его воздвигла сей камень
в увековечение его добродетелей
и своей любви.

КНИГА ТРЕТЬЯ,
ЗАКЛЮЧАЮЩАЯ В СЕБЕ ДОСТОПАМЯТНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ,
ПРОИСШЕДШИЕ В СЕМЕЙСТВЕ МИСТЕРА О ЛОВЕРТИ С МОМЕНТА, КОГДА
ТОММИ ДЖОНСУ ИСПОЛНИЛОСЬ ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛЕТ, И ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМ
ДЕВЯТНАДЦАТИЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА. ИЗ ЭТОЙ КНИГИ ЧИТАТЕЛЬ МОЖЕТ
ВЫУДИТЬ КОЕ-КАКИЕ МЫСЛИ ОТНОСИТЕЛЬНО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

ГЛАВА I,

закрывающая в себе мало или ничего

Читатель благоволит припомнить, что в начале второй книги этой истории мы намекнули ему о нашем намерении обходить молчанием обширные периоды времени, если в течение их не случилось ничего, достойного быть занесенным в нашу летопись.

Поступая таким образом, мы заботимся не только о собственной репутации и удобствах, но также о благе и интересах читателя: ведь этим способом мы избавляем его от потери времени, которое уходит на нудное и бесполезное чтение, а кроме того, доставляем ему случай, при всех таких пробелах, изощряться в столь свойственной ему удивительной проницательности, наполняя пустые промежутки времени собственными догадками, материал для которых мы постарались доставить ему на предыдущих страницах.

Например, кто из читателей не сообразит, что мистер Олверти, потеряв друга, испытывал сначала те чувства скорби, какие свойственны в таких случаях всем людям, у которых сердца не каменные и головы не кремневые? Опять-таки какой читатель не догадается, что философия и религия со временем умили, а потом и вовсе потушили эту скорбь? Философия - показывая безрассудство и тщету ее; а религия - осуждая ее как грех и в то же время облегчая надеждами и заверениями, позволяющими стойкому и набожному человеку прощаться с другом на его смертном ложе почти с таким же спокойствием, как если бы тот собирался в далекое путешествие, и почти с такой же надеждой увидеться с ним снова.

Сообразительному читателю не будет также стоить большого труда представить себе, что делала миссис Бриджет Блайфил; он может быть уверен, что в течение всего того срока, когда горю подобает проявляться в наружности человека, она строжайше соблюдала все требования обычая и приличий, согласуя выражение лица с изменениями туалета: как платье ее менялось с траурного на черное, с черного на серое, с серого на белое, так и выражение лица переходило от мрачного к скорбному, от скорбного к печальному, от печального к задумчивому, пока не наступил день, когда ей позволено было вернуться к своей прежней безмятежности.

Мы привели эти два примера только в качестве образчика задачи, которую можно предложить читателям низшего разряда. Гораздо более сложных выкладок и более высокой проницательности мы вправе ожидать от умов, более искушенных в области критики. Множество замечательных открытий будет, я не сомневаюсь, сделано таковыми относительно событий, имевших место в семействе нашего почтенного сквайра в течение ряда лет, которые мы решили обойти молчанием; правда, в этот период не случилось ничего, достойного занять место в настоящей истории, но все же бывали разные происшествия того же порядка, какие описываются газетными и журнальными историками нашего времени, на чтение которых множество людей тратит массу времени, с очень малой, боюсь, для себя пользой. Между тем на предлагаемые здесь догадки могут с большой выгодой быть

употреблены лучшие способности нашего ума, ибо гораздо полезнее уметь предсказывать поступки людей при тех или иных обстоятельствах на основании их характера, чем судить об их характерах на основании их поступков. Первое, сознаюсь, требует большей проницательности, но может быть произведено острым умом с не меньшей достоверностью, чем последнее.

Так как мы убеждены, что огромное большинство наших читателей в весьма высокой степени одарено этой способностью, то для упражнения ее предоставляем им период в целых двенадцать лет, а сами выведем, наконец, нашего героя уже четырнадцатилетним юношей, не сомневаясь, что многие давно горят нетерпением познакомиться с ним.

ГЛАВА II

Герой нашей длинной истории появляется при весьма дурных предзнаменованиях. Коротенький рассказ столь низкого жанра, что иные могут счесть его недостойным внимания. Несколько слов об одном сквайре и более обстоятельные сведения о полевом стороже и учителе

Так как, садясь писать эту историю, мы решили никому не льстить, но направлять свое перо исключительно по указаниям истины, то нам приходится вывести нашего героя на сцену в гораздо более неприглядном виде, чем нам хотелось бы, и честно заявить уже при первом его появлении, что, по единогласному мнению всего семейства мистера Олверти, он был рожден для виселицы.

К сожалению, я должен сказать, что оснований для этого мнения было более чем достаточно; молодчик с самых ранних лет обнаруживал тяготение ко множеству пороков, особенно к тому, который прямее прочих ведет к только что упомянутой, пророчески возвещенной ему участи: он уже трижды был уличен в воровстве именно, в краже фруктов из сада, в похищении утки с фермерского двора и мячика из кармана молодого Блайфила.

Пороки этого юноши представлялись в еще более неблагоприятном свете при сравнении с добродетелями его товарища, молодого Блайфила - мальчика, столь резко отличавшегося от Джонса, что его осыпали похвалами не только родные, но и все соседи. В самом деле, характера паренек был замечательного: рассудительный, скромный и набожный не по летам - качества, стяжавшие ему любовь всех, кто его знал, - тогда как Том Джонс вызывал всеобщую неприязнь, и многие выражали удивление, как это мистер Олверти допускает, чтобы такой озорник воспитывался с его племянником, нравственность которого могла пострадать от дурного примера.

Происшествие, случившееся в это время, представит вдумчивому читателю характеры двух мальчиков гораздо лучше, чем это способно сделать самое длинное рассуждение.

У Тома Джонса, который, как он ни плох, должен служить героем нашей истории, был среди слуг семейства только один приятель; ибо что, касается миссис Вилкинс, то она давно уже его покинула и совершенно примирилась со своей госпожой. Приятель этот был полевой сторож, парень без крепких устоев, понятия которого насчет различия между *meum* и *tuum*⁸ были немногим тверже, чем понятия самого молодого джентльмена. Поэтому их дружба давала слугам много поводов к саркастическим замечаниям, большая часть которых была уже и раньше, или, по крайней мере, сделалась теперь, пословицами; соль всех их может быть вмещена в краткое латинское изречение: "*Noscitur a socio*", которое, мне кажется, может быть переведено так: "Скажи мне, с кем ты водишься, и я скажу тебе, кто ты".

Сказать по правде, кое-какие из этих ужасных пороков Джонса, три примера которых мы только что привели, были порождены наущениями приятеля, в двух или трех случаях являвшегося, выражаясь языком юстиции, причастным к делу: вся утка и большая часть яблок пошли на нужды полевого сторожа и его семьи; но так как попался один лишь Джонс, то на долю бедняги досталось не только все наказание, но

и весь позор.

Это случилось вот каким образом.

Поместье мистера Олверти примыкало к землям одного из тех джентльменов, которых принято называть покровителями дичи. Люди этой породы так сурово мстят за смерть зайца или куропатки, что можно было подумать, будто они разделяют суеверие индийских банианов, часто посвящающих, как нам рассказывают, всю свою жизнь охране и защите какого-нибудь вида животных,- если бы наши английские банианы, охраняя животных от иных врагов, не истребляли их без всякого милосердия целыми стаями сами и не обеляли себя таким образом от всякой прикосновенности к языческим суевериям.

Я держусь, однако, гораздо лучшего мнения о людях этого сорта, чем иные, так как считаю, что они лучше многих других отвечают порядку Природы и благим целям, для которых они были назначены. Гораций говорит, что есть класс человеческих существ

Fruges consumere nati,

"рожденных потреблять плоды земные",- и я нисколько не сомневаюсь, что есть и другой класс

Feras consumere nati,

"рожденных потреблять полевых зверей", или, как их принято называть, дичь. Кто же станет отрицать, что наши сквайры в совершенстве исполняют это свое назначение?

Юный Джонс отправился однажды с полевым сторожем поохотиться; случилось так, что выводок куропаток, который они вспугнули у границы поместья, врученного Фортуной, во исполнение мудрых целей Природы, одному из таких потребителей дичи,- этот выводок куропаток полетел прямо на его землю и был, как говорится, взят нашими охотниками на прицел в кустах дрока, в двухстах или трехстах шагах за пределами владений мистера Олверти.

Мистер Олверти строжайше запретил полевому сторожу, под страхом увольнения со службы, заниматься браконьерством во владениях соседей, даже менее ревниво оберегающих свои права, чем хозяин названного поместья. По отношению к остальным соседям это приказание не всегда соблюдалось с большой пунктуальностью; но так как нрав джентльмена, у которого куропатки нашли убежище, был хорошо известен, то сторож ни разу еще не покушался вторгнуться в его земли. Не сделал бы он этого и теперь, если бы не уговоры его юного товарища, горевшего желанием преследовать убегающую дичь. Джонс так горячо его упрашивал, что сторож, и сам весьма рьяный охотник, послушался его наконец, проник в соседское поместье и застрелил одну куропатку.

На их беду, в это время невдалеке проезжал верхом сам хозяин; услышав выстрел, он немедленно поскакал туда и накрыл бедного Тома; полевой сторож успел шмыгнуть в густые кусты дрока и счастливо укрылся в них.

Обыскав юношу и найдя у него куропатку, джентльмен поклялся жестоко отомстить и довести до сведения мистера Олверти о проступке Тома. Свои слова он сразу же претворил в дело: помчался к дому соседа и принес жалобу на браконьерство в его поместье в таких сильных выражениях и таким озлобленным тоном, точно воры вломились к нему в дом и унесли самое ценное из обстановки. Он прибавил, что Джонс был не один, но ему не удалось поймать его сообщника: сквайр ясно слышал два выстрела, раздавшиеся почти одновременно.

- Мы нашли только одну эту куропатку,- сказал он,- но бог их знает, сколько они наделали вреда.

По возвращении домой Том немедленно был позван к мистеру Олверти. Он признался в преступлении и совершенно правильно сослался в свое оправдание на то обстоятельство, что выводок поднялся с земли мистера Олверти.

Затем Том был подвергнут допросу: кто с ним находился? Причем мистер Олверти объявил о своей твердой решимости дознаться, поставив обвиняемого в известность насчет показаний сквайра и двух его слуг, что они слышали два выстрела; но Том твердо стоял на своем, уверяя, что он был один; впрочем, сказать правду, сначала он немного колебался, что подтвердило бы убеждение мистера Олверти, если бы слова сквайра и его слуг нуждались в каком-либо подтверждении.

Затем был призван к допросу полевой сторож, как лицо, на которое падало подозрение; но, полагаясь на данное ему Томом обещание взять все на себя, он решительно заявил, что не был с молодым баринном и даже не видел его сегодня после полудня.

Тогда мистер Олверти обратился к Тому с таким сердитым лицом, какое редко у него бывало, советуя ему сознаться, кто с ним был, ибо он решил непременно это выяснить. Однако юноша упорно отказывался отвечать, и мистер Олверти с гневом прогнал его, сказав, что дает ему время подумать до следующего утра, иначе его подвергнут допросу другие и другим способом.

Бедный Джонс провел очень невеселую ночь, тем более невеселую, что его постоянный компаньон Блайфил был где-то в гостях со своей матерью. Страх грозившего наказания меньше всего мучил его; главной тревогой юноши было, как бы ему не изменила твердость и он не выдал полевого сторожа, который в таком случае был бы неминуемо обречен на гибель. Сторожу тоже было не по себе. Он мучился теми же страхами, что и юноша, также тревожась больше за честь его, чем за кожу.

Утром, явившись к его преподобию мистеру Твакому - особе, которой мистер Олверти поручил обучение обоих мальчиков, - Том услышал от этого джентльмена те же вопросы, какие ему были заданы накануне, и дал на них те же ответы. Следствием этого была жестокая порка, мало чем отличавшаяся от тех пыток, при помощи которых в иных странах исторгаются признания у преступников.

Том выдержал наказание с большой твердостью; и хотя его наставник спрашивал после каждого удара, сознается ли он наконец, мальчик скорее позволил бы содрать с себя кожу, чем согласился бы выдать приятеля или нарушить данное обещание.

Тревога полевого сторожа теперь прошла, и сам мистер Олверти начал проникаться состраданием к Тому; ибо, не говоря уже о том, что мистер Тваком, взбешенный безуспешностью своей попытки заставить мальчика сказать то, чего он от него добивался, поступил с ним гораздо суровее, чем того хотел добрый сквайр, мистер Олверти начал теперь думать, не ошибся ли его сосед, что легко могло случиться с таким крайне запальчивым и раздражительным человеком; а словам слуг, подтверждавшим показание своего господина, он не придавал большой цены. Жестокость и несправедливость были, однако, две такие вещи, сознать которые в своих поступках мистер Олверти не мог ни одной минуты; он позвал Тома, дружески приласкал его и сказал:

- Я убежден, дитя мое, что мои подозрения были несправедливы, и сожалею, что ты за это так сурово наказан.

Чтобы загладить свою несправедливость, он даже подарил ему лошадку, повторив, что очень опечален случившимся.

Тому стало теперь стыдно своей провинности. Никакая суровость не могла бы довести его до этого состояния; ему легче было вынести удары Твакома, чем великодушие Олверти. Слезы брызнули из глаз его, он упал на колени и воскликнул:

- О, вы слишком, слишком добры ко мне, сэр! Право, я этого не заслуживаю!

И от избытка чувств он в эту минуту чуть было не выдал тайны; но добрый гений сторожа шепнул ему, какие суровые последствия может иметь для бедняги его признание, и эта мысль сомкнула ему уста.

Тваком изо всех сил старался убедить Олверти не жалеть мальчика и не

обращаться с ним ласково, говоря, что "он упорствует в неправде", и даже намекнул, что вторичная порка, вероятно, откроет все начистоту.

Однако мистер Олверти решительно отказался дать свое согласие на этот опыт. Он сказал, что мальчик уже довольно наказан за сокрытие истины, даже если он виноват, так как, по-видимому, он поступил таким образом только из ложно понятого долга чести.

- Чести?! - с жаром воскликнул Тваком.- Просто упрямство и непокорность! Разве честь может учить человека лжи, разве честь может существовать независимо от религии?

Беседа происходила за столом по окончании обеда; присутствовали мистер Олверти, мистер Тваком и еще третий джентльмен, вступивший теперь в разговор. Прежде чем идти дальше, бегло познакомим с ним читателя.

ГЛАВА III

Характер мистера Сквейра, философа, и мистера Твакома, богослова] их спор касательно...

Имя этого джентльмена, жившего уже некоторое время в доме мистера Олверти, было мистер Сквейр. Его природные дарования были не первого сорта, но он их сильно усовершенствовал учением. Он был глубоко начитан в древних и большой знаток всех творений Платона и Аристотеля. По этим великим образцам он преимущественно и образовал себя; в одних случаях придерживаясь больше мнения первого, а в других - второго. В области нравственности он был убежденнейший платоник, в религии же склонялся к учению Аристотеля.

Однако же, построив свои нравственные понятия по образцам Платона, он был совершенно согласен с Аристотелем во взгляде на этого великого человека и считал его скорее философом и спекулятивным мыслителем, чем законодателем. Взгляд этот он простирает так далеко, что всю добродетель считал предметом одной только теории. Правда, насколько мне известно, он никому этого не высказывал; однако стоило только немножко приглядеться к его поступкам, и невольно напрашивалась мысль, что его убеждения действительно таковы, ибо они прекрасно объясняли некоторые странные противоречия в его натуре. Встречи этого джентльмена с мистером Твакомом почти никогда не обходились без споров, потому что их взгляды на вещи были диаметрально противоположны.

Сквейр считал человеческую природу верховом всяческой добродетели, а порок такой же ненормальностью, как физическая уродливость. Тваком, наоборот, утверждал, что разум человеческий после грехопадения есть лишь вертеп беззакония, очищаемый и искупаемый только благодатью. В одном лишь они были согласны - именно в том, что во время споров о нравственности никогда не употребляли слова "доброта". Любимым выражением философа было "естественная красота добродетели¹⁾"; любимым выражением богослова - "божественная сила благодати". Философ мерил все поступки, исходя из непреложного закона справедливости и извечной гармонии вещей; богослов судил обо всем на основании авторитета, причем всегда прибегал к Священному писанию и его комментаторам, как юрист прибегает к комментариям Коука на Литтлтона, считая толкование и текст одинаково авторитетными.

После этого краткого вступления читатель благоволит припомнить, что священник заключил свою речь торжествующим вопросом, на который, по его мнению, не было ответа, а именно: разве честь может существовать независимо от религии?

Сквейр заявил на это, что, не установив предварительно значения слов, невозможно рассуждать о них философски и что едва ли найдутся два слова с более расплывчатым и неопределенным значением, чем слова, им упомянутые, ибо относительно чести существует почти столько же самых разнообразных мнений, как

и относительно религии.

- Однако если под честью вы подразумеваете подлинную естественную красоту добродетели, то я берусь утверждать, что она может существовать независимо от всякой религии. Да ведь вы и сами допускаете, что она может существовать независимо от всех религии, кроме одной; то же самое скажет и магометанин, и еврей, и последователь любой секты на свете.

Тваком отвечал, что это обычный лукавый довод всех врагов истинной церкви. Он сказал, что не сомневается в том, что всем неверующим и еретикам хотелось бы согласить честь со своими нелепыми заблуждениями и пагубными лжеучениями.

- Однако честь,- ораторствовал он,- не является многообразной вследствие того, что о ней существует много нелепых мнений, как не является многообразной религия оттого, что на свете есть разные секты и ереси. Когда я говорю о религии, я имею в виду христианскую религию, и не просто христианскую религию, а религию протестантскую, и не просто протестантскую религию, а англиканскую церковь. И когда я говорю о чести, я разумею род божественной благодати, который не только совместим с этой религией, но и зависит от нее и в то же время несовместим ни с какой иной религией и от нее не зависит. При таких условиях говорить, что подразумеваемая мной честь - а, мне кажется, ясно, что никакой иной чести я не мог подразумевать,- будет поддерживать и тем более предписывать неправду, значит утверждать самую возмутительную нелепость.

- Я умышленно избегал,- отвечал Сквейр,- выводить заключение, которое, мне кажется, с очевидностью следует из моих слов; однако, если вы и уловили его, вы не сделали никакой попытки на него возразить. Впрочем, оставляя в стороне религию, из сказанного вами, я полагаю, ясно, что у нас различные понятия о чести; но почему бы нам не столкнуться относительно определения ее в одних и тех же терминах? Я утверждал, что истинная честь и истинная добродетель почти синонимы и обе основаны на непреложном законе справедливости и вечной гармонии вещей, а так как неправда совершенно несовместима с ними и противоречит им, то ясно, что истинная честь не может терпеть неправду. В этом, следовательно, мы согласны. Но говорить, что эта честь может основываться на религии, в то время как она ей предшествует, если под религией подразумевать положительный закон...

- Как! Я согласен с человеком, утверждающим, будто честь предшествует религии? - с жаром воскликнул Тваком.- Мистер Олверти, разве я согласился?

Тут мистер Олверти оборвал речь, холодно заметив, что они оба ошибочно его поняли, потому что он ничего не говорил об истинной чести. Впрочем, ему, может быть, нелегко было бы успокоить спорщиков, которые в одинаковой степени разгорячились, если бы разговору не положило конец одно неожиданное происшествие.

ГЛАВА IV,

закрывающая в себе необходимое оправдание автора и детскую ссору, тоже, может быть, нуждающуюся в оправдании

Прежде чем идти дальше, прошу позволения предотвратить некоторые кривотолки, к которым может привести слишком большое рвение иных читателей, ибо у меня нет ни малейшего желания кого-либо оскорблять, особенно людей, принимающих близко к сердцу интересы добродетели или религии.

Надеюсь поэтому, никто не допустит такого грубого непонимания и искажения моей мысли, чтобы вообразить, будто я стремлюсь подвергнуть осмеянию величайшие совершенства человеческой природы, которые одни только очищают и облагораживают человеческое сердце и возвышают человека над бессмысленными тварями. Смею уверить вас, читатель (и чем благороднее вы, тем охотнее мне поверите), что я скорее предал бы мнения двух упомянутых лиц вечному забвению, чем согласился высказаться неуважительно о таких священных предметах.

Напротив, я решился рассказать о жизни и действиях двух мнимых поборников добродетели и религии именно с той целью, чтобы содействовать прославлению столь высоких предметов. Вероломный друг - самый опасный враг, и я смело скажу, что лицемеры обесславили религию и добродетель больше, чем самые остроумные хулители и безбожники. Больше того: если добродетель и религия, в их чистом виде, справедливо называются скрепами гражданского общества и являются действительно благословеннейшими дарами, то, отравленные и оскверненные обманом, притворством и лицемерием, они сделались его злейшими проклятиями и толкали людей на самые черные преступления по отношению к их ближним.

Я не сомневаюсь, что такое осмеяние, вообще говоря, позволительно; но из уст двух описываемых мной лиц часто исходили самые верные и правильные суждения, и я боюсь главным образом того, как бы все не было свалено в одну кучу и читатель не подумал, будто я осмеиваю все огулом. Пусть он благоволит принять во внимание, что люди они были неглупые, и нельзя предполагать, будто они придерживались одних только ошибочных убеждений и высказывали одни только нелепости. Какое превратное дал бы я о них представление, если бы выбрал одни только дурные их черты! И какими жалкими и уродливыми показались бы все их рассуждения!

Словом, здесь выставлены с дурной стороны не религия или добродетель, а их отсутствие. Если бы при построении своей системы Тваком не пренебрегал до такой степени добродетелью, а Сквейр - религией и если бы оба они не сбросили со счета естественную доброту сердца, они никогда не явились бы предметом насмешки в этой истории, к которой мы теперь и возвращаемся.

Происшествием, положившим конец разговору, изложенному в последней главе, была ссора между молодым Блайфилом и Томом Джонсом, последствием которой явился окровавленный нос первого. Хотя и младший летами, Блайфил был ростом выше своего товарища, однако Том значительно превосходил его в благородном искусстве биться на кулачки.

Том, однако, тщательно избегал каких-либо столкновений с племянником мистера Олверти. Не говоря уже о том, что при всей своей проказливости Томми Джонс был юноша безобидный и искренне любил Блайфила, на него действовал сдерживающе мистер Тваком, всегда бравший сторону последнего.

Но справедливо сказал один писатель: "Нет человека, который был бы мудр каждую минуту"; не удивительно поэтому, если мудрость иногда покидала мальчика. Заспорив о чем-то во время игры, молодой Блайфил назвал Тома нищим ублюдком. В ответ на это Том, который был нрава горячего, тотчас же украсил его лицо только что упомянутым нами способом.

И вот молодой Блайфил, с текущей из носа кровью и струящимися из глаз вслед за ней слезами, явился на суд дяди и грозного Твакома. В этом трибунале Джонсу тотчас же было предъявлено обвинение в оскорблении действием и ранении. Том в оправдание сослался только на вызывающие слова Блайфила, о которых, впрочем, последний умолчал в своей жалобе. Очень может быть, что это обстоятельство действительно вылетело у него из памяти, потому что в своем ответе он решительно отрицал произнесение им обидных слов, воскликнув:

- Сохрани боже, чтобы из моих уст исходили когда-нибудь такие скверные слова!

Том, в противность всем судебным формальностям, отвечал на возражение повторением брани Блайфила. Тогда последний сказал:

- Не удивительно. Кто раз соврал, тот не посовестится соврать другой раз. Если бы я сказал моему учителю такую гадкую небылицу, как ты, я стыдился бы показаться на глаза людям.

- Какую небылицу, мой мальчик? - нетерпеливо спросил Тваком.

- Да как же, он сказал вам, что с ним никого не было на охоте, когда он застрелил

куропатку; а он знает (тут Блайфил залился слезами), да, он знает, сам же мне в этом признался, что с ним был сторож Черный Джордж. И больше того, он сказал,- да, ты сказал, посмей-ка отрицать! - что ни за что не признаешься в этом учителю, хотя бы он тебя на куски изрезал.

При этих словах глаза Твакома засверкали, и он торжествующе воскликнул:

- Ого! Так вот она, ваша ложно понятая честь! Вот какого мальчишку нельзя было выпороть еще раз!

Но мистер Олверти обратился к юноше с более приветливым видом, спросив:

- Это правда, мой мальчик? Как же это ты дошел до такого упорства во лжи?

Джонс отвечал, что он презирает ложь не меньше всякого другого; но он считал, что честь обязывала его поступить так, как он поступил, ибо он обещал бедняге не выдавать его; тем более, он чувствовал себя обязанным молчать, продолжал он, что сторож уговаривал его не ходить на чужую землю и пошел туда сам только в угоду ему. Вот вся правда, как было дело, и он готов подтвердить свои слова присягой. И Джонс закончил свою речь горячей просьбой к мистеру Олверти пожалеть семью бедного сторожа, особенно принимая во внимание то, что он, Джонс, один был виноват, а сторож с большой неохотой согласился сделать то, что он сделал.

- Право же, сэр,- говорил он,- едва ли мое показание можно назвать ложью, потому что бедняк совершенно неповинен во всем случившемся. Я все равно пошел бы один за птицами,- я даже и пошел один, и он только последовал за мной, чтобы я не наделал еще большей беды. Пожалуйста, сэр, накажи те меня, отберите у меня лошадку, но прошу вас, сэр, простите бедного Джорджа.

После недолгого колебания мистер Олверти отпустил Мальчиков, посоветовав им жить дружнее и миролюбивее.

ГЛАВА V

Мнения богослова и философа о своих воспитанниках; несколько оснований для этих мнений и другие предметы

Очень может статься, что, выдав тайну, сообщенную ему весьма конфиденциально, молодой Блайфил избавил своего товарища от хорошей порки, ибо и окровавленного носа было довольно для Твакома, чтобы взяться за розгу; но эту провинность теперь совершенно заслонил другой поступок; а касательно этого поступка мистер Олверти заявил Твакому с глазу на глаз, что, по его мнению, мальчик заслуживает скорее награды, чем наказания, и, таким образом, помилование остановило карающую руку богослова.

Тваком, все помыслы которого были наполнены березовыми прутьями, громко порицал эту снисходительность, решаясь назвать ее слабостью и даже безнравственностью. Оставляя такие преступления безнаказанными, говорил он, значит поощрять их. Он долго распространялся о пользе наказания детей, приведя много изречений из Соломона и других; так как изречения эти можно найти во множестве книг, то мы не станем их повторять здесь. Потом он обратился к пороку лжи, обнаружив в этом предмете такую же осведомленность, как и в прочих.

Сквейр сказал, что он пробовал согласить поведение Тома с идеей совершенной добродетели, но ему это не удалось. Он признался, что, на первый взгляд, в поступке Джонса есть нечто похожее на мужественную силу; но так как мужество - добродетель, а лживость - порок, то они ни в коем случае не могут быть примирены или соединены. В заключение он заметил, что так как поступок Джонса является в некоторой мере смешением добродетели и порока, то мистеру Твакому следовало бы подумать, не заслуживает ли его воспитанник по этому случаю суровейшего наказания.

Если оба ученые мужа единодушно осудили Джонса, то с не меньшим единодушием они одобрили молодого Блайфила. Разоблачение истины, по утверждению священника, было долгом каждого религиозного человека, а по

заявлению философа - совершенно согласно с законом справедливости и нерушимой вечной гармонией вещей.

Все это, однако, имело очень мало веса в глазах мистера Олверти. Его так и не удалось уговорить подписать приказ об экзекуции над Джонсом. В груди его жило чувство, которому стойкая верность, проявленная юношей, была гораздо ближе, чем религия Твакома или добродетель Сквейра. Поэтому он настрого приказал первому из этих господ воздержаться от расправы над Томом за прошлое. Педагог принужден был повиноваться приказаниям Олверти, хоть и с большой неохотой, ворча, что мальчика положительно портят.

С полевым сторожем сквайр поступил суровее. Он тотчас же призвал беднягу к себе, долго ему выговаривал в резких выражениях, заплатил жалованье и уволил со службы; мистер Олверти справедливо заметил, что солгать для оправдания себя и солгать для оправдания другого - большая разница. Но главной причиной его непреклонной суровости по отношению к этому человеку было то, что ради своей выгоды он проявил низость, допустив, чтобы Тома Джонса подвергли такому тяжелому наказанию, между тем как мог предотвратить его добровольным признанием.

Когда эта история получила огласку, многие оценили поведение юношей в день их ссоры совсем иначе, чем Сквейр и Тваком. Молодого Блайфила в один голос называли подлым доносчиком, мерзавцем, трусом и тому подобными эпитетами, тогда как Том почтен был лестными именами славного малого, веселого парня честной души. Поступок с Черным Джорджем очень расположил к нему всех слуг, правда, полевого сторожа раньше никто не любил, но едва только его прогнали, как все начали жалеть его, все с величайшими похвалами прославляли дружбу и благородство Тома Джонса и совершенно открыто осуждали молодого Блайфила, остерегаясь только прогневить его мать. Однако за все это бедный Том платился телесной болью; ибо хоть Твакому и было запрещено пускать в ход свои руки, но, как говорит пословица, "найти сучок в лесу нетрудно". Так точно нетрудно было найти розгу; а только совершенная невозможность найти ее удержала бы Твакома сколько-нибудь продолжительное время от порки бедного Джонса.

Если бы единственным побуждением педагога было чистое наслаждение искусством, то, по всей вероятности, Блайфил тоже получал бы свою долю, но, несмотря на неоднократные приказания мистера Олверти не делать никакого различия между мальчиками, Тваком был столь же любезен и ласков с его племянником, сколько груб и даже жесток с Джонсом. Сказать правду, Блайфил вполне заслужил любовь своего наставника - частью тем, что свидетельствовал ему всегда глубокое уважение, а еще больше скромной почтительностью, с которой он принимал его учение. Блайфил знал наизусть и часто повторял его фразы и отстаивал религиозные убеждения своего учителя с жаром, прямо-таки удивительным в таком молодом человеке и снискавшим большое благоволение к нему достойного наставника.

С другой стороны, Том Джонс был не только неграмотен по части внешних знаков почтения, часто забывая снять шляпу или поклониться при встрече с учителем, но относился также без всякого внимания к его наставлениям и примеру. Это был беззаботный, ветреный юноша с очень вольными манерами и без всякой маски на лице; часто он самым бесстыдным и неприличным образом смеялся над степенностью своего товарища.

По этим же самым причинам и мистер Сквейр отдавал предпочтение Блайфилу, ибо Том Джонс так же неуважительно относился к ученым рассуждениям этого джентльмена, когда тому случалось расточать их пред ним, как и к поучениям Твакома. Однажды он решился подшутить над законом справедливости, а в другой раз сказал, что, по его мнению, ни один закон в мире не способен создать такого

человека, как его отец (мистер Олверти позволял ему называть себя этим именем).

Молодой Блайфил, напротив, имел в шестнадцать лет довольно ловкости для того, чтобы одновременно вкратце в милость обоим этим непохожим друг на друга людей. С одним он был - весь религия, с другим - весь добродетель. А когда они оба были возле него, он хранил глубокое молчание, которое каждый из них истолковывал в его и свою пользу.

Блайфил не довольствовался лестью в глаза обоим этим джентльменам, он пользовался всяким случаем хвалить их Олверти в их отсутствие. Когда он бывал наедине с дядей и дядя одобрял какую-нибудь религиозную или моральную сентенцию (а Блайфил постоянно сыпал ими), он почти всегда приписывал ее добрым наставлениям Твакома и Сквейра. Он знал, что дядя передаст все эти отзывы лицам, для которых они были предназначены, и убедился на опыте в том, какое сильное впечатление они производят как на философа, так и на богослова. И точно: нет лести неотразимее той, что передается из вторых рук.

Кроме того, молодой джентльмен скоро заметил, что все эти панегирики учителям чрезвычайно приятны самому мистеру Олверти, потому что в них слышалась открытая похвала избранному им своеобразному плану воспитания; ибо, заметив, как несовершенны наши публичные школы и сколько пороков приобретают в них мальчики, почтенный сквайр решил воспитывать племянника и найденыша, которого он некоторым образом усыновил, у себя дома, где нравственность их, думал он, избегнет всех опасностей развращения, которым она подвержена в публичных школах или университете.

Решив, таким образом,верить мальчиков попечению домашнего учителя, мистер Олверти обратился за советом к одному очень близкому приятелю, об уме которого он был высокого мнения и на честность которого вполне полагался, и тот порекомендовал ему на эту должность мистера Твакома. Этот Тваком был членом одного колледжа, где почти и жил, и славился ученостью, набожностью и степенностью. Несомненно, названные качества и имел в виду приятель мистера Олверти, рекомендуя ему Твакома, хотя, впрочем, был многим обязан семье Твакома, самой видной в том местечке, представителем которого этот джентльмен был в парламенте.

Тваком сразу по приезде чрезвычайно понравился Олверти, действительно, он вполне отвечал данной приятелем Олверти характеристике. Впрочем, после более долгого знакомства и более душевных бесед почтенный сквайр заметил в наставнике недостатки, которых он не желал бы в нем видеть; но так как с виду его хорошие качества значительно перевешивали их, то мистер Олверти не пожелал с ним расстаться. Да эти недостатки и не давали ему на то права: читатель сильно ошибается, если думает, будто Тваком являлся мистеру Олверти в том же свете, как и ему на страницах этой истории; он заблуждается также, если воображает, будто самые короткие отношения с богословом могли бы открыть ему вещи, которые позволило нам открыть и разоблачить наше писательское вдохновение. О читателях, которые, на основании сказанного, усомнятся в мудрости или проницательности мистера Олверти, я без стеснения скажу, что они дурно и неблагодарно пользуются сообщаемыми им сведениями.

Эти явные погрешности в системе Твакома уравнивали противоположные погрешности Сквейра, которые наш добрый сквайр тоже видел и осуждал. Но он считал, что противоположные достоинства этих джентльменов будут исправлять их противоположные несовершенства и что мальчики почерпнут от них, особенно с его помощью, достаточно полезных наставлений в истинной религии и добродетели. Если результаты не оправдали его ожиданий, то это, может быть, проистекало от какой-то ошибки в самом плане воспитания, которую мы и предоставляем обнаружить читателю, если он сумеет; ибо мы не задаемся целью выводить в этой

истории людей непогрешимых и надеемся, что в ней не найдется ничего такого, чего никогда еще не наблюдалось в человеческой натуре.

Возвратимся, однако, к нашему предмету; мне кажется, читатель не удивится, что различное поведение упомянутых мальчиков производило различное впечатление на воспитателей, примеры чего мы уже видели; но была еще и другая причина различного отношения к ним философа и педагога; так как предмет этот очень важный, мы изложим его в следующей главе.

ГЛАВА VI,

в которой приводится еще более веское основание для вышеупомянутых мнений

Надо знать, что две названные ученые персоны, играющие в последнее время видную роль на сцене нашей истории, исполнились с самого прибытия в дом мистера Олверти такой великой любовью, один - к его добродетели, а другой - к его благочестию, что задумали вступить с ним в теснейший союз.

С этим намерением они остановили свои взоры на прекрасной вдове, которой, мы надеемся, не забыл еще читатель, хоть мы давно уже о ней не упоминали. Миссис Блайфил была предметом домогательства обоих наставников.

Может показаться странным, что из четырех человек, проживавших в доме Олверти, трое почувствовали влечение к даме, никогда особенно не славившейся красотой и вдобавок теперь уже немного склонившейся под бременем лет; но обыкновенно задушевные друзья и короткие знакомые чувствуют род естественного влечения к женщинам, входящим в число домочадцев друга, как-то: к его бабушке, сестре, дочери, тетке, племяннице или кузине, когда они богаты, и к его жене, сестре, дочери, племяннице, кузине, любовнице или горничной, если они пригожи.

Да не вообразит, однако, читатель, что люди склада Твакома и Сквейра решились на такое предприятие, не вполне одобряемое строгими моралистами, не рассмотрев досконально заранее, противно оно совести или нет. Тваком оправдывал себя рассуждением, что желать сестру ближнего твоего нигде не запрещено, и ему известно было правило, которым руководятся при составлении всех законов, именно: "*Expressum facit cessare taciturn*", смысл которого таков: "Если законодатель ясно излагает всю свою мысль, то мы не вправе приписывать ему то, что нам вздумается". А так как божественный закон, запрещающий нам желать добро нашего ближнего, перечисляет разные виды женщин и сестра среди них не упоминается, то наш богослов заключил отсюда, что его желание вполне законно. А что касается Сквейра, который был что называется красавец мужчина и вдовый угодник, то он легко примирил свой выбор с вечной гармонией вещей.

И вот наши джентльмены, не пропускавшие ни одного случая снискать расположение вдовы, сообразили, что вернейшим средством для этого будет отдавать предпочтение ее сыну перед Джонсом; и так как им казалось, что доброта и любовь мистера Олверти к приемышу должны быть крайне неприятны вдове, то они и не сомневались, что, унижая и понося Джонса при всяком удобном случае, они доставят ей большое удовольствие: она ненавидела мальчика, следовательно, должна была любить всех притеснявших его. В этом отношении Тваком имел преимущество, ибо Сквейр мог вредить только доброму имени бедного юноши, а он - его коже; и действительно, он рассматривал каждый нанесенный Тому удар как знак внимания к своей возлюбленной, так что с полным правом мог бы применить к себе старое наставительное изречение: "*Castigo te non quod odio habeam, sed quod amem*" - "Наказываю тебя не из ненависти, а из любви". И действительно, оно часто бывало у него на устах или, вернее - по одному старинному выражению, как нельзя более подходящему к случаю, - на кончиках его пальцев.

Преимущественно по этой причине оба джентльмена были, как мы видели, согласны в своем мнении насчет порученных им воспитанников. И это был едва ли не

единственный случай их единогласия, ибо, помимо коренного различия их образа мысли, оба они давно уже сильно подозревали друг друга в желании покорить сердце вдовы и ненавидели друг друга жесточайшей ненавистью.

Эта взаимная враждебность еще более распалялась их попеременными успехами, ибо миссис Блайфил смекнула, в чем дело, гораздо раньше, чем они воображали или имели в виду показать ей: соперники действовали с большой осторожностью, боясь, как бы она не обиделась и не пожаловалась мистеру Олверти. Но для таких опасений не было никаких поводов: вдова была довольна страстью, плоды которой намеревалась пожать она одна, а единственными плодами, на которые она рассчитывала, были лесть и поклонение,- по этой причине она поощряла каждого из них поочередно и долгое время в равной степени. Она больше склонялась предпочесть убеждения богослова, но наружность Сквейра больше радовала ее взоры, ибо философ был мужчина благообразный, тогда как педагог очень напоминал джентльмена, наказывающего дам в исправительном доме на гравюре из серии "Путь прелестницы".

Была ли миссис Блайфил пресыщена сладостью супружеской жизни, почувствовала ли отвращение к ее горечи, или происходило это от иной причины я не берусь решить,- только она и слышать не хотела о новом предложении. Впрочем, под конец у нее установились такие короткие отношения со Сквейром, что злые языки начали нашептывать о ней вещи, которым, вследствие нежелания порочить честь дамы, а также потому, что они совершенно несовместимы с законом справедливости и всеобщей гармонией, мы не будем придавать значения и не станем марать ими бумагу. Педагог же, как усердно ни подхлестывал, ни на шаг не приближался к цели своего путешествия.

Надо сказать, что он сделал большую ошибку, и Сквейр заметил это гораздо раньше его. Миссис Блайфил (как, может быть, уже догадался читатель) не была в чрезмерном восторге от обращения мужа; говоря откровенно, она ненавидела его всей душой, пока наконец смерть немного не примирила ее с ним. Поэтому нет ничего удивительного в том, что она не питала особенно бурной нежности к его детищу. Действительно, этой нежности было у нее так мало, что, когда ее сын был ребенком, она видела его редко и обращала на него мало внимания; без больших усилий примирилась она со всеми милостями, расточаемыми найденышу мистером Олверти, который называл его своим сыном и во всем держал наравне с маленьким Блайфилом. Это молчаливое согласие было истолковано соседями и домочадцами как уступка братниной прихоти, но все, не исключая Твакома и Сквейра, были убеждены, что в душе она ненавидит приемыша; и чем ласковее обращалась она с ним, тем больше они были уверены, что она озлоблена против Джонса и замышляет для него верную гибель; ей трудно было бы переубедить людей, считавших, что в ее интересах ненавидеть мальчика.

Тваком еще более укрепился в своем мнении оттого, что она не раз коварно подавала ему мысль высечь Тома Джонса, когда мистера Олверти, враждебно относившегося к таким экзекуциям, не было дома; между тем она никогда не отдавала подобных приказаний относительно Блайфила. Это обстоятельство обратило на себя внимание также Сквейра. Словом, хотя миссис Блайфил заведомо ненавидела своего родного сына,- и, как это ни чудовищно, я уверен, что она в этом отношении далеко не исключение,-она, по-видимому, вопреки всей своей наружной угодливости, втайне сильно досадовала на благоволение мистера Олверти к приемышу. Часто она в резких выражениях жаловалась на брата, за его спиной, и Твакому и Сквейру и даже порой бросала упрек в глаза самому Олверти, когда между ними завязывались небольшие ссоры, или, вульгарно выражаясь, перебранки.

Однако, когда Том вырос и стал отличаться удалью, так выгодно рисующей мужчину в глазах женщин, нерасположение, которое она обнаруживала к нему во

время его детства, постепенно ослабело, и, наконец, она стала оказывать ему столь явное предпочтение перед родным сыном, что уже невозможно было ошибиться на этот счет. Она так желала видеть Джонса и испытывала такое живое удовольствие в его обществе, что, не достигнув еще восемнадцати лет, Том сделался соперником и Сквейра и Твакома; и, что еще хуже, весь околоток начал поговаривать о ее благосклонности к Тому так же громко, как раньше говорили о ее благосклонности к Сквейру; по этой причине философ воспыал жесточайшей ненавистью к нашему бедному герою.

ГЛАВА VII,

в которой на сцену является сам автор

Хотя сам мистер Олверти не торопился видеть вещи в неблагоприятном свете и оставался чужд голосу молвы, который редко достигает слуха брата или мужа, несмотря на то что раздается в ушах всех соседей, все же благосклонность миссис Блайфил к Тому и предпочтение, слишком явно отдаваемое ему перед сыном, принесли много вреда нашему герою.

Мистер Олверти был преисполнен такой отзывчивости, что лишь требования справедливости могли бы подавить в нем это чувство. Какого угодно несчастья, лишь бы только его не перевешивали дурные качества, было достаточно для того, чтобы пробудить в сердце этого доброго человека жалость и снискать его дружбу и благоволение.

Вот почему, убедившись с несомненностью, что маленький Блайфил находится в полной немилости у матери (а так оно и было в действительности), он начал смотреть на него с состраданием; а каково действие сострадания на умы добрые и благожелательные - этого, я думаю, мне нет надобности объяснять читателям.

С этих пор мистер Олверти видел малейшее проявление добродетели в юноше в увеличительное стекло, а все его недостатки - в уменьшительное, так что они сделались едва заметными. Эту снисходительность жалости можно считать даже похвальной; но следующий шаг способна извинить только слабость человеческой натуры. Едва только мистер Олверти заметил, что сестра его оказывает Тому предпочтение, как благосклонность его к бедному, ни в чем не повинному юноше стала убывать по мере возрастания к нему привязанности вдовы. Правда, одна эта привязанность не могла бы вырвать Джонса из сердца сквайра, но она сильно ему повредила и подготовила мистера Олверти к тем впечатлениям, которые сделались впоследствии причиной важных событий, излагаемых на дальнейших страницах этой повести, и которые, нужно сказать откровенно, усилил сам неудачливый юноша своей взбалмошностью, опрометчивостью и неосторожностью.

Несколько примеров в подтверждение этого послужат, если будут правильно поняты, полезным уроком благонамеренным юношам, которым случится впоследствии быть нашими читателями; они увидят, что доброта сердца и откровенный характер, хотя бы они давали большое душевное наслаждение и наполняли умы благородной гордостью, ни в коем случае - увы! - не ведут к преуспеянию в свете. Благоразумие и осмотрительность необходимы даже наилучшему из людей. Они являются как бы стражами Добродетели, без которых она всегда в опасности. Недостаточно, чтобы намерения ваши и даже ваши поступки были сами по себе благородны,- нужно еще позаботиться, чтобы они и казались такими. Как бы ни была прекрасна ваша внутренняя сущность, вы всегда должны сохранять приличную внешность. Необходимо постоянно следить за ней, иначе злоба и зависть постараются так вас очернить, что пронизательность и доброта таких людей, как Олверти, неспособны будут проникнуть сквозь толщу клеветы и разглядеть внутреннюю красоту. Юные мои читатели, помните твердо, что самый лучший человек не вправе пренебрегать правилами благоразумия, и сама Добродетель не покажется приглядной без внешних украшений приличия и

благопристойности. И я надеюсь, достойные ученики мои, если вы будете читать с должным вниманием, то найдете на дальнейших страницах достаточно примеров, подтверждающих эту истину.

Простите, что я сам выступаю на сцену в роли хора. Этого требует забота о моем добром имени; указывая на рифы, о которые часто разбиваются невинность и доброта, я хочу, чтобы меня не истолковали превратно и не подумали, что я даю моим уважаемым читателям советы, для них заведомо гибельные. А так как мне не удалось убедить никого из действующих лиц моей повести высказать это, то я принужден был заговорить сам.

ГЛАВА VIII

Детская выходка, показывающая, однако, природную доброту Тома Джонса Читатель помнит, как мистер Олверти подарил Тому Джонсу лошадку, словно желая вознаградить мальчика за невинно понесенное, по его мнению, наказание.

Этой лошадкой Том пользовался около полугода, затем поехал на ней на ярмарку в соседнее местечко и продал ее.

По возвращении домой на вопрос Твакома, что он сделал с деньгами, вырученными за лошадь, он откровенно заявил, что не скажет.

- Вот как! - воскликнул Тваком.- Ты не скажешь! Так я выведаю это у твоего зада.

К этому месту он всегда обращался за сведениями в сомнительных случаях.

Том был уже посажен на спину лакея, и все было приготовлено для экзекуции, когда в комнату вошел Олверти, отменил приговор и увел с собой преступника. Оставшись с Томом наедине, он задал мальчику вопрос, предложенный ранее Твакомом.

Том отвечал, что он не вправе отказать ему ни в одной просьбе, но что касается этого мерзавца с деспотическими замашками, то он ответит ему только дубинкой, которой надеется вскоре отплатить за все его жестокости.

Мистер Олверти сделал ему суровый выговор за непристойные и непочтительные выражения по адресу своего воспитателя, особенно же за беззастенчиво высказанное намерение отомстить ему. Он пригрозил, что лишит его всех своих милостей, если еще раз услышит от него такие слова, ибо, заявил Олверти, он ни за что не станет оказывать поддержки или помощи закоренелому преступнику. При помощи таких увещаний и угроз он добился от Тома раскаяния, но не слишком чистосердечного, потому что юноша действительно подумывал о воздаянии за все жгучие ласки, полученные им от руки педагога. Однако под влиянием убеждений мистера Олверти Том выразил сожаление по поводу своей резкой выходки против Твакома, после чего, сделав еще несколько полезных наставлений, Олверти позволил ему продолжать, и Том сказал следующее:

- Я люблю и уважаю вас, сэр, больше всех на свете, знаю, как много обязан вам, и глубоко презирал бы себя, если бы считал себя способным на неблагодарность. Жаль, что подаренная вами лошадка не умеет говорить, а то она рассказала бы вам, как я дорожил вашим подарком; мне приятнее было кормить ее, чем кататься на ней. Право, сэр, мне тяжело было с ней расстаться, и я не продал бы ее ни за что на свете по какому-нибудь другому случаю. Я уверен, сэр, что на моем месте вы сами поступили бы точно так же, ибо нет человека, более отзывчивого к чужим несчастьям. Но каково бы вы себя чувствовали, дорогой благодетель, если бы считали себя их виновником? А такой нищеты, как у них, право же, никогда не было.

- Как у кого, друг мой? - спросил Олверти.- О ком ты говоришь?

- Ах, сэр! - отвечал Том.- Ваш несчастный полевой сторож погибает со всей своей семьей от голода и холода с тех пор, как вы его прогнали. Для меня было невыносимо видеть этих бедняг, раздетых, без куска хлеба, и сознавать, что я же являюсь причиной всех их страданий. Я не мог этого вынести, сэр,- клянусь вам, не мог! - Тут слезы заструились у него по щекам, и он продолжал так: Чтобы спасти этих

людей от совершенной гибели, я решился расстаться с вашим подарком, как он мне ни дорог; ради них я продал лошадь и отдал им все деньги до последнего гроша.

Несколько минут мистер Олверти не произносил ни слова, и слезы текли у него из глаз. Наконец он отпустил Тома с мягким упреком, сказав ему, чтобы на будущее время он лучше обращался к нему в случаях подобной нужды, а не прибегал к таким необыкновенным средствам помощи.

Происшествие это послужило поводом к большому спору между Твакомом и Сквейром. Тваком утверждал, что это просто вызов мистеру Олверти, который хотел наказать сторожа за неповиновение. Он говорил, пояснив свою мысль несколькими примерами, что так называемое милосердие кажется ему противным воле всемогущего, обрекающего некоторых людей на гибель, и что поступок Джонса в равной мере идет вразрез с желаниями мистера Олверти; по обыкновению, он заключил свою речь горячей похвалой березовым прутьям.

Сквейр энергично отстаивал противное - может быть, из желания возражать Твакому, а может быть, с целью угодить мистеру Олверти, по-видимому вполне одобрявшему поступок Джонса.

Однако приводить здесь доводы философа было бы неуместно, так как я убежден, что большинство моих читателей сумеет гораздо искуснее защитить Джонса. Действительно, нетрудно было примирить с законом справедливости поступок, который никак нельзя было вывести из закона несправедливости.

ГЛАВА IX,

закрывающая выходку гораздо худшего свойства, с комментариями Твакома и Сквейра

Одним мудрым человеком, до которого мне далеко, было замечено, что беда редко приходит в одиночку. Примером этой истины могут, мне кажется, служить те господа, которые имели несчастье попасться в каком-нибудь грязном деле: подобное открытие редко остается одиноким и обыкновенно приводит к полному разоблачению человека. Так случилось и с бедным Томом: только что ему простили продажу лошади, как обнаружилось, что незадолго перед тем он продал другой подарок мистера Олверти - изящную Библию, а вырученные деньги употребил по тому же назначению. Библию приобрел маленький Блайфил, хотя у него уже был другой точно такой же экземпляр; сделал он это отчасти из уважения к книге, а отчасти из дружбы к Тому, не желая, чтобы книга за половинную цену перешла в чужие руки. Поэтому он заплатил означенную половинную цену сам, ибо он был юноша благоразумный и бережно обращался с деньгами, откладывая почти каждый пенс, полученный от мистера Олверти.

Говорят, есть люди, которые могут читать только принадлежащие им книги. Напротив, Блайфил, приобретя Библию Джонса, к другой больше не обращался. Больше того: он проводил за чтением этой Библии гораздо больше времени, чем раньше за чтением своей. А так как он часто просил Твакома объяснить ему трудные места, то педагог, к несчастью, обратил внимание на имя Тома, написанное во многих местах книги. Последовал допрос - и Блайфил принужден был во всем признаться.

Тваком решил не оставлять безнаказанным это преступление, которое он называл святотатством. Поэтому он немедленно приступил к порке; не удовольствовавшись ею, он при первом же свидании рассказал мистеру Олверти о чудовищном, по его мнению, проступке Тома, ругая приемыша самыми последними словами и уподобляя его торговцам, изгнанным из храма.

Сквейр посмотрел на дело с совсем иной точки зрения. Он говорил, что не видит, почему продать одну книгу большее преступление, чем продать другую; что продавать Библию не запрещено никаким законом, ни божеским, ни человеческим, и потому вполне позволительно. Великое негодование Твакома, сказал он, приводит

ему на память случай с одной набожной женщиной, которая единственно из благочестия украла у своей знакомой проповеди Тиллотсона.

От этого сравнения кровь обильно прилила к лицу священника, и без того небледному; он уже собрался ответить что-то очень горячее и сердитое, но тут вмешалась миссис Блайфил, присутствовавшая при споре. Почтенная дама объявила, что она всецело на стороне мистера Сквейра. Она выступила на поддержку его мнения с длинными учеными доводами, заключив свою речь утверждением, что если Джонс в чем-нибудь виноват, то столько же виноват и сын ее, ибо она не видит никакой разницы между продавцом и покупателем, и оба они одинаково должны быть изгнаны из храма.

Высказанное миссис Блайфил мнение положило конец спору. Торжество Сквейра почти что отняло у него дар речи, если бы он в нем нуждался; а Тваком, не смеявший по упомянутым выше причинам, противоречить вдове, едва не задохся от возмущения. Что же касается мистера Олверти, то он не пожелал объявить своего мнения, сказав, что мальчик уже понес наказание; и гневался ли он на него или нет, это я предоставляю решить самому читателю.

Вскоре после этого сквайр Вестерн (тот джентльмен, в имении которого была убита куропатка) подал в суд на полевого сторожа за подобное же правонарушение. Это было большое несчастье для бедняка: оно не только грозило ему гибелью, по служило также серьезным препятствием для возвращения милостей мистера Олверти. Надо сказать, что однажды вечером добрый сквайр гулял с Блайфилом и Джонсом, и последний ловко привел его к дому Черного Джорджа, где он увидел семью бедняги, то есть жену его и детей, в самом бедственном положении - не имеющих одежды, терпящих голод и холод, ибо почти все деньги, полученные от Джонса, были истрачены на уплату прежних долгов.

Такое зрелище не могло не тронуть мистера Олверти. Он тотчас же дал матери две гинеи, приказав купить на них одежду детям. Бедная женщина разрыдалась и, рассыпавшись в благодарностях, не могла удержаться от выражения признательности также и Тому, который, по ее словам, долго спасал и ее, и всю семью от голодной смерти.

- Если бы не его щедроты, у нас не было бы куска хлеба, не было бы лоскутка, чтобы прикрыть этих несчастных детей,- проговорила она.

В самом деле, кроме лошади и Библии, Том пожертвовал на нужды пострадавшей семьи свой шлафрок и другие вещи.

По возвращении домой Том пустил в ход все свое красноречие, чтобы изобразить бедственное положение этих людей и раскаяние самого Джорджа. Слова его оказали действие на мистера Олверти, который сказал, что, пожалуй, сторож довольно пострадал за свой проступок, что он его простит и подумает, чем обеспечить его и его семью.

Джонс был этим так обрадован, что не выдержал и, несмотря на темноту и проливной дождь, побежал обратно за целую милю сообщить бедной женщине добрые вести; но, подобно другим нетерпеливым разносчикам новостей, он только поставил себя в неприятное положение человека, вынужденного противоречить себе, ибо злая судьба Черного Джорджа воспользовалась именно этим кратким отсутствием его друга, чтобы снова разрушить все его возрождавшееся благополучие.

ГЛАВА X,

в которой Блайфил и Джонс являются в различном свете

Блайфил-младший сильно уступал своему товарищу в прекрасном чувстве милосердия, но зато сильно превосходил в другой, гораздо более высокой добродетели - правосудии, в каковом он следовал предписаниям и примеру как Твакома, так и Сквейра. Оба они, правда, часто пользовались словом "милосердие",

но было очевидно, что Сквейр считал его несовместимым с законом справедливости, Тваком же стоял за правосудие, предоставляя милосердие небу. Впрочем, джентльмены эти несколько расходились в мнениях насчет предметов этой возвышенной добродетели, так что Тваком, творя правосудие, истребил бы одну половину человеческого рода, а Сквейр - другую.

Блайфил, хотя и хранил молчание в присутствии Джонса, однако, обсудив дело основательнее, не мог вынести мысли, что дядя окажет милость недостойному. Он решил поэтому тотчас же рассказать ему факт, на который мы выше намекнули читателю. Состоял он в следующем.

Примерно год спустя после увольнения со службы и еще до продажи Томом лошади полевой сторож, бывший тогда без куска хлеба и не знавший, как прокормить себя и свою семью, проходил по полю, принадлежащему мистеру Вестерну, и заметил сидящего в норе зайца. Этого зайца он самым низким и варварским образом пристукнул по голове, в противность всем поземельным и охотничьим законам.

К несчастью, разносчик, которому продан был заяц, через несколько месяцев попался с порядочным запасом дичи и, чтобы не поссориться со сквайром, должен был указать на какого-либо браконьера. Выбор его случайно остановился на Черном Джордже, как на человеке, уже однажды повредившем мистеру Вестерну и пользовавшемся дурной славой в околоте. Кроме того, разносчику выгоднее всего было пожертвовать именно им, так как с тех пор сторож не снабжал его больше дичью; это был удобный предлог для свидетеля скрыть своих лучших поставщиков. Дело в том, что сквайр, обрадованный возможностью наказать Черного Джорджа, которого погубить мог один проступок, не стал производить дальнейшее расследование.

Если бы это происшествие было изложено мистеру Олверти правильно, оно, вероятно, не причинило бы большого вреда полевому сторожу. Но нет ничего слепее рвения, с которым любители правосудия преследуют обидчиков. Блайфил забыл упомянуть о давности проступка. Далее, он существенно видоизменил самое событие, употребив второпях множественное число вместо единственного, то есть сказав, что Джордж "таскал" зайцев. Эти искажения были бы, вероятно, исправлены, если бы Блайфил не допустил промаха, взяв с мистера Олверти слово хранить в тайне все, что он ему расскажет. Таким образом, бедняга был осужден, не имея возможности защититься; что он убил зайца и что на него было подано в суд, не подлежало никакому сомнению, и потому мистер Олверти поверил и всему остальному.

Непродолжительна была радость бедной семьи. На следующее утро Олверти, не объясняя, в чем дело, объявил, что имеет новую причину для недовольства, и строго запретил Тому упоминать впредь имя Джорджа; правда, что касается семьи, сказал он, то он позаботится о том, чтобы она не умерла с голоду, но самого Джорджа предаст в руки закона, который тот упорно нарушает, невзирая ни на какие предостережения.

Том положительно не мог догадаться, что так разгневало мистера Олверти, ибо насчет Блайфила у него не возникло ни малейшего подозрения. Однако дружбу его не могли поколебать никакие разочарования, и он решил попытать другой способ для спасения бедняги от гибели.

В последнее время Джонс очень сблизился с мистером Вестерном. Он так выгодно зарекомендовал себя перепрыгиванием через пятикратный барьер и другими охотничьими подвигами, что сквайр решительно заявил, что при должном поощрении из Тома выйдет великий человек. Часто он выражал сожаление, что у него нет такого сына, и однажды за попойкой сказал торжественно, что в псовой охоте он готов поставить тысячу фунтов! - Том заткнет за пояс любого ловчего в околоте.

Подобного рода талантами Том снискал себе большое благоволение сквайра и был самым желанным гостем за его столом и любимым товарищем на охоте; все, чем сквайр дорожил больше всего на свете, именно: ружья, собаки и лошади - было теперь к услугам Джонса, как его собственность. Том решил воспользоваться этим благоволением и помочь своему другу Черному Джорджу: он надеялся устроить его у мистера Вестерна на той же должности, какую сторож занимал у мистера Олверти.

Принимая во внимание, во-первых, то, что человек этот уже навлек на себя недовольство мистера Вестерна, а во-вторых - серьезность проступка, послужившего причиной этого недовольства, читатель, может быть, осудит затею Джонса как глупую и безнадешную; но как ни осуждай его за это, все же юноша заслуживает самого высокого одобрения за свой горячий интерес к человеку, попавшему в столь трудное положение.

Для осуществления своего замысла Том обратился к дочери мистера Вестерна, семнадцатилетней девушке, которую отец любил и уважал больше всего на свете после только что упомянутых принадлежностей охоты. Таким образом, она имела влияние на сквайра, а Том имел маленькое влияние на нее. Но так как мы намерены сделать ее героиней нашего произведения и очень ее любим, да и многие наши читатели, по всей вероятности, перед тем как мы расстанемся, тоже ее полюбят ее, то ей не пристало появляться в конце книги.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ,
ОХВАТЫВАЮЩАЯ ГОД ВРЕМЕНИ
ГЛАВА I,
закрывающая четыре страницы

Если сочинение наше правдивостью отличается от пустых романов, которые наполнены чудовищами, плодами расстроенного мозга, а не природы, и потому объявлены одним выдающимся критиком годными единственно на потребу пирожников, то, с другой стороны, мы хотели бы избежать всякого сходства с теми историческими пьесами, которые, по мнению нашего знаменитого поэта, в не меньшей степени идут на пользу пивоваров, так как читать их должно не иначе, как с кружкой доброго пива:

Ведет история рассказ неторопливо

И, скуку чтоб прогнать, зовет на помощь пиво.

Ведь если пиво является напитком и, может быть, даже музой современных историков, по уверению Батлера, который утверждает, что оно есть источник вдохновения, то пиво должно быть также напитком их читателей, поскольку каждую книгу следует читать в том же умонастроении, в каком она написана. Вот почему славный автор "Герлотрамбо" сказал одному ученому епископу, что его преосвященство потому не может оценить достоинств его произведения, что читает его без скрипки, между тем как сам он во время сочинения не выпускал из рук этого инструмента.

И вот, чтобы пресечь всякие попытки уподоблять настоящее произведение работам таких историков, мы при всяком удобном случае пересыпали рассказ наш разными сравнениями, описаниями и другими поэтическими украшениями. Эти вещи предназначены, таким образом, для замены вышеупомянутого пива и для освежения ума в минуты, когда им начинает овладевать дремота, которой легко поддаются и читатель и автор данного произведения. Без этих передышек самое искусное изложение голых фактов одолело бы любого читателя, ибо нужно вовсе не знать сна - каковым свойством, по мнению Гомера, обладает один только Юпитер,- чтобы выдержать чтение многотомной газеты.

Предоставим читателю судить, насколько удачно мы выбирали поводы для введения этих орнаментальных частей нашего труда. Но, бесспорно, всякий согласится, что не может быть повода более подходящего, чем данный, когда мы

готовимся вывести на сцену важное действующее лицо - самую героиню нашей героико-историко-прозаической поэмы. Итак, мы сочли уместным подготовить читателя к встрече с ней, наполнив его воображение самыми прекрасными образами, какие способна доставить нам природа. В защиту этого метода мы можем сослаться на множество примеров. Прежде всего он хорошо известен и часто применяется нашими трагическими поэтами, которые редко забывают подготовить зрителей к появлению главных действующих лиц.

Так, герой всегда выводится на сцену под грохот барабанов и рев труб, чтобы пробудить воинственный дух публики и приспособить ее уши к напыщенным и трескучим речам, которые слепой мистера Локка мог бы без большой ошибки сравнить со звуками трубы. Наоборот, выход на сцену любовников часто сопровождается нежными мелодиями - для того чтобы усладить зрителей картинами страсти нежной или же убаюкать их и подготовить к той сладкой дремоте, в которую они, по всей вероятности, будут погружены последующей сценой.

Тайну эту постигли, кажется, не одни поэты, но и хозяева их, театральные режиссеры, ибо, помимо только что упомянутых литавр и прочих инструментов, возвещающих приближение героя, он обыкновенно выводится на сцену в сопровождении полудюжины статистов. Насколько они необходимы для его появления, можно судить по следующему театральному анекдоту.

Царь Пирр обедал в кабачке возле театра, когда ему пришли сказать, что пора выходить на сцену. Герой, не желая расставаться с бараньей лопаткой и не желая также навлекать на себя неудовольствие мистера Вилкса (театрального режиссера) тем, что он заставляет зрителей сидеть в ожидании актеров, за некоторую мзду уговорил своих герольдов скрыться; и пока мистер Вилкс грохотал, крича: "Где же эти плотники, которым надо выходить перед царем Пирром?" - названный монарх преспокойно доедал свою баранину, а зрители, несмотря на все свое нетерпение, принуждены были развлекаться во время его отсутствия музыкой.

Говоря откровенно, мне сильно сдается, что пользу этого приема почуяли также и политические деятели, у которых обаяние обыкновенно бывает тонкое. Я убежден, например, что важная персона лондонского лорд-мэра немало обязана почтением, которым окружена целый год, пышной церемонии вступления в должность. Больше того, я должен сознаться, что и сам я не раз поддавался обаянию пышной обстановки, хоть меня и нелегко обморочить наружным блеском. Видя человека, гордо выступающего в процессии вслед за другими, единственная обязанность которых-идти перед ним, я составлял себе гораздо более высокое понятие о его достоинствах, чем в тех случаях, когда видел его в будничной обстановке. Но есть один пример, который как нельзя более удачно подходит к моим намерениям. Это обычай во время коронационных торжеств, перед началом шествия высокопоставленных особ, чтобы женщина усыпала путь цветами. Древние непременно призвали бы в этом случае богиню Флору, и жрецам их или государственным деятелям нетрудно было бы уверить народ в действительном присутствии божества, несмотря на то что роль его играла бы и обязанности исполняла простая смертная. Но мы не имеем намерения обманывать читателя, и поэтому противники языческого богословия могут, если им угодно, превратить нашу богиню в вышеупомянутую цветочницу. Словом, мы хотим только вывести на сцену нашу героиню с возможно большей торжественностью, пустив в ход возвышенный слог и разные иные средства, способные увеличить благоговение читателя. По некоторым причинам мы даже посоветовали бы нашим читателям мужского пола, имеющим чувствительное сердце, не читать далее, если бы не были твердо уверены, что, как ни привлекателен покажется портрет нашей героини, однако он точно списан с натуры, и потоку среди наших прекрасных соотечественниц сыщется немало достойных самой беззаветной любви и вполне отвечающих идеалу женского

совершенства, какое способна написать наша кисть.

Итак, без дальнейших предисловий приступаем к следующей главе.

ГЛАВА II

Легкий намек на то, что мы способны создать в возвышенном стиле, и описание мисс Софьи Вестерн

Затихните, все суровые дыхания! Наложите железные цепи, о языческий повелитель ветров, на неистовые крылья шумящего Борея и выпяченные губы больно кусающегося Эвра! А ты, нежный Зефир, поднимись с благоуханного ложа, взойди на закатный небосклон и выпусти сладостный ветерок, дуновение которого выманивает из ее горницы прекрасную Флору, надушенную жемчужными росинками, когда первого июня, в день своего рождения, легко несется она, цветущая дева, в развевающихся одеждах по зеленеющему лугу, где каждый цветок тянется с приветом к ней, все поле превращается в пестрый ковер и краски спорят с ароматами: кто больше усладит ее чувства?

Да появится же теперь она во всей своей прелести! И вы, пернатые певцы природы, превосходящие сладчайшим искусством самого Генделя, приветствуйте ее появление своими мелодичными голосами! Любовь - источник ваших песен, и к любви они обращены. Пробудите же эту нежную страсть во всех юношах, - ибо вот, украшенная всеми прелестями, какие только может даровать природа, блистающая красотой, молодостью, весельем, невинностью, скромностью и нежностью, разливающая благоухание из розовых губок и свет из ясных очей, выходит любезная Софья!

Читатель, может быть, ты видел Венеру Медицейскую. Может быть, видел ты также галерею красавиц в Гемптон-Корте и помнишь всех блестящих леди Черчилль "Млечного Пути" и всех красоток Кит-Кэта. Или, если царство их кончилось еще не на твоей памяти, ты видел, по крайней мере, дочерей их, столь же ослепительных красавиц нашего времени, имена которых, если бы их здесь напечатать, заняли бы, боюсь я, целый том.

Если ты все это видел, не испугайся сурового ответа, данного однажды лордом Рочестером человеку, много видевшему. Нет. Если ты все это видел и не узнал, что такое красота, значит, ты без глаз; а если, узнав, не испытал на себе ее власти, значит, у тебя нет сердца.

И все же возможно, друг мой, что, видев все это, ты не в силах составить ясное представление о Софье, ибо она не походила в точности ни на одну из названных красавиц. В ней было много сходства с портретом леди Ранела и еще больше, как я слышал, с знаменитой герцогиней Мазарини; но более всего она была похожа на ту, чей образ никогда не изгладится в моем сердце; и если ты ее знал, друг мой, то у тебя есть верное представление о Софье.

Но, весьма возможно, тебе не выпало этого счастья, и потому мы приложим все старания, чтобы нарисовать этот образец совершенства, хотя и сознаем всю непосильность для нас такой задачи.

Итак, Софья, единственная дочь мистера Вестерна, была росту среднего или, пожалуй, чуть выше среднего. Сложена она была правильно и чрезвычайно изящно; по красивой форме ее рук можно было заключить о стройности всего тела. Ее пышные черные волосы, до того как она их остригла, следуя нынешним модам, доходили до пояса и завивались у нее на шее так грациозно, что с трудом можно было поверить в их неподдельность. Если бы зависть вздумала искать часть лица, менее прочих достойную восхищения, она, вероятно, указала бы на лоб, который без ущерба для обладательницы мог бы быть повыше. Брови ее были густые, ровные и неподражаемо изогнутые. Блеска ее черных глаз не могла погасить вся нежность ее сердца. Нос был совершенно правильный, а рот, скрывавший два ряда белых зубов, словно выточенных из слоновой кости, в точности соответствовал описанию сэра

Джона Саклинга:

Рот ал - и нижняя пышна
Губа, как будто бы она
Укушена пчелою.

Лицо ее было правильного овала, и при малейшей улыбке на правой щеке появлялась ямочка. Подбородок, без сомнения, тоже придавал красоте ее лицу, но трудно было сказать, велик он или мал; скорей, пожалуй, велик. Цвет лица напоминал больше лилию, чем розу, но когда резвые движения или стыдливость усиливали ее естественную краску, никакая киноварь не могла сравниться с ней, и вы невольно воскликнули бы вместе с знаменитым доктором Донном:

...Чиста, красноречива кровь
Ее ланит - ты скажешь, плоть сама
Согрета в ней дыханием ума.

Шея у нее была длинная и красиво изогнутая; я мог бы даже сказать, если бы не боялся оскорбить ее скромности, что эта часть ее тела затмила красоты знаменитой Венеры Медицейской. Белизмой с ней не могли соперничать никакие лилии, никакая слоновая кость или алебастр. Тончайший батист, казалось, из зависти прикрывал ее грудь, гораздо белейшую, чем он сам. Она была действительно

*Nitor splendens Pario manmore purius*⁹.

Такова была наружность Софьи. И обительница прекрасного жилища была вполне достойна ее: душа Софьи ни в чем не уступала телу, больше того-придавала ему еще больше прелести; когда она улыбалась, то нежность сердца озаряла лицо ее красой, которой не могла бы придать ему никакая правильность черт. Но так как ни одно совершенство души ее не укроется от читателя во время предстоящего ему близкого общения с этой очаровательной девушкой, то их не для чего перечислять здесь; это было бы даже оскорблением проницательности читателя и лишило бы его удовольствия составить собственное суждение о ее характере.

Однако уместно будет, пожалуй, сказать, что все природные дарования Софьи были еще развиты и усовершенствованы искусством: она была воспитана под надзором тетки, женщины великого ума, прекрасно знавшей свет, так как в молодости эта дама жила при дворе и лишь несколько лет назад удалилась в деревню. Пользуясь ее беседами и наставлениями, Софья прекрасно научилась светскому обращению, хотя, быть может, ей недоставало немного той непринужденности, какая приобретается только привычкой и жизнью в так называемом высшем обществе. Нужно, впрочем, сказать, что эта непринужденность покупается иногда слитком дорогой ценой; и хотя ей свойственно столь невыразимое очарование, что французы среди других качеств, вероятно, имеют в виду именно ее, говоря, что это нечто не поддающееся определению, однако отсутствие ее вполне возмещается невинностью, и к тому же здравый смысл и природное изящество никогда не испытывают в ней недостатка.

ГЛАВА III,

в которой рассказ возвращается вспять, чтобы упомянуть про один ничтожный случай, происшедший несколько лет назад, но, несмотря на всю свою ничтожность, имевший некоторые последствия

Прелестной Софье во время ее выступления в этой повести шел восемнадцатый год. Отец, как уже сказано, души в ней не чаял. К ней-то и обратился Том Джонс с намерением расположить ее в пользу своего приятеля, полевого сторожа. Но, прежде чем рассказывать об этом, необходимо вкратце сообщить некоторые обстоятельства, относящиеся к более раннему времени.

Различие характеров хотя и препятствовало установлению коротких отношений между мистером Олверти и мистером Вестерном, однако они были, как говорится, в приятельских отношениях; вследствие этого молодежь обеих семей была знакома с

самого детства и часто устраивала совместные игры.

Веселый характер Тома был Софье больше по душе, чем степенность и рассудительность Блайфила, и она часто оказывала предпочтение приемышу столь явно, что юноше более пылкого темперамента, чем Блайфил, это едва ли пришлось бы по вкусу.

Но так как он ничем не выказывал своего недовольства, то нам неприлично обшаривать укромные уголки его сердца, вроде того как некоторые любители позлословить роются в самых интимных делах своих приятелей и часто суют нос в их шкафы и буфеты только для того, чтобы открыть миру их бедность и скарედность.

Однако люди, считающие, что они дали другим повод к обиде, бывают склонны предполагать, что те действительно обиделись; так и Софья приписала один поступок Блайфила злопамятству, хотя высшая проницательность Твакома и Сквейра усматривала его причину в более благородном побуждении.

Еще в отрочестве Том Джонс подарил Софье птичку, которую сам достал из гнезда, выкормил и научил петь.

Софья, которой было тогда лет тринадцать, так привязалась к птичке, что по целым дням кормила ее, ухаживала за ней, и ее любимым удовольствием было играть с ней. Вследствие этого малютка Томми - так звали птичку - настолько приручился, что клевал из рук своей госпожи, садился ей на палец и спокойно забирался на грудь, как будто сознавая свое счастье; но он был привязан ленточкой за ножку, и хозяйка никогда не позволяла ему полетать на свободе.

Однажды, когда мистер Олверти обедал со всей семьей у мистера Вестерна, Блайфил, гуляя в саду с Софьей и видя, с какой любовью ласкает она птичку, попросил позволения взять ее на минуту в руки. Софья тотчас же удовлетворила просьбу молодого человека и с большой осторожностью передала ему своего Томми; но едва тот взял птичку, как в ту же минуту снял ленточку с ноги и подбросил птицу в воздух.

Почувствовав себя на свободе, глупышка мигом забыла все милости Софьи, полетела от нее прочь и села в некотором расстоянии на ветку.

Увидев, что птичка упорхнула, Софья громко вскрикнула, и Том Джонс, находившийся неподалеку, тотчас же бросился к ней на помощь.

Узнав, что случилось, он выбрал Блайфила подлым негодяем, мигом сбросил куртку и полез на дерево доставать птичку.

Том почти уже добрался до своего маленького тезки, как свесившийся над каналом сук, на который он влез, обломился, и бедный рыцарь стремглав плюхнулся в воду.

Беспокойство Софьи направилось теперь на другой предмет: испугавшись за жизнь Тома, она вскрикнула вдесятеро громче, чем в первый раз, причем ей изо всех сил начал вторить Блайфил.

Гости, сидевшие в комнате, которая выходила в сад, в сильной тревоге выбежали вон; но когда они приблизились к каналу, к счастью в этом месте довольно мелкому, Том уже благополучно выходил на берег.

Тваком яростно накинулся на бедного Тома, который стоял перед ним промокший и дрожащий, но мистер Олверти попросил его успокоиться и, обратившись к Блайфилу, спросил:

- Скажи, пожалуйста, сынок, что за причина всей этой суматохи?

- Мне очень жаль, дядя,- ответил Блайфил,- что я наделал столько шума: к несчастью, я сам всему причиной. У меня в руках была птичка мисс Софьи; подумав, что бедняжке хочется на волю, я, признаюсь, не мог устоять и предоставил ей то, чего она хотела, так как всегда считал, что большая жестокость - держать кого-нибудь в заточении. Поступать так, по-моему, противно законам природы, согласно которым всякое существо имеет право наслаждаться свободой; и это даже противно

христианству, потому что это значит обращаться с другими не так, как мы хотели бы, чтобы обращались с нами. Но если бы я знал, что это так расстроит мисс Софью, то, уверяю вас, я никогда бы этого не сделал; я не сделал бы этого и в том случае, если бы предвидел, что случится с самой птичкой: представьте себе, когда мистер Джонс, взобравшийся за ней на дерево, упал в воду, она вспорхнула и тотчас же попала в лапы негодного ястреба.

Бедняжка Софья, услышав только теперь об участии маленького Томми (беспокойство за Джонса помешало ей заметить случившееся), залилась слезами. Мистер Олверти принялся утешать ее, обещая подарить другую, гораздо лучшую птичку, но она заявила, что другой она ни за что не возьмет. Отец побранил ее, что она так ревет из-за дрянной птички, но не мог удержаться от замечания по адресу Блайфила, что будь он его сын, то получил бы здоровую порку.

После этого Софья ушла в свою комнату, мальчики были отосланы домой, а остальное общество вернулось к своим бутылкам, и тут по поводу птицы завязался такой любопытный разговор, что мы считаем его заслуживающим особой главы.

ГЛАВА IV,

содержания такого глубокого и серьезного, что оно, может быть, придется не по вкусу иным читателям

Закурив трубку, Сквейр обратился к Олверти со следующими словами:

- Не могу не поздравить вас, сэр, с таким племянником: в возрасте, когда немногие имеют представление о чем-нибудь, кроме чувственно воспринимаемых предметов, он достиг умения отличать справедливое от несправедливого. "Держать какое-либо существо в заточении кажется мне противным законам природы, согласно которым все живое имеет право наслаждаться свободой" - это его подлинные слова; они произвели на меня неизгладимое впечатление. Можно ли иметь более высокое понятие о законе справедливости и вечной гармонии вещей? Наблюдая такую зарю, не могу не верить, что полдень жизни этого юноши не уступит полдню жизни Брута Старшего или Младшего.

Тут его нетерпеливо перебил Тваком, который, пролив часть своего вина и наспех проглотив остальное, возразил:

- Основываясь на других словах мистера Блайфила, я надеюсь, что он будет походить на гораздо лучших людей. "Законы природы" - пустой набор слов, лишенный всякого смысла. Я не знаю ни одного такого закона и не знаю никакого права, которое может быть из него выведено. Обращаться с другими так, как мы хотели бы, чтобы обращались с нами,- вот подлинно христианское побуждение, как правильно заметил мой воспитанник. Меня радует, что мои наставления принесли такой прекрасный плод.

- Если бы тщеславие было согласимо с гармонией вещей,- сказал Сквейр,- то и я мог бы кой-чем похвастать; ведь, я думаю, ясно, откуда он мог позаимствовать понятия справедливости и несправедливости. Если нет законов природы, нет ни справедливости, ни несправедливости.

- Как! - воскликнул священник.- Значит, вы исключаете откровение? С кем я говорю: с деистом или атеистом?

- Пейте-ка лучше! - вмешался Вестерн.- К черту ваши законы природы! Не знаю, что вы оба называете справедливым и несправедливым, только, по-моему, отнять у моей дочери ее птичку - несправедливо. Мой сосед Олверти может поступить, как ему угодно, но потакать мальчишкам в таких проделках - значит готовить их к виселице.

Олверти ответил, что ему очень неприятен поступок племянника, но он не хочет наказывать его, потому что мальчик действовал скорее из благородных, чем из низких побуждений. Если бы Блайфил украл птицу, то он первый бы высказался за самое суровое наказание, но ясно, что мальчик не имел такого намерения. И

действительно, ему казалось, что у племянника не могло быть иных соображений, кроме тех, которые тот сам привел. (Ибо, что касается злого умысла, в котором подозревала его Софья, то такие вещи и в голову не приходили мистеру Олверти.) В заключение он снова побранил поступок как неосмотрительный, сказав, что его можно извинить только несовершеннолетнему.

Сквейр высказал свое мнение так недвусмысленно, что для него промолчать теперь значило бы признать себя побежденным. Поэтому он с большим жаром заявил, что мистер Олверти относится с чересчур большим уважением к таким низким вещам, как собственность. При суждении о великих и славных делах мы должны оставлять в стороне все-частные отношения: ведь, подчиняясь их узким законам, нам придется осудить Брута Младшего - как человека неблагодарного, а Старшего - как отцеубийцу.

- И если бы их обоих повесили за эти преступления,- воскликнул Тваком,они лишь получили бы по заслугам. Пара мерзавцев язычников! Благодарение богу, теперь нет у нас Брутов! Хорошо было бы, мистер Сквейр, если бы вы перестали забивать головы моих учеников подобной антихристианской дребеденью; результат тот, что мне приходится выколачивать из них всю эту дурь, когда они переходят под мое руководство. Ваш воспитанник Том уже почти безнадежно испорчен. На днях я подслушал спор его с Блайфилом: молодчик утверждал, что нет никакой заслуги в вере без добрых дел. Я знаю, это один из ваших догматов, и, думаю, он позаимствовал его у вас.

- Не вам обвинять меня в том, что я его порчу,- отвечал Сквейр.- Кто научил его смеяться над всем, что добродетельно и пристойно, что гармонично и справедливо в природе вещей? Он - ваш ученик, и я от него отрекаюсь. Нет, нет, мой воспитанник - мистер Блайфил. Хоть он и молод, а попробуйте-ка истребить в этом мальчике понятия о нравственной честности!

Тваком презрительно усмехнулся в ответ и сказал:

- Ну, за него я не боюсь. Он так основательно подготовлен, что ему нипочем вся ваша философская премудрость. Да, я уж позаботился внедрить в него такие правила...

- Да и я не забыл внедрить в него правила! - воскликнул Сквейр.- Что, как не возвышенная идея добродетели, могло внушить человеческому разуму благородную мысль даровать птице свободу? И я снова повторяю: если бы гордость была совместима с гармонией вещей, то я почитал бы для себя за честь, что пробудил в нем такие склонности.

- А если бы гордость не была грехом,- прервал его Тваком,- то я похвалился бы тем, что научил его долгу, который сам он признал за побудительную причину своего поступка.

- Следовательно, вы оба виновны в том, что научили молодого человека похитить у моей дочери птичку,- объявил Вестерн.- Надо будет получше присматривать за клетками для куропаток, а то явится какой-нибудь добродетельный святоша и выпустит всех моих куропаток на волю! - И, хлопнув по плечу сидевшего рядом юриста, Вестерн крикнул: - Что вы скажете на это, господин адвокат? Разве это не нарушение закона?

Юрист с важным видом изрек следующее:

- Если бы речь шла о куропатке, то, несомненно, можно было бы подать в суд; ибо хотя куропатка и *ferae naturae*¹⁰, однако, будучи приручена, становится собственностью; но если речь идет о певчей птице, хотя бы и прирученной, то, как животное низкой природы, ее следует считать *nullius in bonis*¹¹. Следовательно, в этом случае, я полагаю, истцу будет отказано, и я бы не советовал возбуждать такое дело.

- Ну, ладно,- сказал сквайр,- если эта птичка *nullus bonus*, так давайте выпьем и

потолкуем о политике или о чем-нибудь другом, для всех нас понятном, потому что в этой казуистике я, ей-богу, ни слова не смыслю. Оно, может быть, и учен(г) и умно, да только вы меня в этом не убедите. Тьфу! А почему никто из вас не заикнулся о молодце, который заслуживает всяческой похвалы? Как хотите, а рисковать своей шеей для того, чтобы доставить удовольствие моей девочке, поступок великодушный, и у меня хватит настолько учености, чтобы понять это. Черт побери, за здоровье Тома! За такую удачу я буду любить его по гроб жизни.

Так был прерван ученый спор; но он, вероятно, вскоре бы возобновился, если бы мистер Олверти не приказал подавать карету и не увез спорщиков.

Вот какой был конец происшествия с птицей и возникшего по его поводу диалога. Нам нельзя было обойти его молчанием, хотя оно случилось за несколько лет до периода, охватываемого событиями, к которым мы сейчас переходим.

ГЛАВА V,

содержание которой придется всем по вкусу

"Parva leves capiunt animos" - "Мелочи прельщают легкомысленных",- сказал великий знаток в делах любви. И действительно, с того дня Софья начала чувствовать некоторое расположение к Тому Джонсу и немалое отвращение к его товарищу.

Разные происшествия время от времени укрепляли в ней эти чувства; какие это были происшествия, читатель и сам легко догадается из сказанного о различии характеров обоих юношей и о том, что один из них был ей гораздо больше по нраву, чем другой. Сказать правду, Софья еще в детстве разглядела, что Том, ленивый и беспечный сорванец, был врагом только самому себе, а Блайфил, благоразумный, осмотрительный и здравомыслящий молодой человек, очень заботился о выгодах единственного лица на свете; а кто было это единственное лицо, читатель догадается и без нашей помощи.

Эти два характера не всегда встречают в свете разное к себе отношение, которого они как будто заслуживают и которое, надо бы думать, общество в собственных интересах должно к ним проявлять. Впрочем, в этом есть, может быть, свой политический расчет: встретив истинно доброе и открытое сердце, люди вполне основательно полагают, что нашли сокровище, и желают приберечь его, как всякую другую хорошую вещь, каждый для себя. По-видимому, они воображают, что трубить о достоинствах такого человека-все равно что, грубо говоря, скликать гостей на жаркое, которым хотелось бы полакомиться в одиночку. Если это объяснение не удовлетворяет читателя, то я не знаю, чем еще объяснить постоянно наблюдающийся недостаток уважения к людям, делающим честь человеческой природе и приносящим величайшую пользу обществу. Софья, однако, не была похожа в этом на других. Она стала уважать Тома Джонса и презирать Блайфила почти с той минуты, как поняла значение слов "уважение" и "презрение". Софья гостила года три у своей тетки и в продолжение всего этого времени редко видела молодых людей. Впрочем, однажды она обедала со своей теткой у мистера Олверти. Случилось это через несколько дней после вышеописанного приключения с куропаткой. Софья услышала рассказ о нем за столом и не сказала ни слова; тетка тоже мало чего добилась от нее по возвращении домой; но когда горничная, раздевая ее, спросила невзначай: "Видели, барышня, молодого Блайфила?" - она с сердцем ответила:

- Ненавижу самое имя Блайфил, как все низкое и вероломное, и удивляюсь, что мистер Олверти позволяет извергу учителю так жестоко наказывать бедного мальчика за поступок, подсказанный ему добрым сердцем.

Она пересказала горничной всю историю и заключила ее словами:

- Ну, скажи, разве не благородная он душа?

Теперь молодая девушка вернулась к отцу, который поручил ей управление

всем домом и посадил на хозяйское место за столом, где часто обедал Том (сделавшийся большим любимцем сквайра благодаря своей любви к охоте). Молодые люди открытого и великодушного характера бывают обыкновенно расположены к любезности, и если вдобавок, подобно Тому, они обладают природным умом, то их любезность выражается в предупредительном и внимательном обращении со всеми женщинами вообще. Это резко отличало Тома как от грубых и буйных деревенских сквайров, так и от чопорного и надутого Блайфила. Таким образом, в двадцать лет он начал приобретать среди окрестных дам репутацию любезного кавалера.

Том не оказывал Софье никаких особенных знаков внимания, разве только относился к ней несколько почтительнее, чем к другим. Этого требовали, казалось, ее красота, богатство, ум и любезное обхождение; но никаких видов на нее у него не было, так что читатель вправе будет назвать его глупцом; впрочем, со временем мы постараемся дать удовлетворительное объяснение этой странности.

При всей своей невинности и скромности Софья обладала замечательной живостью характера, которая настолько усиливалась в присутствии Тома, что не будь он так молод и рассеян, то, наверное, заметил бы это, и, не будь мысли мистера Вестерна всецело поглощены полем, конюшней и псарней, это могло бы заронить и в нем некоторые подозрения. Но добрый сквайр был от них далек и доставлял Тому столько случаев оставаться с дочерью наедине, что ему позавидовал бы любой поклонник; а Том, в невинности своей следуя только голосу врожденной любезности и доброты, извлек из этого для себя больше выгоды, чем если бы действовал, имея самые серьезные виды на молодую девушку.

Впрочем, нечего удивляться, что это ускользнуло от внимания других, если сама бедняжка Софья ничего не подозревала: сердце ее было безнадежно потеряно, прежде чем она заметила, что оно в опасности.

Таково было положение дел, когда в один прекрасный день Том, застав Софью одну, извинился и очень серьезным тоном сказал, что просит ее о большом одолжении, в котором она, наверное, по доброте своей, ему не откажет.

Хотя ни манеры молодого человека, ни тон, каким он изложил свою просьбу, не могли дать ей повода предполагать, что он намерен объясниться в любви, однако Природа ли шепнула ей что-нибудь на ухо, или случилось это по другой какой, непонятной для меня, причине, только, несомненно, какая-то мысль в этом роде у нее втайне возникла, потому что краска сбежала с ее лица, она задрожала, и язык изменил бы ей, если бы Том приостановился в ожидании ответа; но он тут же избавил ее от замешательства, приступив к изложению своего дела, состоявшего в просьбе заступиться за полевого сторожа, которому вместе со всей многочисленной семьей, сказал он, угрожает полная нищета, если мистер Вестерн не прекратит возбужденного против него дела.

Софья мигом оправилась от своего смущения и сказала с приветливой улыбкой:

- Так это и есть то большое одолжение, о котором вы просили таким серьезным тоном? Сделаю вам его от всего сердца. Мне самой искренне жаль этого бедняка, и не далее как вчера я послала кой-какую мелочь его жене.

Эта мелочь состояла из одного платья, белья и десяти шиллингов; Том слышал об этом, это и подало ему мысль обратиться с своей просьбой к Софье.

Ободренный успехом, наш герой решил пойти дальше: он набрался смелости и попросил Софью исхлопотать у отца службу для Черного Джорджа, заявив, что считает его за честнейшего человека в околотке и вполне подходящим для должности полевого сторожа, которая, кстати, в то время была свободна.

- Хорошо,- отвечала Софья,- я похлопочу и об этом; но не могу вам обещать такого же успеха, как в первом случае; тут, будьте покойны, я не отстану от отца, пока не добьюсь исполнения вашей просьбы. Впрочем, я сделаю все, что в моих силах,

для этого несчастного, потому что мне искренне жаль и его, и всю его семью. А теперь, мистер Джонс, и я хочу попросить вас об одолжении.

- Об одолжении, сударыня! - воскликнул Том.- Если бы вы знали, какое удовольствие доставляет мне одна надежда получить от вас приказание, вы дали бы его с полной уверенностью, что оказываете мне величайшую милость. Клянусь этой милой ручкой, я пожертвовал бы жизнью, чтобы услужить вам!

С этими словами он схватил руку девушки и пылко поцеловал ее, в первый раз коснувшись ее губами. Кровь, перед этим отхлынувшая от щек, теперь устремилась к лицу и шее Софьи таким бурным потоком, что они стали ярко-пунцовыми. Впервые испытала она ощущение, до сих пор ей неведомое; и когда она стала на досуге размышлять над ним, оно открыло ей тайны, которые читатель, если сейчас еще не угадал, узнает в свое время.

Оправившись настолько, чтобы владеть речью (что произошло не сразу), Софья сказала, что одолжение, о котором она просит, заключается в том, чтобы не завлекать отца в опасные положения на охоте; ибо, наслышавшись всяких ужасов, она сидит в страхе каждый раз, как они уезжают вместе, и ждет, что рано или поздно отца ее принесут домой искалеченным. Поэтому она умоляет его, из уважения к ней, быть осторожнее и, зная, что мистер Вестерн во всем будет следовать ему, не скакать впредь сломя голову и не затевать никаких опасных прыжков.

Том торжественно обещал повиноваться ее приказаниям и, поблагодарив за любезную готовность исполнить его просьбу, простился и ушел в восторге от успеха своего дела.

Бедняжка Софья тоже была в восторге, только по совсем другой причине. Впрочем, сердце читателя или читательницы (если оно у них есть) лучше представит ее чувства, чем могу изобразить я, если бы даже я имел столько ртов, сколько когда-либо желал иметь поэт, для того, полагаю, чтобы съесть многочисленные лакомства, которыми его так обильно угощают.

Мистер Вестерн имел привычку после обеда, навеселе, слушать игру дочери на клавикордах; сквайр был большой любитель музыки и, может быть, живи он в Лондоне, прослыл бы за знатока, ибо всегда высказывался против утонченнейших произведений мистера Генделя. Ему нравилась только легкая и веселая музыка: любимыми его вещами были "Старый король Саймон", "Святой Георгий за Англию дрался", "Вертушка Жанна" и тому подобные.

Хотя Софья была отличной музыкантшей и любила только Генделя, но из угождения отцу, желая доставить ему удовольствие, выучила все эти песенки. Впрочем, время от времени она пробовала привить ему собственные вкусы и, когда отец требовал повторения какой-нибудь из любимых своих баллад, отвечала; "Нет, папенька",- и часто просила его послушать что-нибудь Другое.

Но в тот вечер, дождавшись, когда мистер Вестерн расстался со своей бутылкой, она сыграла все его любимые вещи по три раза, без всякой его просьбы. Это так понравилось нашему сквайру, что он вскочил с дивана, поцеловал дочь и побожился, что руки ее совершенствуются с каждым днем. Софья воспользовалась этим случаем для исполнения своего обещания Тому. Успех был полный, и сквайр даже объявил, что если она еще раз сыграет ему "Старого Саймона", то за сторожем будет послано завтра же утром. "Саймон" был сыгран еще и еще раз, пока чары музыки не усыпили мистера Вестерна. Утром Софья не преминула напомнить отцу о его обещании, и он в ту же минуту послал за своим поверенным, распорядился о прекращении дела и определил сторожа на должность.

Об успехе Тома в этом деле скоро пошла молва по всему околотку, причем мнения разделились: одни хвалили Джонса за великодушный поступок, другие подсмеивались, говоря: "Не диво, что один бездельник полюбил другого". Блайфил был взбешен. Он давно ненавидел Черного Джорджа в такой же степени, в какой

Джонс им восхищался,- и не потому, что сторож чем-нибудь оскорбил его, а из великой любви к религии и добродетели, ибо Джордж пользовался славой человека распущенного. Поэтому Блайфил стал изображать все это дело как прямой вызов мистеру Олверти и с великим огорчением объявил, что невозможно найти другую причину для благодетельства такому негодяю"

Тваком и Сквейр равным образом пели ту же песенку. Теперь оба они (особенно последний) были очень злы на Джонса за благоволение к нему вдовы: Тому шел двадцатый год, он сделался красивым юношей, и миссис Блайфил, оказывая ему внимание, видимо, с каждым днем все больше и больше замечала это.

Злоба этих людей, однако же, не имела никакого действия на мистера Олверти. Он объявил, что очень доволен поступком Джонса. Верность и преданность в дружбе, сказал он, достойны самых высоких похвал, и было бы желательно видеть почаще примеры этой добродетели.

Но Фортуна, редко благосклонная к таким франтам, как мой друг Том,-может быть, потому, что они не очень пылко за ней ухаживают,- вдруг изменила значение всех его подвигов и представила их мистеру Олверти в гораздо менее приятном свете, чем тот, в котором он, по доброте своей, видел их до сих пор.

ГЛАВА VI

Оправдание нечувствительности мистера Джонса к прелестям милой Софьи и описание обстоятельств, которые, весьма вероятно, сильно уронят его в мнении тех остроумных и любезных господ, что восхищаются героями большинства нынешних комедий

Два рода людей, боюсь я, уже прониклись некоторым презрением к моему герою за его поведение с Софьей. Одни из них, наверно, порицают его за то, что он поступил неблагоразумно, упуская такой прекрасный случай завладеть состоянием мистера Вестерна, а другие в не меньшей степени осуждают за равнодушие к столь прекрасной девушке, которая, по-видимому, готова была упасть в его объятия, стоило ему только раскрыть их.

Хотя я, может быть, и не в силах буду совершенно спясть с него оба эти обвинения (ибо недостаток благоразумия не допускает никаких оправданий, а все, что я скажу против второго обвинения, боюсь, покажется малоубедительным), однако обстоятельства дела иногда смягчают вину, и поэтому я изложу все, как было, предоставляя решение самому читателю.

В мистере Джонсе было нечто такое, относительно чего между писателями, кажется, нет полного согласия, как называть это, но что, несомненно, существует в сердцах иных людей и не столько научает их отличать справедливое от несправедливого, сколько влечет и склоняет к первому и предостерегает и удерживает от второго.

Это нечто может быть уподоблено пресловутому сундучнику в театре: когда человек, обладающий им, делает что-либо хорошее, ни один восхищенный или дружелюбно настроенный зритель не в состоянии с достаточным жаром и восторгом прокричать ему свое одобрение; напротив, когда он делает что-нибудь дурное, ни один критик не пожалеет своих сил, чтобы его освистать и ошикать.

Чтобы дать об этом начале более высокое представление, которое было бы также более во вкусе нашего времени, я скажу, что оно восседает в нашей душе на троне, подобно лорду верховному канцлеру Английского королевства в высокой палате, где он председательствует, распоряжается, руководит, судит, оправдывает и осуждает сообразно заслугам и справедливости, с всеведением, от которого ничто не ускользает, с проницательностью, которую ничто не может обмануть, и с добросовестностью, которая недоступна для подкупа.

Это деятельное начало поистине образует самую существенную грань между нами и соседями нашими, животными; ибо если есть существа в человеческом

образе, ему неподвластные, то я смотрю на них скорее как на перебежчиков от нас к нашим соседям, среди которых они разделяют участь всех дезертиров, занимая место в задних рядах.

От кого заимствовал наш герой это начало - от Твакома или Сквейра,- я не берусь определить, только он находился под его могущественным влиянием; хотя не всегда он поступал справедливо, но, поступая несправедливо, он всегда это чувствовал, и это его мучило. Именно это начало внушило ему, что ограбить дом в отплату за ласки и гостеприимство, которые ему в нем оказывали, есть самое низкое и подлое воровство. Он не считал, что низость такого преступления смягчается его размерами; напротив, ему казалось, что если кража серебряной посуды карается позорной смертью, то трудно даже придумать наказание, которого заслуживает похищение у соседа всего имущества с дочерью в придачу.

Таким образом, это начало осуждало в глазах Джонса всякую мысль устроить свою судьбу подобными средствами (ибо, как я уже сказал, начало это деятельное и не довольствуется чисто теоретическими правилами или убеждениями). Будь он сильно влюблен в Софью, он, возможно, рассуждал бы иначе; однако позвольте мне сказать, что между похищением дочери соседа по любви и похищением ее по корыстным мотивам большая разница.

Но хотя герой наш не был нечувствителен к прелестям Софьи, хотя ему очень нравилась ее красота и он высоко ценил все прочие ее достоинства, однако она не производила глубокого впечатления на его сердце, а так как это равнодушие может дать повод к обвинению его в тупости или, по крайней мере, в недостатке вкуса, то нам необходимо объяснить его причины.

Дело в том, что сердце Тома принадлежало другой женщине. Я не сомневаюсь, что читатель будет удивлен, почему мы так долго обходили это молчанием, и окажется в полном недоумении, кто была эта особа, так как до сих пор мы ни словом не обмолвились ни об одной женщине, годной в соперницы Софье. Правда, мы сочли своим долгом упомянуть о расположении миссис Блайфил к Тому, но не дали ни малейшего повода думать, что он отвечал ей взаимностью: с прискорбием надо сказать, что молодые люди обоего пола не слишком склонны платить благодарностью за то внимание, которым подчас так любезно удостоивают их более пожилые особы.

Чтобы не томить больше читателя, напомним ему об уже знакомом ему семействе Джорджа Сигрима (известного больше под именем полевого сторожа Черного Джорджа), которое состояло в то время из жены и пятерых детей.

Второй по возрасту была дочь по имени Молли, слывшая одной из первых красоток в околотке.

Истинная красота, как хорошо сказал Конгрив, заключает в себе нечто такое, чем не способны восхищаться низкие души; но никакая грязь и лохмотья не могут скрыть это нечто от душ, не отмеченных печатью низости.

Впрочем, красота этой девушки не оказывала никакого действия на Тома, пока ей не исполнилось шестнадцать лет, только тогда Том, который был почти на три года старше, стал впервые смотреть на нее влюбленными глазами. И нужно сказать, что девушка привлекла его чувства задолго до всяких попыток овладеть ею: хотя темперамент и сильно побуждал его к этому, однако убеждения с не меньшей силой его удерживали. Обольстить молодую женщину, даже самого низкого происхождения, казалось ему гнусностью, а расположение, которое он питал к ее отцу, в соединении с участием ко всей его семье, сильно укрепляло в нем все эти трезвые мысли, так что он даже решил однажды побороть свое чувство и действительно целых три месяца удерживался от посещения дома Сигрима и от встреч с его дочерью.

Надобно сказать, что хотя Молли считалась красавицей и действительно была хороша собой, однако красота ее не отличалась большой нежностью. В красоте этой

было очень мало женственного, и она подходила бы мужчине ничуть не меньше, чем женщине; правду сказать, молодость и цветущее здоровье были ее главным очарованием.

Характер Молли был женственным не больше, чем наружность. Высокая ростом и сильная, она была смела и решительна. Скромности в ней было так мало, что о добродетели ее Джонс заботился больше, чем она сама. По-видимому, Молли любила Тома столь же горячо, как и он любил ее; заметив его робость, она, напротив, осмелела, а когда он вовсе перестал посещать их дом, нашла способ попадаться ему на пути и вела себя таким образом, что молодому человеку надо было быть или пентюхом, или героем, чтобы ее старания остались безуспешны. Словом, она скоро восторжествовала над всеми добродетельными решениями Джонса; ибо хотя напоследок ею было оказано подобающее сопротивление, все же я склонен приписать победу именно ей, потому что, в сущности, именно ее заветное желание увенчалось успехом.

Итак, в этом деле Молли сыграла свою роль столь искусно, что Джонс приписывал победу исключительно себе и воображал, будто молодая женщина уступила бурному пылу его страсти. Он объяснял также уступчивость девушки неукротимой силой ее любви к нему, и - согласитесь, читатель,- предположение это было вполне естественным и правдоподобным, потому что, как мы не раз уже говорили, Том отличался необыкновенной привлекательностью и был одним из красивейших юношей на свете.

Есть люди, все заботы которых, как у Блайфила, направлены на одну-единственную особу, чьи интересы они только и блюдут, относясь к радостям и горестям всех прочих совершенно равнодушно, если они не содействуют удовольствиям или выгодам этой особы. Но есть люди и другого склада, у которых даже себялюбие является источником благородства. Получая от других какое-либо удовольствие, они считают своим долгом любить человека, которому обязаны этим удовольствием, и бывают вполне счастливы, только когда уверены, что и ему хорошо.

К числу последних принадлежал и наш герой. По его представлениям, счастье или несчастье этой бедной девушки зависело теперь от него. Его все еще привлекала красота ее, хотя женщина более красивая и более свежая привлекла бы его еще больше; однако легкое охлаждение, вызванное пресыщением, сильно перевешивалось в нем несомненной любовью девушки к нему и чувством ответственности за то положение, в которое он ее поставил. Любовь Молли наполняла его благодарностью, ее участь пробуждала в нем сострадание, а из обоих этих чувств, с присоединением еще чувственного желания, слагалась страсть, которую можно было без особенной натяжки назвать любовью, хотя, может быть, сперва она была и неразумна.

Вот в чем заключалась истинная причина нечувствительности Тома к прелестям Софьи и к ее обращению с ним, в котором не без основания можно было видеть поощрение его чувств,- ибо если он не мог и думать покинуть свою Молли, бедную и терпевшую лишения, то отвергал также всякую мысль обмануть прелестную Софью. Но дать малейшую волю чувству к этой девушке - значило быть явно виновным в том или другом преступлении, а каждое из них, по моему мнению, вполне справедливо обрекало его на ту участь, которую, как я сказал при его первом появлении в этой повести, все в один голос ему пророчили.

ГЛАВА VII,

самая короткая в этой книге

Мать первая заметила округление стана Молли и, чтобы скрыть беду от соседей, довольно безрассудно нарядила ее в широкое платье, присланное Софьей, которая едва ли предполагала, что бедная женщина позволит себе дать его которой-нибудь

из дочерей для такого случая.

Молли очень обрадовалась этому первому в ее жизни случаю блеснуть своей красотой. Хотя она с удовольствием смотрелась в зеркало, даже когда была в лохмотьях, и покорила в этом наряде сердце Джонса и, может быть, некоторых других, но все же она думала, что платье Софьи еще более увеличит ее обаяние и расширит круг ее побед.

И вот, нарядившись в это платье, новый кружевной чепчик и кое-какие другие безделки, подаренные ей Томом, Молли с веером в руке в первое же воскресенье отправилась в церковь. Великие мира ошибаются, воображая, будто честолюбие и тщеславие являются их исключительной привилегией. Эти благородные страсти столь же пышно процветают в деревенской церкви и на церковном дворе, как в гостиной и в будуаре. На приходских собраниях замышлялись такие вещи, которые не посрамили бы самого конклава. Тут есть и министерство, есть и оппозиция. Тут есть заговоры и происки, партии и клики, ничуть не хуже тех, какие встречаются в любом придворном кругу.

Женщины здесь тоже ничем не уступают в ловкости своим знатым и богатым сестрам. И тут есть и недоступные и кокетки. И тут наряжаются, строят глазки, лгут, завидуют, злословят и клеветают. Словом, тут есть все, что бывает в самых блестящих собраниях, в самом светском обществе. Так пусть же люди высокопоставленные не презирают невежество черни, а простой народ не поносит пороков аристократии.

Некоторое время Молли сидела, не узнанная соседями. Шепот пробежал по собранию: "Кто это?" Но как только убедились, что это она, среди женщин поднялось такое шушуканье, хихиканье и фырканье, закончившееся громким смехом, что мистер Олверти принужден был прибегнуть к своей власти для восстановления порядка.

ГЛАВА VIII

Битва, воспетая музой в гомеровском стиле, которую может оценить лишь читатель, воспитанный на классиках

У мистера Вестерна было в этом приходе имение, и так как приходская церковь была от его дома лишь немногим дальше, чем его собственная, то он часто приезжал сюда к службе. Случилось так, что в это воскресенье он был здесь с прелестной Софьей.

Софья была восхищена красотой девушки и очень жалела, что, по простоте своей, та так разрядилась, возбудив своим нарядом зависть односельчанок. Вернувшись домой, она сейчас же послала за сторожем и велела ему привести дочь, сказав, что устроит ее на службу в доме и, может быть, даже возьмет к себе, когда ее горничная, находившаяся теперь в отлучке, уйдет от нее.

Услышав это, бедный Сигрим был как громом поражен, ибо ему было известно, что талия дочери испортилась. Заикающимся голосом он выразил опасение, что Молли покажется слишком неуклюжей для прислуживания барышне, потому что никогда не была в горничных.

- Это не важно,- возразила Софья, - она скоро приучится. Девушка мне понравилась, и я хочу испытать ее.

Черный Джордж отправился к жене, рассчитывая с помощью ее мудрого совета как-нибудь выпутаться из трудного положения. Но, придя домой, он застал всю семью в сильном волнении. Платье Молли возбудило такую зависть, что после ухода из церкви мистера Олверти и других помещиков гнев соседок, сдерживаемый до тех пор их присутствием, разразился, как ураган; сперва он нашел выход в оскорбительных замечаниях, хохоте, свисте и угрожающих жестах, а потом было пущено в дело кое-какое метательное оружие, которое, вследствие своей пластичности, хотя и не угрожало ни смертоубийством, ни членовредительством, было, однако, достаточно страшным для изящно одетой дамы. Горячая Молли не могла безропотно снести

такое обращение. Итак... Но - стоп! Не доверяя собственным дарованиям, мы призовем здесь на помощь высшие силы.

О музы, любящие воспевать битвы, как бы вы там ни назывались, и особенно ты, поведавшая некогда о сечах на полях, где сражались Гудибрас и Трулла, если ты не умерла с голода со своим другом Батлером, помоги мне в этом важном деле! Один со всем не справишься.

Как большое стадо коров на скотном дворе богатого фермера, заслышав вдали, во время доения, мычание телят, жалующихся на похищение своей собственности, поднимает неистовый рев, так голоса сомерсетширской толпы слились в нестройный вопль, состоявший из стольких визгов, криков и других разнообразных звуков, сколько было человек в толпе, или, вернее, сколько было обуревавших ее страстей; одни вопили от бешенства, другие - от страха, а третьи - просто ради потехи; но больше всех усердствовала Зависть, сестра и неразлучная спутница Сатаны; вторгшись в толпу, она раздувала пламя ярости в женщинах, которые, догнав Молли, тотчас закидали ее грязью и мусором.

После безуспешной попытки отступить в полном порядке Молли повернулась лицом к неприятелю и, схватившись с оборванной Бесс, возглавлявшей вражеский фронт, одним ударом повергла ее наземь. Вся неприятельская армия (хотя и состоявшая почти из сотни человек) при виде судьбы, постигшей ее генерала, отступила на несколько шагов назад и расположилась за свежевырытой могилой: полем битвы был погост, и вечером должны были состояться чьи-то похороны. Развивая одержанный успех, Молли схватила череп, лежавший на краю могилы, и яростно метнула им в толпу, угодив в голову портного; от столкновения раздался два одинаково пустых звука, портной мигом растянулся во всю длину, оба черепа легли рядом, и трудно было решить, который из них безмозглее. Тем временем Молли вооружилась берцовой костью, врезалась в ряды бегущего врага и, щедро отпуская удары направо и налево, повергла бездыханными трупами множество могущественных героев и героинь.

Назови же, о муза, имена павших в тот роковой день! Первый почувствовал на своем затылке ужасную кость Джемми Твидл. Его вскормили ласковые берега мягко извивающегося Стура, где он впервые изучил вокальное искусство и, странствуя по храмовым праздникам и ярмаркам, услаждал им деревенских красоток и парней, когда на зеленых лужайках заводили они веселые танцы, а сам он играл на скрипке, притопывая в такт своей музыке. Как мало пользы ему теперь от его скрипки! Безгласным трупом грохнулся он на траву. Вслед за ним получил удар по лбу от нашей амазонки старый Ичпол, холостильщик свиней, и тоже был повержен во прах. Вследствие своей тучности, он рухнул с таким шумом, точно обвалившийся дом. Во время падения из кармана у него выкатилась табакерка, и Молли завладела ею, как законной добычей. Несчастье постигло мельничиху Кет: задев спустившимся чулком за могильную плиту, она полетела вверх тормашками, так что, в нарушение закона природы, пятки ее очутились выше головы. Бетти Пипин упала одновременно с юным любовником своим Роджером, и - о, ирония судьбы! - она уткнулась носом в землю, а он глядит в небеса. Том Фрекл, сын кузнеца, пал следующей жертвой ярости Молли. Он был искусный мастер, отлично делал деревянные калоши и был сражен теперь изделием собственных рук. Что бы ему остаться в церкви и петь псалмы, - он избежал бы пролома черепа! Мисс Кроу - дочь фермера, Джон Гидиш - сам фермер; Нан Слауч, Эстер Кодлин, Вил Спрей, Том Беннет, три мисс Поттер, отец которых держит харчевню под вывеской "Красный Лев"; Бетти Чэмбермейд, Джек Остлер и множество других, помельче, легли вповалку между могилами.

Впрочем, не все они были повержены мощной десницей Молли: многие сбили друг друга с ног во время бегства.

Но тут Фортунa, испугавшись, что она вышла из роли, слишком долго помогая

одной стороне, да к тому же еще правой, быстро переменила фронт. Вмешалась тетушка Браун, которую Зикиэл Браун ласкал в своих объятиях,- и не он один, а еще целая половина прихода: столь знаменита она была на полях Венеры, а равно и Марса. Ее трофеями всегда были украшены голова и лицо супруга, ибо вряд ли голова какого-либо мужчины свидетельствовала своими рогами о любовных успехах жены более красноречиво, нежели голова Зикиэла, а его расцарапанное лицо не менее красноречиво повествовало о талантах супруги совсем иного свойства.

Эта амазонка не могла дольше выносить позорного бегства своих соратников. Она вдруг остановилась и громко воззвала к бегущим:

- Не стыдно ли вам, о мужи или, вернее, о жены сомерсетширские, бежать от одной женщины! Если никто не желает вступить с ней в единоборство, то я и Джоана Топ - мы вдвоем разделим честь победы!

Сказав это, она ринулась на Молли Сигрим, ловко вырвала из ее руки берцовую кость и сорвала с головы чепчик. Потом, вцепившись левой рукой в волосы своей противницы, она правой рукой так смазала ее по лицу, что у той тут же из носу потекла кровь. Тем временем и Молли не дремала. Она живо стащила повязку с головы тетушки Браун и, запустив ей в волосы одну руку, другой, в свою очередь, пустила ей из ноздрей кровавую струю.

После того как обе воительницы выдернули друг у друга по густому клоку волос, ярость их обратилась на платья. В этой битве они действовали с таким ожесточением, что через несколько минут были обе обнажены до пояса.

Счастье для женщин, что во время кулачного боя они метят не в то место, что мужчины; правда, затеяв драку, они несколько насилуют природу своего пола, однако я заметил, что женщины при этом никогда не забываются до такой степени, чтобы наносить друг другу удары в грудь, которые были бы роковыми для большинства из них. Насколько мне известно, некоторые объясняют это их большей кровожадностью по сравнению с мужчинами. Вот почему они избирают своей мишенью нос, как часть тела, откуда легче всего добыть кровь. Но такое объяснение кажется мне слишком натянутым и зlostным.

Тетушка Браун имела большое преимущество перед Молли по этой части: у нее вовсе не было грудей, а то, что обыкновенно называется грудью, как две капли воды походило и цветом, и остальными свойствами на кусок старого пергамента, по которому можно барабанить сколько угодно, не причиняя ему большого вреда.

Молли напротив, не говоря уже о теперешнем своем несчастном положении, была сформирована в этой части тела совершенно иначе и, очень может быть, соблазнила бы Браун нанести роковой удар, если бы неожиданное появление Джонса не положило конец кровавой сцене.

Виновником этого счастливого случая был мистер Сквейр. Дело в том, что он, Блайфил и Джонс после службы поехали кататься верхом, но через четверть мили Сквейр, переменив первоначальное намерение (не зря, а с известным умыслом, который мы в своем месте раскроем читателю), предложил молодым людям свернуть на другую дорогу. Те согласились, и дорога эта вскоре привела их снова к погосту.

Ехавший впереди Блайфил, увидя толпу и двух женщин в только что описанном положении, остановил лошадь и спросил, что это значит. Крестьянин, к которому он обратился, ответил, почесывая затылок:

- Не знаю, сударь. С позволения вашей милости, сдается мне, вышла драка между тетушкой Браун и Молли Сигрим.

- Кем, кем? - закричал Том; но, узнавши черты своей Молли, несмотря на то что они были так сильно обезображены, он не дождался ответа, быстро соскочил с лошади, бросил поводья и, перепрыгнув через ограду, побежал к ней.

Тогда Молли, в первый раз залившись слезами, рассказала ему, как жестоко с

ней обошлись. Услышав это, Том позабыл о том, какого пола тетушка Браун, а может быть, в гневе и вовсе не разобрал его,- ибо, по правде говоря, в наружности ее только и было женского, что юбка, на которую он мог не обратить внимания,- и раза два стегнул ее кнутом. Потом, бросившись на толпу, которую Молли обвинила всю огулом, он стал так щедро расточать ей удары, что, не обратившись снова к музе за помощью (каковую сердобольный читатель сочтет, пожалуй, слишком для нее обременительной,-и без того ведь она изрядно для нас попотела), я не в силах буду изобразить великое побоище, разыгравшееся в тот день.

Очистив поле от неприятеля, словно какой-нибудь гомеровский герой, а может быть, Дон Кихот или иной странствующий рыцарь, Том вернулся к Молли, которую нашел в таком положении, что описание его не доставило бы удовольствия ни мне, ни читателю. Том бушевал, как сумасшедший, колотил себя в грудь, рвал на себе волосы, топал ногами и клялся жесточайше отомстить всем, замешанным в этом деле. Потом он снял с себя кафтан и накинул его на Молли, надел ей на голову свою шляпу, отер кое-как своим платком кровь с ее лица и приказал слуге скорее скакать за дамским седлом или седельной подушкой, чтобы бережно отвезти ее домой. Блайфил стал было возражать, говоря, что с ними только один слуга, но Сквейр поддержал приказание Джонса, и ему пришлось покориться.

Слуга скоро вернулся с подушкой, и Молли, прикрывшись кое-как лоскутьями своего платья, села позади него. Таким способом она была доставлена домой в сопровождении Сквейра, Блайфила и Джонса.

Тут Джонс надел опять свой кафтан, тайком поцеловал ее и, шепнув, что вечером вернется, покинул свою Молли и поскакал за спутниками.

ГЛАВА IX,

в которой содержатся события далеко не мирного свойства

Едва только Молли переоделась в свои обычные лохмотья, как на нее с ожесточением набросились сестры, особенно старшая, говорившая, что поделом ей досталось.

- Надо же иметь такую наглость: нарядиться в платье, которое барышня Вестерн подарила нашей матери! - кричала она.- Если уж кому из нас носить его, так, кажется, я скорее имею на это право! Но ты, конечно, решила, что оно принадлежит твоей красоте. Ведь ты, поди, не шутя уверена, что лучше нас всех.

- Достань-ка ей из шкафа осколок зеркала,- подхватила другая.- Надо бы раньше смыть кровь с лица, а потом уж хвалиться красотой.

- Лучше бы слушала священника, а не любезников,- не унималась старшая.

- Твоя правда, дочка,- сказала, всхлипывая, мать.- Осрамила она всех нас. В нашей семье еще не бывало потаскух.

- Вы не имеете права попрекать меня, матушка! - закричала Молли.- Ведь моя старшая сестра родилась через неделю после вашей свадьбы.

- Так что ж за важность, что родилась, негодница ты этакая! - отвечала взбешенная мать.- Ведь я сделалась тогда честной женщиной. Кабы и ты собиралась стать честной, я бы не сердилась; но тебе непременно нужно связаться с барчуком, шлюха поганая! Вот и будешь иметь незаконное дитя, попомни мое слово. А пусть-ка кто-нибудь скажет, что у меня были незаконные!

За этим спором застал их Черный Джордж, когда вернулся домой с упомянутым поручением. Так как его жена и три дочери говорили все разом, и даже не говорили, а кричали, то прошло немало времени, прежде чем ему удалось вставить слово; воспользовавшись случаем, он изложил семье поручение Софьи.

Тетушка Сигрим снова напустилась на дочь:

- В хорошенькое положение ты нас поставила! Что скажет барышня о твоём брюхе? Ну и дожила я до денечка!

- Какое же это драгоценное местечко выхлопотали вы для меня, батюшка?

запальчиво спросила дочь (сторож не совсем понял фразу Софьи о том, что она хочет взять Молли к себе).- Верно, прислуживать повару? Но я не стану мыть посуду для всякого. Мой барчук лучше обо мне позаботится. Поглядите, что он мне сегодня подарил. Он сказал, что я никогда не буду нуждаться в деньгах; и вы тоже не будете нуждаться, матушка, если придержите свой язычок и будете понимать свою пользу.

С этими словами она достала несколько гиней и одну из них дала матери.

Едва только старуха почувствовала в своем кулаке золото, как сердце ее смягчилось (столь могущественно действие этой панацеи).

- Нужно же быть таким олухом,- напустилась она на мужа,- чтобы не спросить, на какое место ее хотят поставить, прежде чем давать свое согласие! Может быть, и взаправду, как Молли говорит, ее думают сунуть на кухню. Нет уж, не позволю моей дочери идти в судомойки! Хотя я и бедная, а благородная. Я ведь из духовного звания; правда, отец мой умер в долгах и не дал мне в приданое ни шиллинга, так что мне пришлось выйти за бедняка, но я помню, кто я такая. Вот еще! Лучше бы барышня Вестерн на себя оглянулась да припомнила, кто был ее дедушка. Небось пешком ходил, когда мой дедушка в собственной карете разъезжал. Прислала свое старое платье, а, побожусь, воображает - невесть какое благодеяние сделала! Да бабушка моя не нагнулась бы, чтобы такие лохмотья на улице подобрать! Но бедными людьми всегда помыкают. И чего, правда, приход так разъярился на Молли? Ты бы сказала им, дочка, что бабушка твоя носила платья и получше, да еще новенькие, прямо из лавки!

- Ну, так что же мне отвечать барышне? - спросил Джордж.

- А я почему знаю? - сказала жена.- Вечно нам от тебя одни только неприятности. Помнишь, как ты застрелил куропатку, от которой пошли все наши несчастья? Не я ли советовала тебе не ходить на землю сквайра Вестерна? Я ли не твердила столько лет подряд, что добра от этого не будет? Но тебе непременно надо делать все по-своему, мерзавец!

Черный Джордж был вообще человек миролюбивый, не горячий и не вспыльчивый, но в его натуре было кое-что из того, что древние называли гневливостью и чего жена его, будь она благоразумнее, должна была бы опасаться. Он давно знал по опыту, что если буря разбушевалась, то логические доводы - это ветер, который не успокаивает ее, а только пуще разъяряет. Поэтому он почти всегда имел при себе хлыст - чудодейственное лекарство, многократно им использованное, и слово "мерзавец" послужило сигналом к его применению.

Итак, едва только появился этот симптом, как он тотчас же прибегнул к названному лекарству, которое, как это обыкновенно бывает со всеми сильно действующими средствами, сначала как будто усилило и обострило болезнь, однако скоро принесло облегчение, вернув пациенту полное спокойствие и самообладание.

Средство это принадлежит к числу лошадиных, и, чтобы его переварить, требуется очень крепкое сложение; поэтому оно уместно только среди простого народа, за исключением одного только случая, именно - когда внезапно дает себя знать превосходство происхождения; мы считали бы, что в этом случае к нему вправе прибегнуть всякий муж, если бы его применение не являлось само по себе настолько гнусным и, подобно известным физическим операциям, называть которые не стоит, настолько унижающим и марающим руку, которая его пускает в ход, что для порядочного человека невыносима самая мысль о чем-то столь гадком и позорном.

Скоро присмирела и вся семья, ибо сила употребленного сторожем средства, подобно силе электричества, часто передается от одного лица к другим, не вступающим в непосредственное соприкосновение с прибором. Невольно напрашивается мысль, уж нет ли между этими двумя силами, действующими обе посредством трения, чего-то общего? Хорошо, если бы мистер Фрик исследовал этот вопрос в новом издании своей книги.

Было устроено совещание, на котором после долгих прений решили, что так как Молли упорно отказывается поступить на службу, то тетушка Сигрим сама пойдет к мисс Вестерн и постарается выхлопотать у нее место для старшей дочери, которая изъявила большую готовность занять его; но Фортуна, видно, была большим врагом семейства Сигрим и не позволила этой девице осуществить свое намерение.

ГЛАВА X

История, рассказанная мистером Саплом, приходским священником. Проницательность сквайра Вестерна. Его великая любовь к дочери, за которую та платит ему взаимной любовью

На другой день утром Том Джонс охотился с мистером Вестерном и по возвращении с охоты был приглашен этим джентльменом к обеду.

Прелестная Софья сияла весельем и оживлением более чем обыкновенно. Ее батареи были явно направлены на нашего героя, хотя, мне кажется, сама она едва ли сознавала собственные намерения; но если она хотела пленить его, то теперь ей это удалось.

В числе гостей находился мистер Сапл, приходский священник в имении мистера Олверти. Это был добрый и почтенный человек, замечательный главным образом своей необыкновенной молчаливостью за столом, хотя рот его не закрывался ни на минуту. Короче говоря, он обладал превосходнейшим аппетитом. Но едва только убрали со стола, как он щедро искупал свое молчание, ибо был человек душевный, и беседа его часто бывала занимательна и в то же время ни для кого не оскорбительна.

Войдя в столовую как раз перед подачей ростбифа, он объявил, что привез новости, и начал было уже рассказывать, что он сию минуту от мистера Олверти, как вид ростбифа поразил его немотой, позволив ему только преподать благословение и сказать, что он должен засвидетельствовать свое почтение баронету, как он величал говяжий филей.

По окончании обеда Софья напомнила ему об обещанных новостях, и он рассказал следующее:

- Я думаю, сударыня, вчера в церкви на вечерне ваша милость заметили молодую женщину, одетую в одно из ваших заморских платьев; помнится, я как-то видел его на вашей милости. Однако в деревне такой наряд

Rara avis in terris, nigroque simillima cygno,

что означает, сударыня: "Редкая на земле птица, вроде как черный лебедь". Это стих Ювенала. Но вернемся к тому, о чем я хочу рассказать. Я сказал, что такой наряд - диковинное зрелище в деревне, особенно если принять во внимание, на ком он был надет: Мне передают, что в нем щеголяла дочь Черного Джорджа, полевого сторожа вашей милости; я было думал, что несчастья научат бедняка уму-разуму и он не станет наряжать своих девчонок в яркие тряпки. Она вызвала такое волнение среди молящихся, что если бы сквайр Олверти не успокоил их, так пришлось бы прервать службу; я готов уже был остановиться на середине во время первого чтения Священного писания. Но как бы там ни было, по окончании богослужения, когда я ушел домой, из-за этого платья на погосте завязалась баталия, и в свалке, наряду с другими увечьями, была проломлена голова одного странствующего скрипача. Сегодня утром этот скрипач явился к сквайру Олверти с жалобой, и девчонка была вызвана в суд. Сквайр хотел было покончить дело мировой, как вдруг (прошу извинения у вашей милости) обнаружилось, что красавица на сносях. Сквайр спросил ее, кто отец ребенка, но она наотрез отказалась отвечать. Таким образом, когда я уехал, он уже собирался отдать приказ о заключении девушки в исправительный дом.

- Так эта брюхатая девчонка - все ваши новости? - воскликнул Вестерн.- А я-то думал, вы нам расскажете что-нибудь о политике, о государственных делах.

- Пожалуй, случай действительно заурядный,- отвечал священник,- но мне

казалось, что историю все же стоило рассказать. А что касается политических новостей, то ваша милость знает их лучше меня. Мои сведения не простираются за пределы моего прихода.

- Да, конечно,- сказал сквайр,- в политике я кое-что смыслю, как вы изволили сказать. Пей, Томми, бутылка перед тобой.

Том попросил извинения, сославшись на неотложное дело; он встал из-за стола, увернулся от лап сквайра, вскочившего, чтобы удержать его, и вышел без дальнейших церемоний.

Сквайр послал ему вслед крепкое словцо и, обратись к Саплу, воскликнул:

- Чую! Носом чую! Том, наверно, отец этого ублюдка. Ферт! Помните, как он расхваливал мне ее отца? Ловкач парень, разрази его гром! Да, да, Том - отец пащенка; это верно, как дважды два!

- Мне было бы очень прискорбно, если бы это оказалось правдой,- сказал священник.

- О чем тут скорбеть? - возразил сквайр.- Экая важность, подумаешь! Надеюсь, ты не станешь сказки рассказывать, что никогда не произвел на свет ублюдка? Как бы не так! Побожусь, что это не раз с тобой случалось!

- Ваша милость изволит шутить,- ответил священник.- Но я выражаю прискорбие не только потому, что это грех,-хотя, конечно, такой поступок заслуживает всяческого сожаления,- но и потому, что это может повредить ему во мнении мистера Олверти. Должен вам сказать, Джонса хоть и считают проказником, но я никогда не замечал ничего дурного в молодом человеке, да и не слышал ничего такого, исключая того, что ваша милость теперь говорит. Мне было бы, конечно, приятно, чтобы его ответы в церкви на мои возгласы были правильнее, но при всем том, он мне кажется

Ingemii vultus puer ingenuique pudoris.

Это тоже из классиков, барышня, и в переводе будет: "Мальчик с прямодушным лицом и непритворной скромностью",- эта добродетель была в высокой чести и у римлян и у греков. Должен сказать, что этот молодой джентльмен (мне кажется, его можно назвать джентльменом, несмотря на его происхождение) представляется мне скромным и воспитанным юношей, и жаль будет, если он сам себе повредит во мнении сквайра Олверти.

- Полноте! - воскликнул сквайр.- Повредит во мнении Олверти! Олверти и сам любит девчонок. Разве не знают все кругом, чей сын Том? Можете говорить это кому-нибудь другому. Я знаю Олверти с колледжа.

- А я думал, что он никогда не был в университете,- сказал священник.

- Был, был,- продолжал сквайр,- и сколько раз мы развлекались с девчонками вместе! Такого отъявленного волокиты на пять миль кругом не было. Полноте, полноте! Том ничуть не повредит себе ни в его мнении, ни в чьем бы то ни было. Спросите хоть Софью. Скажи, дочка, ведь молодой человек не уронит себя в твоих глазах, если ему случится сделать ребенка?.. Нет, нет, женщины таких молодцов еще больше любят!

Этот вопрос жестоко задел бедную Софью. Она заметила, как Том переменялся в лице при рассказе священника, и это обстоятельство, вместе с его поспешным и бесцеремонным уходом, дало ей достаточное основание думать, что догадка отца имеет под собой некоторую почву. Сердце вдруг разоблачило ей великую тайну, которую до сих пор приоткрывало лишь понемногу, и она обнаружила, что услышанная новость ее глубоко волнует. При таких условиях неожиданно обращенный к ней циничный вопрос отца вызвал на ее лице некоторые симптомы, которые встревожили бы чуткое сердце; но сквайр, нужно отдать ему справедливость, не страдал этим недостатком. Поэтому, когда Софья поднялась со своего места и сказала отцу, что по одному его намеку она всегда готова удалиться, он позволил ей уйти и потом, как ни в чем не бывало, заметил, что видеть в дочери чрезмерную

скромность куда приятнее, чем чрезмерную развязность,- суждение, которое было горячо одобрено священником.

После этого между сквайром и священником завязался оживленный разговор на политические темы, заимствованные из газет и злободневных брошюр, в продолжение которого собеседники выпили за благоденствие отечества четыре бутылки вина, а когда сквайр почти совсем заснул, священник закурил трубку, сел на лошадь и поехал домой.

Продремав полчаса, сквайр позвал Софью поиграть на клавикордах, но та попросила уволить ее на этот вечер, сославшись на сильную головную боль. Просьба дочери была тотчас же уважена, ибо сквайр редко заставлял ее просить себя дважды: он так горячо любил Софью, что, делая ей угодное, обыкновенно доставлял величайшее удовольствие и себе. Она была действительно его любимой деточкой, как он часто называл ее, и вполне заслужила такую любовь, потому что отвечала на нее самой безграничной привязанностью. Пунктуальнейшим образом исполняла она все свои дочерние обязанности, и любовь делала их не только легкими, но и настолько приятными, что, когда одна из ее подруг вздумала посмеяться над ней за то, что она видит заслугу в своем мелочном, по выражению этой девицы, повиновении отцу, Софья отвечала:

- Вы ошибаетесь, сударыня, если думаете, что я считаю это заслугой: просто я исполняю свой долг и нахожу в этом большое удовольствие. Право же, я не знаю высшего наслаждения, чем умножать счастье моего отца, и если горжусь, дорогая моя, то не тем, что я делаю, а тем, что обладаю возможностью это делать.

Однако в тот вечер бедняжка Софья была неспособна испытать это наслаждение. Поэтому она не только уговорила отца освободить ее от клавикордов, но испросила также позволение не присутствовать за ужином. И эту просьбу дочери сквайр уважил, хоть и не очень охотно, потому что любил всегда видеть ее возле себя. если только не был поглощен лошадьми, собаками или бутылкой. Тем не менее он уступил желанию дочери, хотя и принужден был, чтобы избавить себя, если можно так выразиться, от общества собственной персоны, послать за соседом-фермером и провести вечер с ним.

ГЛАВА XI

Молли Сигрим удастся спастись. Несколько замечаний, ради которых мы вынуждены глубоко копнуть человеческую природу

Том Джонс охотился в то утро на лошади, принадлежащей мистеру Вестерну, а так как собственной его лошади на конюшне у сквайра не было, то ему пришлось возвращаться домой пешком; он так торопился, что пробежал больше трех миль в полчаса.

В самых воротах усадьбы мистера Олверти он встретил констебля и полицейских, которые вели Молли в тот дом, где людям низкого звания преподается добрый урок, именно - уважение и почтение к своим господам; там им наглядно показывают огромное различие, проводимое Фортуной между людьми, которые подлежат наказанию за свои промахи, и людьми, которые такому наказанию не подлежат; если этого урока они не усваивают, то, боюсь, исправительный дом вообще не дает им почти ничего поучительного и способствующего улучшению их нравственности.

Юристу может, пожалуй, показаться, что в настоящем случае мистер Олверти немного превысил свою власть. Откровенно говоря, и я не вполне убежден в совершенной правильности его решения, потому что им не было произведено формального следствия. Но так как намерения у него были честные, то он должен быть оправдан *in for conscientiae*¹² особенно если принять во внимание, сколько произвольных решений выносятся ежедневно судьями, у которых нет и такого оправдания.

Едва только Том узнал от констебля, куда они направляются (о чем, впрочем, он отлично догадался и сам), как заключил при всех Молли в свои объятия и, нежно прижав ее к груди, поклялся, что убьет первого, кто вздумает прикоснуться к ней. Он велел ей отереть слезы и успокоиться, ибо, куда бы она ни пошла, он последует за ней. Затем, обратившись к констеблю, который стоял, весь дрожа, сняв шапку, он очень вежливо попросил его вернуться с ним на минуту к отцу (так называл он теперь Олверти), потому что он, Джонс, твердо уверен, что после тех показаний, которые он сделает в пользу этой девушки, она будет оправдана.

Констебль, который - я в том не сомневаюсь - отпустил бы арестованную по требованию Тома, весьма охотно согласился исполнить его просьбу. И вот все они вместе вернулись в зал, где мистер Олверти чинил суд. Том велел своим спутникам подождать, а сам пошел искать своего покровителя. Найдя его, он бросился ему в ноги и, попросив выслушать его терпеливо, признался, что он отец ребенка, которым беременна Молли. Он умолял о сострадании к бедной девушке, говоря, что если тут вообще есть вина, то она лежит главным образом на нем.

- Если тут вообще есть вина! - с негодованием воскликнул Олверти.- Неужели ты такой оголтелый и отъявленный распутник, что еще сомневаешься, есть ли какая-нибудь вина в нарушении законов божеских и человеческих, в обольщении бедной девушки и в ее падении? Ты совершенно прав, говоря, что вина лежит главным образом на тебе, и вина эта настолько тяжелая, что ты должен ожидать самого сурового наказания.

- Пусть меня постигнет самая тяжелая кара,- сказал Том,- лишь бы мое ходатайство за бедняжку не оказалось напрасным! Сознаюсь, я обольстил ее, но погибнет ли она, это зависит от вас. Ради самого неба, сэр, отмените ваше приказание и не посылайте ее туда, где ее гибель неотвратима.

Олверти велел ему немедленно позвать слугу. Том отвечал, что в этом нет надобности, потому что он, к счастью, встретил Молли под стражей у ворот и, полагаясь на доброту Олверти, привел ее обратно в судебный зал, где она теперь и ожидает его окончательного приговора; сам же он на коленях умоляет своего благодетеля о том, чтобы его приговор был милостив для девушки, чтобы ей было позволено вернуться в родительский дом и не подвергаться еще большему стыду и позору, чем тот, который и так падет на нее.

- Я знаю,- говорил он,- как это тяжело. Я знаю, что моя распущенность была виной всему. Постараюсь загладить свою вину, если это возможно, и если вы тогда будете настолько добры, что простите меня, то я надеюсь доказать, что достоин прощения.

После некоторого колебания Олверти сказал:

- Хорошо, я отменю свой приговор. Можешь позвать ко мне констебля.

Явившийся констебль был тотчас отпущен; была отпущена также и Молли.

Читатель может не сомневаться, что мистер Олверти прочитал по этому случаю Тому строгое наставление; но нам нет нужды приводить его здесь, так как мы уже в точности передали в первой книге то, что было им сказано Дженни Джонс, и так как большая часть речи мистера Олверти годится для мужчин не хуже, чем для женщин. Выговор сквайра оказал такое сильное действие на юношу, который не был закоренелым грешником, что он удалился в свою комнату, где и провел весь вечер в мрачных размышлениях.

Олверти был сильно возмущен проступком Джонса; ибо, несмотря на уверения мистера Вестерна, этот почтенный человек не предавался распутству с женщинами и сильно осуждал порок невоздержания в других. Действительно, у нас есть полное основание думать, что в речах мистера Вестерна не было ни слова правды, тем более что он сделал ареной подвигов своего друга университет, где мистер Олверти никогда не был. Словом, добрейший сквайр, пожалуй, чересчур склонен был давать

волю тому роду балагурства, которое обыкновенно называется бахвальством, но которое с таким же правом можно было бы обозначить одним более коротким словечком. Мы, может быть, слишком часто заменяем это односложное словечко другими, и ко многому из того, что почитается в свете за остроумие и юмор, следовало бы, соблюдая чистоту языка, прилагать это краткое наименование, которого я, как человек благовоспитанный, здесь не привожу.

Но при всем отвращении как к этому, так и ко всякому другому пороку мистер Олверти не был настолько ослеплен своим чувством, чтобы не видеть в виновном также и хороших качеств с такой же ясностью, как если бы к ним вовсе не было примешано дурных. Поэтому, возмущаясь невоздержанностью Джонса, он от всей души радовался его честному и благородному самообвинению. В уме его начало складываться то понятие об этом юноше, какое, вероятно, уже составилось о нем у нашего читателя. Мысленно кладя на чашу весов его недостатки и достоинства, он считал что перевешивают скорее последние.

Вот почему напрасно Тваком, получивший от мистера Блайфила подробный отчет о случившемся, ругал на чем свет стоит бедного Тома. Терпеливо выслушав все его обвинения, Олверти холодно ответил, что вообще молодые люди такого темперамента, как Том, очень расположены к этому пороку; но он думает, что слова, сказанные им, Олверти, по этому поводу, искренне тронули юношу, и надеется, что Том больше грешить не будет. Так как дни порки миновали, то наставник мог излить свою желчь только при помощи языка - обычный жалкий способ бессильного мщения.

Но Сквейр, человек не такой горячий, действовал хитрее: ненавидя Джонса, может быть, еще больше, чем Тваком, он придумал более тонкий способ повредить ему во мнении мистера Олверти.

Читатель, может быть, помнит маленькие происшествия с куропаткой, лошастью и Библией, которые были изложены в третьей книге. Своим тогдашним поведением Джонс скорее укрепил, чем поколебал привязанность, которую склонен был питать к нему мистер Олверти. Те же чувства, мне кажется, он вызвал бы и во всяком, кто имеет какое-либо представление о дружбе, благородстве и величии духа, то есть в ком есть хоть капля доброты.

Сквейру известно было, какое впечатление эти несколько примеров доброты произвели на благородное сердце Олверти, ибо философ прекрасно знал, что такое добродетель, хотя, быть может, и не всегда был стоек в ней. Но Твакому-по какой причине, решить не берусь - мысли эти никогда не приходили в голову; он видел Джонса в дурном свете и воображал, что и Олверти видит его в таком же свете и только из гордости и упрямства решил не отступаться от мальчика, которого он с такой любовью воспитал, так как в противном случае сквайру пришлось бы молчаливо признать, что его первоначальное мнение о Томе было ошибочным.

И вот философ воспользовался настоящим случаем, чтобы исказить самые нежные чувства Джонса, истолковав все вышеупомянутые происшествия в дурном смысле.

- Мне очень прискорбно, сэр,- сказал он,- признаться в том, что, подобно вам, я поддался обману. Я не мог не чувствовать удовольствия при виде поступков, побудительной причиной которых считал дружбу; правда, дружба эта была неумеренно восторженная, а всякая неумеренность ошибочна и порочна; однако в молодости такие вещи простительны. Мне и в голову не приходило, что истина, которую мы оба считали принесенной в жертву дружбе, была на самом деле поругана в угоду низкой и порочной страсти. Теперь вы ясно видите, где источник всего этого мнимого великодушия Джонса к семье сторожа. Он поддерживал отца, чтобы легче было обольстить дочь, и спасал семью от голодной смерти, чтобы опозорить и погубить одного из членов этой семьи. Вот так дружба! Вот так великодушие! Как говорит сэр Ричард Стиль: "Гастрономы, платящие большие деньги за лакомства,

вполне заслуживают названия людей щедрых". Словом, с этой минуты я решил никогда больше не поддаваться слабости человеческой природы и буду считать добродетелью лишь то, что согласно во всей точности с непогрешимым законом справедливости.

Доброта Олверти преградила этим соображениям доступ в его ум, однако, представленные другим, они были слишком логичны для того, чтобы решительно их отвергнуть. Слова Сквейра глубоко запали в его душу, и порожденная ими тревога не укрылась от внимания философа, хотя Олверти и не хотел в ней признаться, ответив что-то незначительное, и круто перевел разговор на другую тему. К счастью для Тома, эти предположения были высказаны уже после того, как он получил прощение, ибо, несомненно, оставленное ими в душе Олверти впечатление было впервые неблагоприятно для Джонса.

ГЛАВА XII,

содержащая предметы более ясные, но проистекающие из того же источника, что и изложенные в предыдущей главе

Читатель, думаю, с удовольствием вернется со мной к Софье. Она провела не очень приятную ночь после нашего последнего свидания с ней. Сон мало облегчил ее, сновидения-еще меньше. Утром, когда горничная ее, миссис Гонора, явилась к ней в обычный час, она застала ее уже на ногах и одетой.

В деревне лица, живущие за две или за три мили, считаются близкими соседями, и вести о случившемся в одном доме с невероятной быстротой перелетают в другой. Поэтому миссис Гонора знала уже во всех подробностях историю позора Молли; нрава она была очень общительного, так что не успела войти в комнату своей госпожи, как уже начала рассказывать ей следующее:

- Как вам это понравится, сударыня? Девушка, которую ваша милость видели в воскресенье в церкви и нашли ее такой хорошенькой,- впрочем, вы бы не нашли ее такой хорошенькой, если б увидели поближе,- так, верьте слову, ее водили к судье за то, что она брюхата. Мне она показалась заправской шлюхой, и, верьте слову, она указала на молодого мистера Джонса. И весь приход говорит, что мистер Олверти до того разгневался на молодого мистера Джонса, что на глаза его не пускает. Верьте слову, так жаль бедненького, а только не стоит он того, чтоб жалеть: можно ли было с такой дрянью путаться! А ведь красавчик какой! Жаль мне будет, если его выгонят из дому. Побожиться готова, что девка такая же прыткая, как и он. Ох, уж и прыткая! А когда девчонки сами кидаются, так молодцов за что же бранить? Они делают то, что естество велит. Право же, не пристало им с такими замарахами связываться, а если что случилось, так и поделом им. А только, верьте слову, потаскухи эти больше виноваты. Желала б я от всего сердца, чтоб ей хорошенько всыпали на задке телеги! Жалость какая: погубить такого красавчика! Ведь никто не посмеет отрицать, что мистер Джонс один из самых красивых молодых людей, какие только...

Так она тараторила бы без конца, если бы Софья не перебила ее, крикнув более раздраженным голосом, чем обычно:

- Скажи, пожалуйста, что ты беспокоишь меня всеми этими дрязгами? Какое мне дело до походов мистера Джонса? Все вы, наверно, одинаковы. Право, кажется, тебе досадно, что это случилось не с тобой.

- Со мной, сударыня?- воскликнула миссис Гонора.- Обидно слушать такие слова от вашей милости. Поклянусь, никто обо мне этого не скажет! По мне, хоть провались все молодые парни на свете. Что из того, что я назвала его красавчиком? Все говорят это, не я одна. Верьте слову, никогда не думала, чтобы о молодом человеке нельзя было сказать, что он хорош собой; верьте слову, никогда больше не буду думать о нем так. Потому что хорош тот, кто хорошо себя ведет. С нищей девчонкой...

- Да перестань ты наконец вздор молоть! - закричала Софья.- Поди лучше узнай,

не ждет ли меня батюшка к завтраку.

Миссис Гонора выскочила из комнаты, ворча что-то под нос. "Ну и дела, доложу вам!" - вот все, что можно был о разобрать.

Действительно ли миссис Гонора заслуживала того подозрения, которое было высказано ее госпожой, насчет этого мы не в состоянии удовлетворить любопытство читателя. Однако мы вознаградим его, изобразив то, что происходило в душе Софьи.

Благоволите припомнить, читатель, как тайное влечение к мистеру Джонсу незаметно закралось в сердце молодой девушки и как оно там выросло в очень сильное чувство, прежде чем она успела его заметить. Когда Софья впервые начала сознавать его симптомы, ощущения ее были так сладки и приятны, что она не могла решиться подавить или прогнать их и продолжала лелеять страсть, о последствиях которой никогда не размышляла.

Происшествие с Молли впервые открыло ей глаза. В первый раз сознала она слабость, в которой была повинна, и хотя это глубоко ее взволновало, но имело также действие рвотного: на время выгнало болезнь. Процесс совершился с изумительной быстротой; за короткое время отсутствия горничной все симптомы болезни исчезли, так что, когда миссис Гонора вернулась сказать, что отец ждет ее, Софья уже вполне овладела собой и чувствовала полное равнодушие к мистеру Джонсу.

Болезни души почти во всех мелочах сходны с болезнями тела. По этой причине, надеемся мы, ученое сословие, к которому мы питаем глубочайшее уважение, извинит нас за похищение некоторых слов и выражений, по праву ему принадлежащих; мы вынуждены были прибегнуть к этому, иначе наши описания часто оставались бы непонятными.

Но самое разительное сходство между недугами души и так называемыми телесными недугами заключается в склонности тех и других к рецидивам. С особенной ясностью это видно на болезнях честолубия и корыстолюбия. Я знал честолубцев, излеченных постоянными неудачами при дворе (которые являются единственным лекарством против этой болезни), но снова заболевших во время борьбы за место старшины совета присяжных; слышал я также об одном скряге, который настолько справился со своей болезнью, что издержал много шестипенсовиков, но на смертном ложе утешил себя напоследок, заключив ловкую и выгодную сделку насчет собственных похорон с гробовщиком, женатым на его единственной дочери.

В любовной страсти, которую в строгом согласии со стоической философией мы будем изображать здесь как болезнь, эта склонность к рецидивам не меньше бросается в глаза. Так случилось и с бедняжкой Софьей. После первой же встречи с Джонсом все прежние симптомы возобновились, и с той поры ее бросало то в жар, то в холод.

Положение молодой девушки теперь сильно отличалось от прежнего. Страсть, прежде доставлявшая ей тонкое наслаждение, стала теперь скорпионом в груди ее. Она боролась с ней всеми силами и пользовалась всяким доводом, какой только приходил ей на ум (не по летам, у нее сильный), чтобы одолеть и прогнать ее. Борьба была успешна, и Софья начала уже надеяться, что время и разлука совершенно излечат ее. Поэтому она решила по возможности избегать встреч с Томом Джонсом; с этой целью она стала строить план поездки к тетке, не сомневаясь, что отец даст на это свое согласие.

Но Фортуна, у которой были другие планы, в корне пресекла все эти замыслы, подготовив несчастный случай, который будет изложен в следующей главе.

ГЛАВА XIII

Ужасный случай с Софьей. Рыцарское поведение Джонса и еще более ужасные последствия этого поведения для молодой девушки, а также краткое отступление в

честь женского пола

Нежное чувство мистера Вестерна к дочери росло с каждым днем, так что даже его любимые собаки начали уступать Софье первое место в его сердце; но так как он все-таки не мог с ними расстаться, то придумал очень хитрое средство наслаждаться их обществом одновременно с обществом дочери, уговорив ее ездить с ним на охоту.

Софья, для которой слово отца было законом, с большой готовностью согласилась исполнять его желание, хотя это грубое мужское развлечение, мало отвечавшее ее наклонностям, не доставляло ей никакого удовольствия. Но, кроме послушания, была еще и другая причина, побуждавшая ее сопровождать старика во время его выездов: своим присутствием она надеялась до некоторой степени охлаждать его пыл и оберегать от опасности сломать шею, которой он подвергался на каждом шагу.

Скорее всего ее могло удержать то обстоятельство, которое прежде было бы для нее приманкой, именно: частые встречи с Джонсом, которого она решила избегать. Но приближался уже конец охотничьего сезона, и Софья надеялась, что кратковременное пребывание у тетки совершенно излечит ее от несчастной страсти; она уверяла себя, что в следующий сезон будет встречаться с ним без малейшей опасности.

На второй день охоты Софья возвращалась домой и уже подъезжала к усадьбе мистера Вестерна, как вдруг ее лошадь, горячий нрав которой требовал более опытного седока, принялась скакать и брыкаться с такой резвостью, что всадница каждую минуту готова была выпасть из седла. Том Джонс, ехавший на небольшом расстоянии, увидел это и поскакал к ней на помощь. Поравнявшись с Софьей, он соскочил на землю и схватил ее лошадь за узду. Строптивное животное тотчас же взвилось на дыбы и сбросило свою драгоценную ношу прямо в объятья Джонса.

Софья была так перепугана, что не сразу могла ответить Джонсу, заботливо спрашивавшему, не ушиблась ли она. Однако вскоре она пришла в себя, сказала, что с ней все благополучно, и поблагодарила его за внимание и помощь.

- Если я оказал вам услугу, сударыня,- отвечал Джонс,- то я щедро вознагражден. Поверьте, я охотно охранил бы вас от малейшего ушиба ценой гораздо большего несчастья, чем то, которое случилось со мной.

- Какое несчастье? - встревоженно спросила Софья.- Надеюсь, ничего опасного?

- Не беспокойтесь, сударыня,- отвечал Джонс.- Слава богу, что вы отделались так счастливо, принимая во внимание грозившую вам опасность. Если я сломал руку, то это пустяк по сравнению с моим страхом за вас.

- Сломали руку?! Упаси боже! - вскричала Софья.

- Боюсь, что это так, сударыня,- сказал Джонс.- Но прошу вас, позвольте мне сначала позаботиться о вас. Моя правая рука еще к вашим услугам, и я проведу вас через ближайшее поле, откуда близехонько до дома вашего батюшки.

Увидя, что его левая рука висит без движения, между тем как правой рукой он ее поддерживает, Софья больше не сомневалась в том, что произошло. Она побледнела гораздо сильнее, чем несколько минут тому назад, когда испугалась за собственную участь, и затрепетала всем телом, так что Джонс с трудом мог поддерживать ее. Не менее велико было также смятение ее мыслей; в невольном порыве бросила она на Джонса взгляд, нежность которого свидетельствовала о чувстве, какого ни благодарность, ни сострадание, даже вместе взятые, не в силах пробудить в женской груди без помощи третьей, более могущественной страсти.

Мистер Вестерн, уехавший было вперед, когда случилось это происшествие, тотчас вернулся вместе с прочими всадниками. Софья немедленно известила о несчастье, постигшем Джонса, и просила позаботиться о нем. Вестерн, который был сильно встревожен, увидев ее лошадь без седока, настолько обрадовался, найдя дочь невредимой, что воскликнул:

- Хорошо, что не случилось чего-нибудь хуже! А если Том сломал руку, так мы пошлем за костоправом, и он ее починит.

Сквайр соскочил с лошади и пошел пешком домой с дочерью и Джонсом. Непосвященный человек при встрече с ними, наверное, заключил бы по выражению их лиц, что пострадавшей является одна только Софья; у Джонса вид был ликующий: должно быть, он радовался, что спас жизнь девушки только ценой переломанной кости, а мистер Вестерн хотя и не был равнодушен к несчастью, постигшему Джонса, однако гораздо больше радовался тому, что дочь его счастливо миновала опасности.

По благородству своего характера Софья приписала поступок Джонса его великой отваге, и он произвел на ее сердце глубокое впечатление. И то сказать: ни одно качество мужчины так не пленяет женщин, как храбрость, что происходит, если верить ходячему мнению, от природной робости прекрасного пола, которая, по словам мистера Осборна, "так велика, что женщина самое трусливое из всех божьих созданий",- суждение, замечательное больше своей грубостью, чем правильностью. Аристотель в своей "Политике", мне кажется, более справедлив к женщинам, когда говорит: "Скромность и храбрость мужчин отличаются от этих добродетелей в женщинах: храбрость, приличествующая женщине, была бы трусостью в мужчине; а скромность, приличествующая мужчине, была бы развязностью в женщине". Немного также правды в мнении тех, кто выводит пристрастие женщин к храбрым мужчинам из их чрезмерной трусливости. Мистер Бейль (кажется, в статье "Елена") с большим правдоподобием приписывает его крайней любви женщин к славе; в пользу этого мнения говорит авторитет того, кто глубже всех проникал в тайники человеческой природы: в изображении этого художника героя "Одиссеи", величайший образец супружеской любви и верности, указывает на славу своего мужа как на единственный источник своей любви к нему¹³.

Как бы там ни было, это происшествие оставило глубокое впечатление в Софье. И после тщательного исследования всех обстоятельств я склоняюсь к мысли, что в то же самое время прелестная Софья оставила не меньшее впечатление в сердце Джонса; правду сказать, с некоторых пор он начал поддаваться непреодолимому обаянию ее прелести.

ГЛАВА XIV

Прибытие хирурга. Его мероприятия и длинный разговор Софьи со своей горничной

Когда они вошли в дом мистера Вестерна, Софья, которая еле передвигала ноги, повалилась в кресло; однако с помощью нюхательной соли и воды удалось предотвратить обморок, и к приходу хирурга, за которым было послано для Джонса, она совсем оправилась. Мистер Вестерн, приписывавший все эти болезненные явления ее падению, посоветовал ей в качестве меры предосторожности пустить кровь. В этом мнении его поддержал и хирург, который привел столько доводов в пользу кровопускания и столько примеров несчастий вследствие пренебрежения этим средством, что сквайр проявил еще большую настойчивость и решительно потребовал от дочери, чтобы она согласилась.

Софья уступила требованиям отца, хотя и совершенно против своей воли, ибо не ожидала, кажется, тех опасных последствий от испуга, каких боялись сквайр или хирург. Она протянула свою прекрасную руку, и хирург начал приготовление к операции.

Пока слуги приносили все необходимое, хирург, объяснявший нежелание Софьи подвергнуться операции ее страхом, стал ее успокаивать, уверяя, что тут нет никакой опасности и что несчастье при кровопускании может быть лишь следствием какого-нибудь чудовищного невежества шарлатана, берущегося за хирургию,- ясный намек, что в настоящем случае ей бояться нечего. Софья ответила, что она ничуть не боится, добавив:

- Если даже вы откроете мне артерию, я охотно прощу вам.

- Простишь?! - загремел Вестерн.- Да я-то, черт возьми, не прощу! Если этот негодяй сделает тебе больно, так я ему самому всю кровь выпущу!

Хирург согласился на эти условия и приступил к своей операции, которую сделал искусно и быстро, как обещал: он выпустил крови самую малость, сказав, что лучше повторить операцию раза два или три, чем отнять сразу слишком много крови.

После перевязки Софья удалилась; она не хотела (да этого, пожалуй, не позволяли и приличия) присутствовать при операции Джонса. Одним из ее возражений против кровопускания (хотя и не высказанным вслух) было то, что оно задержало бы вправку сломанной кости, ибо Вестерн, когда дело касалось дочери, не обращал никакого внимания на других, а сам Джонс "сидел, как статуя терпения на надгробном памятнике, с улыбкой переносящая горе". Правду сказать, при виде крови, брызнувшей из прелестной руки Софьи, он совершенно позабыл обо всем, что случилось с ним самим.

Хирург первым делом приказал пациенту раздеться до рубашки, после чего, засучив ему рукав до плеча, принялся тянуть в ошупывать обнаженную руку с таким усердием, что Джонс от нестерпимой боли начал делать гримасы. Увидя это, хирург с большим удивлением спросил:

- Что с вами, сэр? Быть не может, чтобы я причинил вам боль,- и, продолжая держать сломанную руку, начал читать длинную и очень ученую лекцию по анатомии, в которой обстоятельно описал все простые и сложные переломы и подверг обсуждению, сколькими разными способами Джонс мог сломать себе руку, с надлежащим пояснением, какие из них были бы лучше и какие хуже настоящего случая.

Окончив наконец свою ученую речь, из которой слушатели, несмотря на благоговейное внимание, вынесли немного, потому что ничего не поняли, он приступил к делу и окончил его гораздо скорее, чем начал.

После этого Джонсу приказали лечь в постель, которую мистер Вестерн предложил ему в своем доме, и приговорили его к кашке.

В числе присутствовавших при вправке кости в зале была и миссис Гонора. Сейчас же по окончании операции ее позвали к госпоже, и на вопрос последней, как себя чувствует молодой джентльмен, она начала изо всех сил расхваливать великодушие, как она выражалась, с которым он держался и которое "уж так было к лицу такому красавчику!". И Гонора разразилась пламенный панегириком красоте Джонса, перечислив все его прелести и закончив описанием белизны его кожи.

Речь эта вызвала изменения на лице Софьи, которые не укрылись бы, может быть, от внимания проницательной горничной, если бы в продолжение своего рассказа она хоть раз взглянула на свою госпожу; но очень удобно стоявшее напротив зеркало предоставило ей случай созерцать черты, которые доставляли ей самое большое наслаждение на свете, так что она ни на минуту не отводила глаз от этого любезного ее сердцу предмета.

Увлечение миссис Гоноры темой своей речи и предметом, находившимся перед ее глазами, позволило госпоже ее оправиться от смущения; она улыбнулась и сказала горничной, что та, "верно, влюблена в этого молодого человека".

- Я влюблена, сударыня? - отвечала Гонора.- Господь с вами, сударыня! Уверяю вас, сударыня, ей-богу, сударыня, я не влюблена.

- А если бы ты и влюбилась,- продолжала Софья,- не понимаю, чего тут стыдиться. Ведь он молодец хоть куда!

- Да, сударыня,- отвечала горничная,- истинная правда, я в жизнь свою не видела мужчины красивее его, верьте слову, не видела; и, правду говорит ваша милость, не знаю, чего мне стыдиться, если б я полюбила его, хотя он и неровня мне. Ведь господа из такого же мяса и крови, как и слуги. А потом, хоть сквайр Олверти и

сделал из мистера Джонса барина, он стоит ниже меня по рождению; я хоть и бедная, а дочь честной женщины: мои батюшка и матушка были повенчаны, а этого иные не могут сказать о своих родителях, хоть и высоко нос задирают. Вот какие дела, доложу вам! Хоть у него и белая кожа - верьте слову, белее я никогда не видывала,- да я такая же христианка, как и он, и никто не смеет сказать, что я подлого звания: дед мой был священник¹⁴ и рассерчал бы на внучку, если б та польстилась на грязные обноски Молли Сигрим.

Может быть, Софья позволила бы миссис Гоноре продолжать в таком же роде, ибо у нее не хватало духу остановить ее расхаживший язык, что, как может судить читатель, вообще было делом нелегким. Но кое-что в ее речах было столь неприятно для слуха госпожи, что она не вытерпела и остановила поток, которому, казалось, конца не будет.

- Удивляюсь,- сказала она,- откуда это у тебя столько дерзости говорить так о приятеле моего отца! Что же касается девчонки, то приказываю никогда не произносить при мне ее имени. А кому нечем больше попрекнуть молодого джентльмена, кроме его происхождения, пусть лучше молчит, что и тебе советую на будущее время.

- Прошу прощения, что прогневила вашу милость,- отвечала миссис Гонора. Верьте слову, и я терпеть не могу Молли Сигрим, как и ваша милость. А что я нехорошо сказала о сквайре Джонсе, так призываю всех слуг в свидетели, что, когда заходит между ними речь о незаконнорожденных, я всегда держу его сторону. Кто из вас, говорю я лакеям, не захотел бы быть незаконнорожденным, если б мог через то стать барин? А чем, говорю, он не барин? Таких белых рук ни у кого на свете не сыщешь, верьте слову, не сыщешь! И такой, говорю, он ласковый, такой добрый; все слуги, говорю, и все соседи кругом любят его. Вот, верьте слову, рассказала бы вашей милости кое-что, да, боюсь, прогневаюсь.

- Что ты рассказала бы, Гонора?- спросила Софья.

- Нет, сударыня, верьте слову, это он без всякого умысла,- так я не хотела бы гневить вашу милость.

- Пожалуйста, расскажи,- настаивала Софья,- я хочу знать сию минуту.

- Извольте, сударыня,- отвечала миссис Гонора.- Вошел он однажды в комнату на прошлой неделе, когда я сидела за шитьем, а на стуле муфта вашей милости лежала, и, верьте слову, засунул в нее руки,- та самая муфта, что ваша милость вчера только мне подарили. "Оставьте, говорю, мистер Джонс, вы растянете барышнину муфту, да и попортите". А он все держит в ней руки, а потом взял да и поцеловал,- верьте слову, отроду такого горячего поцелуя не видывала!

- Должно быть, он не знал, что это моя муфта,- заметила Софья.

- Прошу вашу милость выслушать дальше. Он все целовал да целовал и сказал, что красивее муфты на свете нет. "Полноте, сэр, говорю, вы ее сто раз видели".- "Да, миссис Гонора, говорит, но разве можно заметить что-нибудь прекрасное, когда перед тобой сама красавица?.." Нет, это еще не все, но, я надеюсь, ваша милость не прогневаюсь, ведь, верьте слову, он это только так... Раз ваша милость играли для барина на клавикордах, а мистер Джонс сидел рядом в комнате, грустный такой. "Послушайте, говорю, мистер Джонс, что с вами? О чем так призадумались?" - "Плутовка,- говорит он, очнувшись,- можно ли о чем-нибудь думать, когда ваш ангел барышня играет?" А потом, стиснув мне руку: "Ах, миссис Гонора, говорит, то-то будет счастливее!.." - и вздохнул. А вздох, вот побожусь, душистый, что твой букет! Но, верьте слову, это без всякого умысла. Только, пожалуйста, ваша милость, не проговоритесь: он дал мне крону, чтоб я никому не говорила, и заставил поклясться на книге,-да, кажется, это была не Библия.

Пока не открыли ничего прекраснее алого цвета, я не скажу ни слова о румянце, выступившем на щеках Софьи при этом рассказе.

- Го... но... ра...- проговорила она,- я... если ты не будешь больше говорить об этом мне... и другим тоже, я тебя не выдам... то есть не буду сердиться. Боюсь только твоего языка... Зачем, милая, ты даешь ему столько воли?

- Нет, нет, сударыня,- отвечала Гонора,- скорее я дам его отрезать, чем прогневаю вашу милость. Верьте, словечка не скажу, неугодного вашей милости.

- Так, пожалуйста, больше об этом не рассказывай,- сказала Софья,- а то дойдет до ушей батюшки, и он рассердится на мистера Джонса, хоть я и уверена, что тот, как ты говоришь, делает это без всякого умысла. Я сама рассердилась бы, если бы...

- Нет, нет, ручаюсь вам, сударыня, у него не было никакого умысла. Мне показалось, он словно не в своем уме, да и сам он признался, что он сам себя не помнил, когда говорил эти слова. "Да, сэр, говорю, я тоже так думаю".- "Да, да, Гонора",- говорит... Прошу прощения у вашей милости. Скорее вырву себе язык, чем прогневаю вас.

- Ничего, продолжай,- отвечала Софья,- если ты еще не все рассказала.

- "Да, говорит, Гонора (это было уже после того, как он дал мне крону), я не хлыщ и не негодяй, чтоб думать о ней иначе, как о богине, которой я буду поклоняться и молиться до последнего моего издыхания". Вот и все, сударыня. Ей-богу, все, больше ничего не припомню. Я сама была на него сердита, пока не убедилась, что у него нет никакого дурного умысла.

- Теперь, Гонора, я верю, что ты действительно меня любишь,- сказала Софья.- Намедни я в сердцах отказала тебе, но если ты хочешь оставаться при мне, так оставайся.

- Верьте слову, сударыня,- отвечала миссис Гонора,- я ввек не пожелаю расстаться с вашей милостью. Верьте слову, я все глаза проплакала, когда вы мне отказали. Нужно быть очень неблагодарной, чтобы пожелать уйти от вашей милости: такого хорошего места мне нигде не найти. Всю жизнь прожить и умереть готова при вашей милости. Правду сказал мистер Джонс, бедняжка: счастливцев тот...

Обеденный колокол прервал на этом месте разговор, который произвел столь сильное впечатление на Софью, что утреннее кровопускание оказалось для нее, пожалуй, полезнее, чем она думала во время операции. Что же касается теперешнего состояния души ее, то я придерживаюсь правила Горация: не покушаться на описание чего бы то ни было, если нет надежды на успех. Большая часть читателей легко представит его и собственными силами, а те немногие, которые не могут этого сделать, все равно не поймут его или сочтут неестественным, как бы хорошо я ни изобразил его.

КНИГА ПЯТАЯ,

ОХВАТЫВАЮЩАЯ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ НЕМНОГО БОЛЬШЕ ПОЛУГОДА

ГЛАВА I

О серьезном в литературе, и с какой целью оно нами вводится

Весьма возможно, что наименьшее удовольствие доставят читателю те части этого объемистого произведения, которые стоили автору наибольшего труда. К ним, вероятно, будут причислены вступительные очерки, помещенные нами перед повествовательной частью каждой книги и являющиеся, согласно принятому нами решению, существенно необходимым элементом этого создаваемого нами литературного жанра.

Почему мы пришли к такому решению, этого, строго говоря, объяснять мы не обязаны; довольно будет сказать, что мы положили это необходимым правилом для всякого прозаико-комико-эпического сочинения. Разве кто-нибудь спрашивал, на чем основано строгое единство времени и места, которое признается столь существенным для драматической поэзии? Разве кому-нибудь из критиков задавался когда-нибудь вопрос, почему действие не может продолжаться два дня, а только один или почему зрители (предполагая, что они, подобно избирателям, путешествуют

даром) не могут переноситься за пятьдесят миль, а только за пять? Разве хоть один из комментаторов дал толковое объяснение, почему древний критик поставил драме границы, объявив, что она должна иметь не больше и не меньше пяти действий? Разве пыталась хоть одна живая душа понять, что разумеют наши нынешние театральные судьи под словом низкое, с помощью которого им так счастливо удалось изгнать со сцены всякий юмор и сделать театр скучнее гостиной? Во всех этих случаях люди следуют, по-видимому, правилу нашей юриспруденции, гласящему: *cuicumque in arte sua perito credendum est*¹⁵ ведь трудно себе представить, чтобы у кого-нибудь хватило бесстыдства устанавливать непреложные законы в какой-либо области науки или искусства без всякого на то основания. Вот почему мы склонны думать, что в основе всех этих законов лежат здравые и разумные причины, хотя мы, к несчастью, не способны проникать взором в такую глубину.

Правду сказать, свет чересчур почтителен к критикам и вообразил их людьми гораздо более глубокими, чем они есть на самом деле. Избалованные такой любезностью, критики бесцеремонно присвоили себе диктаторскую власть, стали господами и имеют дерзость предписывать законы писателям, от предшественников которых сами их получили.

Критик, говоря по совести, не более чем писец, обязанность которого переписывать правила и законы, устанавливаемые великими судьями, силой гения вознесенными на степень законодателей в различных областях знания. Это все, к чему стремились критики прежнего времени; они не осмеливались высказать ни одного утверждения, не подкрепив его авторитетом судьи, от которого оно позаимствовано.

Но мало-помалу, с наступлением эпохи невежества, писец начал посягать на власть и присваивать права своего господина. Законы литературного произведения стали устанавливаться не творчеством писателя, а предписаниями критика. Писец сделался законодателем; люди, которые первоначально только записывали законы, начали повелительно давать их.

Отсюда произошло одно очевидное и, может быть, неизбежное недоразумение: названные критики, будучи людьми неблестящих способностей, часто принимали голую форму за сущность. Они действовали подобно судье, который стал бы держаться мертвой буквы закона, совершенно не считаясь с духом его. Незначительные мелочи, может быть, совершенно случайные у великого писателя, рассматривались этими критиками как его главная заслуга и передавались в качестве основных правил, соблюдение которых обязательно для всех последующих писателей. Время и невежество, два великих покровителя обманщиков, придали всем их утверждениям авторитетность, и, таким образом, было установлено множество правил, как следует писать, нисколько не основанных ни на истине, ни на природе и служащих исключительно лишь для того, чтобы стеснять и обуздывать гений, вроде того как стеснили бы балетмейстера самые великолепные трактаты по его искусству, если бы в них выставлялось главным требованием, чтобы каждый человек танцевал в кандалах.

И вот, во избежание всяких упреков в том, что мы устанавливаем для потомства закон, основанный единственно на авторитете *ipse dixit*¹⁶, к коему, по правде говоря, мы не питаем особенно глубокого уважения, мы отказываемся от вышеназванной привилегии и представим читателю причины, побудившие нас уснастить последовательное изложение нашей истории некоторым числом отступлений.

Для этого нам поневоле придется вскрыть новую жилу знания, которая хотя давно уже известна, однако, насколько мы припоминаем, еще не разрабатывалась никем из древних или новых писателей. Жила эта не что иное, как закон контраста; она проходит по всем творениям, и, вероятно, немало способствует образованию в нас идеи красоты как естественной, так и искусственной, ибо что лучше раскрывает

красоту и достоинство вещи, как не ее противоположность? Так, красота дня и лета оттеняется ужасами ночи и зимы. И я думаю, что если бы нашелся на свете человек, никогда их не видевший, то он имел бы весьма несовершенное представление об их красоте.

Но не будем пускаться в слишком серьезные материи и возьмем пример из другой области: можно ли сомневаться, что самая красивая женщина на свете лишится всего своего очарования в глазах мужчины, который никогда не видел женщин иной наружности? Дамы и сами, по-видимому, прекрасно это чувствуют, постоянно заботясь о создании выгодного для себя фона; они доходят даже до того, что в такой фон обращают себя самих. Я замечал (особенно в Бате), что по утрам они стараются казаться как можно безобразнее, чтобы тем сильнее поразить вас своей красотой вечером.

Многие художники придерживаются этого правила на практике, хотя, может быть, и редко изучали его в теории. Ювелиры знают, что самый лучший брильянт требует фольги, а живописцы часто стяжают себе похвалы изображением контрастных фигур.

Один великий отечественный гений поможет нам исчерпывающе объяснить это явление. Я не могу, правда, причислить его ни к одной из категорий обыкновенных художников, так как он имеет право занять место среди тех,

Inventas qui vitam excoluere per artes

"которые украсили жизнь изобретенными ими искусствами",- я разумею изобретателя изысканнейшего развлечения, известного под названием Английской Пантомимы.

Развлечение это состояло из двух частей: первую изобретатель называл серьезной, вторую - комической. В серьезной части показывалось некоторое количество языческих богов и героев,- вероятно, самое дурное и тупоумное общество, в какое когда-либо попадали зрители,- и все это (тайна, известная лишь немногим) делалось умышленно, для того чтобы выгоднее оттенить комическую часть представления и придать больше яркости проделкам арлекина.

Это было, может быть, не очень учтивым обращением с такими важными особами, но выдумка все же была остроумной, и желательный эффект достигался. Объяснить его легко, стоит только слова "комическое" и "серьезное" заменить словами "глупейшее" и "самое глупое": комическая часть была, несомненно, глупее всего, что до сих пор показывалось на сцене, и могла вызывать смех только по контрасту с непроходимо глупой серьезной частью. Боги и герои были так нестерпимо серьезны, что арлекину (хотя английский джентльмен, носящий это имя, не имеет ничего общего со своим французским тезкой, будучи гораздо более серьезного нрава) всегда оказывался самый радушный прием, потому что он избавлял зрителей от гораздо худшей компании.

Умные писатели всегда с большим успехом пользовались приемом контраста. Меня очень удивляет, что Гораций придирается за это к Гомеру; правда, в следующей же строке он противоречит себе:

*Indignor, quandoque bonus dormitat Homerus,
Verum opere in longo fas est obrepere somnum.*

"Досадно мне, когда засыпает великий Гомер, хоть и позволительно вздремнуть над длинным трудом". Ведь этого не должно понимать так, как понимают, быть может, иные, будто писателю случается заснуть в то время, как он пишет. Читатели - те действительно весьма подвержены сонливости, но сам автор, хотя бы произведение его было такой же длины, как произведения Олдмиксона, обыкновенно бывает слишком увлечен своим трудом для того, чтобы им могла овладеть даже легкая дремота. Как говорит мистер Поп:

Не дремлет он, читателям чтоб спалось.

Правду сказать, такими снотворными частями нашего произведения являются

серьезные места, искусно в него вплетенные с той целью, чтобы по контрасту выгоднее оттенить остальное; в этом и заключается истинный смысл слов одного покойного писателя-шутника, который просил публику помнить, что всякий раз, когда она будет находить его скучным,- это значит, что он умышленно стремится к этому.

В этом свете, или, вернее, в этой темноте, я желал бы, чтобы читатель рассматривал мои вступительные очерки. Если же он и после этого предупреждения будет находить, что серьезного и без того довольно в других частях моей истории, то может пропускать эти введения, в которых мы умышленно стремимся быть скучными, и начинать следующие книги прямо со второй главы.

ГЛАВА II,

в которой мистер Джонс принимает во время болезни много дружеских визитов, а также приводится несколько тонких штрихов любовной страсти, едва заметных для невооруженного глаза

Во время болезни у Тома Джонса перебивало много посетителей, хотя, может быть, не все они были ему приятны. Мистер Олверти навещал его почти каждый день. Но хотя он и соболезновал Тому в постигшем его несчастье и горячо одобрял его рыцарское поведение, послужившее причиной этого несчастья, однако решил воспользоваться благоприятным случаем и образумить молодого человека, считая, что благодетельный совет не может быть преподан более своевременно, чем теперь, когда душа умягчена страданием и болезнью и напугана опасностью и когда внимание ее не поглощено бурными страстями, увлекающими нас в погоню за наслаждением.

Итак, всякий раз, когда добрый сквайр оставался наедине с юношей, особенно когда Том чувствовал себя хорошо, он пользовался случаем напомнить ему о его прежних оплошностях, но с величайшей мягкостью и ласковостью, только с целью предостеречь его на будущее время, говоря, что от него самого всецело зависят и его счастье, и любовь приемного отца, на которую он еще может рассчитывать, если ничем не уронит себя в его мнении; ибо что касается прошлого, то все оно прощено и предано забвению. Поэтому он, Олверти, советует ему извлечь для себя поучение из этого случая, дабы в конечном счете несчастье послужило ему во благо.

Тваком тоже довольно аккуратно навещал Джонса и тоже считал изголовье больного весьма подходящим местом для назиданий. Тон его речи был, однако же, более суровым, чем у мистера Олверти; он говорил своему ученику, что тот должен смотреть на свое увечье как на кару небесную за грехи и что ему надлежит Каждодневно на коленях воссылать благодарения за то, что он сломал только руку, а не шею, каковая, наверное, сохранена для другого случая, и случай этот, надо думать, ждаться себя не заставит. Он, Тваком, часто удивлялся, почему никакое наказание не постигло Джонса ранее; однако отсюда надо сделать вывод, что десница божия карает хоть иногда и не скоро, но неуклонно. Он советовал ему также ожидать с полной уверенностью еще горших бедствий, которые запоздали, но постигнут закоснелого грешника с такой же неизбежностью, как и это.

- Бедствия эти,- говорил богослов,- могут быть предотвращены лишь глубоким и чистосердечным раскаянием, на какое нельзя надеяться и какого нельзя ожидать от беспутного юноши, развращенного, боюсь я, до мозга костей. Мой долг, однако, увещевать тебя к такому раскаянию, хоть я и прекрасно знаю, что все увещания останутся тщетны и бесплодны. Но libera vi animam meam¹⁷. Никто не может обвинить меня в нерадении, хоть в то же время я с величайшим прискорбием вижу, что ты прямой дорогой идешь к бедствиям в сей и к гибели в будущей жизни.

Сквейр разглагольствовал совсем в другом духе. Он говорил, что такая случайность, как перелом руки, не стоит внимания мудреца и что ум наш вполне примиряется с такими несчастьями, когда мы рассудим, что они постигают мудрейших из людей и, несомненно, служат для блага человечества. Это простое

злоупотребление словами - называть бедствиями вещи, нисколько не нарушающие нравственной гармонии, ибо физическая боль - самое худшее последствие таких случайностей -достойна полнейшего презрения. Он приводил много подобных сентенций, извлеченных из второй части Цицероновых "Тускуланских исследований" и из великого лорда Шефтсбери. Раз он, разгорячившись, даже прикусил себе язык, и так больно, что не только принужден был прекратить свою речь, но в сердцах еще пробормотал какое-то ругательство. Хуже всего было то, что присутствовавший при этом Тваком, который считал все подобные теории языческими и безбожными, воспользовался случаем и объявил, что это не иначе как кара божия. Замечание было сделано с таким злорадством, что философ, и без того раздосадованный тем, что прикусил себе язык, потерял всякое самообладание и, не будучи в состоянии излить гнев свой в словах, вероятно, нашел бы более действительное средство мщения, если бы невмешательство хирурга, к счастью, оказавшегося в комнате, который водворил мир в ущерб собственным интересам.

Мистер Блайфил посещал своего друга редко и никогда не являлся один. Сей достойный молодой человек, впрочем, выражал на словах большое участие к Джонсу и крайнее прискорбие по поводу постигшего его несчастья, но тщательно избегал всякого близкого с ним общения, опасаясь, как он часто намекал, за чистоту своей нравственности; по этому случаю у него постоянно было на языке изречение Соломона о дурном обществе. Не то чтобы он был столь же суров, как Тваком, ибо всегда выражал надежду на исправление Тома; беспримерная доброта, проявленная в настоящем случае дядей, говорил он, должна привести его к таковому, если он не совершенно погибший человек; однако в заключение замечал, что если мистер Джонс и после этого нагрешит, то он, Блайфил, не произнесет больше ни слова в его защиту.

Что же касается сквайра Вестерна, то он редко покидал комнату больного только в тех случаях, когда выезжал на охоту да сидел за бутылкой. Подчас даже и пиво он пил у Джонса, и тогда стоило немалого труда уговорить его не принуждать Джонса делить с ним бутылку, ибо ни один шарлатан не приписывал своему снадобью такой универсальной целебной силы, как сквайр пиву, которое, по его словам, действовало сильнее целой аптеки. Впрочем, после долгих просьб его удалось отговорить от пользования больным этим лекарством, зато невозможно было удержать сквайра от серенад на охотничьем роге, которые он задавал под окном своего пациента каждое утро перед выездом в поле, и он не отказался также от своей привычки входить в комнату с охотничьим кликом "хэло!", не обращая никакого внимания, спит ли больной или нет.

Это шумное поведение, чуждое, однако, всякого дурного умысла, к счастью, нисколько не повредило Джонсу и было щедро вознаграждено посещением Софьи, которую сквайр привел к больному, как только тот начал вставать с постели. Через короткое время Джонс уже мог провожать ее до клавикордов, и она любезно соглашалась по целым часам услаждать его превосходнейшей музыкой, прерывая ее только по требованию сквайра, когда тому приходила охота послушать "Сэра Саймона" или другую из своих любимых песенок.

Несмотря на все старания Софьи наблюдать за собой как можно строже, она не в силах была подавить прорывавшихся порой знаков своего чувства,- ибо любовь может быть уподоблена болезни также и в том, что когда ей не дают выхода в одном месте, она обязательно пробивается в другом. О чем молчали уста Софьи, то выдавали ее глаза, румянец и множество едва заметных невольных движений.

Однажды, когда Софья играла на клавикордах, а Джонс слушал, в комнату вошел сквайр, крича:

- А я выдержал из-за тебя баталию с этим толстым попом Тваком, Том! Он только что сказал Олверти в моем присутствии, что сломанная кость-это

ниспосланная тебе небесная кара. "Враки, говорю, как это может быть? Ведь он сломал руку, когда спасал девушку!" Вот сморозил! Тьфу! "Да если мальчик в чем-нибудь не проштрафится, то попадет на небо скорее, чем все попы на свете! Ему гордиться надо своим поступком, а не стыдить его!"

- Полноте, сэр,- отвечал Джонс,- тут нечем гордиться и нечего стыдиться; но если я спас мисс Вестерн, то всегда буду считать это счастливейшим событием в моей жизни.

- И за это натравливать Олверти на тебя! Если бы не бабьи юбки на этом попе, задал бы я ему трепку! Потому что я люблю тебя сердечно, паренек, и разрази меня гром, если я не сделаю для тебя всего, что в моей власти! Выбирай себе завтра любую лошадь в моей конюшне, только не Рыцаря и не Мисс Слауч.

Джонс поблагодарил сквайра, но отказался от подарка.

- Ну так возьми гнедую кобылу, на которой ездила Софья,- не унимался сквайр.- Она стоила мне пятьдесят гиней, и этой весной ей будет только шесть лет.

- А по мне, если б она стоила хоть тысячу гиней,-с жаром воскликнул Джонс, - я отдал бы ее собакам на растерзание!

- Фу! Фу! - вознегодовал Вестерн.- Неужели за то, что она сломала тебе руку? Забудь и прости ей. Какой же ты после этого мужчина, если сердишься на бессловесное животное!

Тут вмешательство Софьи прекратило разговор: девушка попросила у отца позволения поиграть ему, а в этой просьбе он ей никогда не отказывал.

Софья в продолжение только что изложенного разговора не раз менялась в лице; видимо, она объясняла раздражение и гнев Джонса на кобылу совсем другими причинами, чем ее отец. Она была в явном возбуждении и играла так невыносимо плохо, что если бы Вестерн вскоре не заснул, то он непременно заметил бы это. Но Джонс бодрствовал, и его слух был напряжен не меньше, чем зрение; он сделал кое-какие наблюдения и, сопоставив их со всем тем, что случилось ранее и уже известно читателю, и мысленно охватив взором все эти мелочи, пришел к твердому убеждению, что в нежном сердце Софьи не все благополучно. Многие молодые джентльмены, несомненно, будут крайне удивлены, почему он не догадался об этом гораздо раньше. Если хотите знать правду, так это объяснялось его застенчивостью и недостаточной предприимчивостью при виде авансов молодой дамы - недостаток, от которого можно излечиться только ранним городским воспитанием, вошедшим ныне везде в большую моду.

Всецело завладев умом Джонса, мысли эти произвели в нем большое смутение, которое в натуре, не столь чистой и твердой, могло бы в таком возрасте привести к весьма опасным последствиям. Он ясно сознавал высокие достоинства Софьи. Ему чрезвычайно нравилась внешность девушки, он дивился ее способностям и нежно любил в ней доброту. В действительности же, никогда не лелея мысли обладать ею и ни разу не дав волю своему влечению, он был влюблен в нее гораздо сильнее, чем сам о том подозревал. Сердце раскрыло ему эту тайну в тот момент, когда оно его уверило, что обожаемый предмет отвечает ему взаимностью.

ГЛАВА III,

о которой люди без сердца подумают: мною шуму из ничего

Читатель, может быть, вообразит, что чувства, пробудившиеся теперь в Джонсе, были так сладки и так приятны, что скорее могли вызвать в его душе радостную безмятежность, чем породить какое-нибудь из только что упомянутых опасных следствий; в действительности, однако, чувства этого рода, несмотря на всю свою сладостность, отличаются при своем появлении весьма бурным характером и действуют далеко не усыпительно. Кроме того, в настоящем случае некоторые обстоятельства придавали им горечь и, смешиваясь с более сладкими ингредиентами, составляли в целом микстуру, которая может быть названа

горько-сладкой; если ничего не может быть неприятнее для вкуса, то, в метафорическом смысле, ничего не может быть несноснее для души.

Прежде всего, хотя он имел достаточно оснований гордиться всем подмеченным им в Софье, однако не вполне еще освободился от сомнений: а вдруг он ошибается и принимает сострадание или, в лучшем случае, уважение за другое, более теплое чувство? Он был далек от уверенности в том, что Софья настолько к нему расположена, чтобы влечение его могло рассчитывать на ту жертву, какой оно в конце концов потребовало бы, если бы он стал его поощрять и питать надеждами. Кроме того, если бы даже он мог надеяться, что не встретит препятствия к своему счастью со стороны дочери, то нисколько не сомневался в том, что натолкнется на самое решительное противодействие со стороны отца. Правда, в своих развлечениях мистер Вестерн был простым деревенским сквайром, но во всем, что касалось его состояния, вел себя как человек вполне светский; он горячо любил свою единственную дочь и часто за бокалом вина говорил об удовольствии видеть ее замужем за кем-нибудь из первых богачей графства. Джонс не был настолько тщеславным и пустоголовым фатом, чтобы ожидать, что из расположения к нему, в котором Вестерн так часто признавался, сквайр способен будет пренебречь своими видами на партию дочери; он прекрасно знал, что состояние является обыкновенно главным, если не единственным обстоятельством, с которым считаются в этих делах лучшие родители; дружба побуждает нас горячо принимать к сердцу интересы наших друзей, но относится очень холодно к угождению их страстям. Ведь для того чтобы понимать, какое счастье это может доставить другому, надо самому загореться его страстью. А так как Джонс не надеялся на согласие отца Софьи, то считал, что стараться достигнуть своей цели помимо него и таким образом разрушить заветную мечту жизни мистера Вестерна значило бы злоупотребить его гостеприимством и отплатить неблагодарностью за все его многочисленные (хотя и грубоватые) Ласки. Но если он не мог думать об этом без самого крайнего отвращения, то насколько же сильнее удерживали его отношения к мистеру Олверти, которому он был обязан больше, чем родному отцу, и к которому питал более чем сыновнее почтение! Он знал, что низость и предательство до такой степени противны его доброму сердцу, что малейшая попытка в этом роде сделает присутствие виновного невыносимым для его зрения, а имя его ненавистным для его слуха. Одних этих непреодолимых затруднений было достаточно для того, чтобы наполнить Тома отчаянием, какими бы пылкими ни были его желания; но даже и пыл их охлаждался состраданием к другой женщине. Образ любезной Молли возник перед его взором. В ее объятиях он клялся ей в вечной верности, и она тоже божилась, что не переживет его измены. Молли рисовалась ему в мучительной предсмертной агонии и, хуже того, - в ужасном положении проститутки, которое ей теперь угрожало и в котором он вдвойне был бы виновен: во-первых, потому, что соблазнил ее, а во-вторых, потому, что покинул, ибо Джонс хорошо знал, как ненавидят ее все соседи и даже родные сестры и как рады они будут растерзать ее на клочки. Ведь он не столько подверг ее позору, сколько сделал предметом зависти или, лучше сказать, подверг позору, порожденному завистью: многие женщины бранили ее потаскухой и в то же время смотрели с завистью на ее любовника и ее наряды и с удовольствием приобрели бы и то и другое за ту же цену. Таким образом, гибель бедной девушки казалась ему неизбежной, в случае если он покинет ее, и эта мысль жестоко терзала Джонса. Бедность и несчастье, по его мнению, не давали ему никакого права еще более отягчать эти бедствия. Низкое происхождение Молли ничуть не уменьшало их в его глазах и не оправдывало, даже не смягчало его вины, заключавшейся в том, что он навлек их на нее. Но что я говорю об оправдании! Его собственное сердце не позволило бы ему погубить человеческое существо, которое, думал он, любит его и пожертвовало ради этой любви своей невинностью. Его собственное сердце

выступило на защиту, и не в роли бездушного наемного адвоката, а в роли кровно заинтересованного в деле ходатая, который болезненно чувствует все страдания, причиненные его клиентом подсудимому.

Пробудив в Джонсе живую жалость картиной горя и несчастий бедной Молли, этот могучий адвокат призвал на помощь другую страсть и представил девушку во всем блеске молодости, здоровья и красоты, привлекательность которых, по крайней мере для доброго сердца, еще больше увеличивалась возбуждаемым ею состраданием.

В таких мыслях бедный Джонс провел долгую бессонную ночь, и наутро результатом их было решение не покидать Молли и не думать больше о Софье.

В этой добродетельной решимости он пребывал целый день до рокового вечера, лелея образ Молли и прогоняя всякую мысль о Софье; но вечером одно ничтожное происшествие снова привело в смятение его чувства и произвело в его образе мыслей такую существенную перемену, что мы считаем долгом рассказать об этом в новой главе.

ГЛАВА IV

Маленькая глава, которая содержит одно маленькое происшествие

В числе прочих гостей, навещавших молодого джентльмена во время его болезни, была и миссис Гонора. Припоминая некоторые выражения, сорвавшиеся у нее в разговоре с Софьей, читатель, может быть, вообразит, что сама она была равнодушна к мистеру Джонсу. Ничуть не бывало. Том был красивый юноша, а к красавцам миссис Гонора относилась с некоторым вниманием, но это внимание распространялось на них всех без различия. Дело в том, что, испытав неудачу в своей любви к лакею одного знатного барина, который бессовестно ее бросил, пообещав жениться, она так заботливо собрала обломки своего разбитого сердца, что ни одному мужчине не удалось с тех пор овладеть ни малейшим его кусочком. Она смотрела на всех красивых мужчин с одинаковым вниманием и приветливостью, вроде того как здравомыслящие и добродетельные люди смотрят на все доброе. Можно сказать, что она любила мужчин той любовью, какой Сократ любил человечество, отдавая предпочтение одному перед другим за телесные, как Сократ за духовные, качества; но предпочтение это никогда не простиралось так далеко, чтобы возмутить философскую ясность ее духа.

На другой день после пережитой Джонсом борьбы, которую Мы описали в предыдущей главе, миссис Гонора вошла к нему в комнату и, застав его одного, сказала;

- Ну, как вы думаете, сударь, где я была? Бьюсь об заклад, что в пятьдесят лет не отгадаете; да если б и отгадали, так, верьте слову, я не должна вам этого говорить.

- Вот потому-то, что вы не должны, мне и хочется допросить вас,- отвечал Джонс.- И я уверен, вы не будете настолько жестоки, чтобы отказать мне.

- И правда, зачем вам отказывать? Ведь вы, верно, никому не перескажете. Да если и узнаете, где я была, но не узнаете зачем, так это мало что значит. И почему мне держать это в тайне? Право же, она самая добрая госпожа на свете.

Тут Джонс начал усердно просить, чтобы она открыла ему эту тайну, поклявшись, что будет свято хранить ее.

- Изволите ли видеть, сударь,- сообщила Гонора,- госпожа моя послала меня к Молли Сигрим разузнать, не нужно ли чего этой девчонке. Верьте слову, уж так не хотелось мне идти, но ничего не поделаешь: слуги должны исполнять, что им приказано... И как только вы могли так унизиться, мистер Джонс?.. Словом, госпожа моя велела мне снести ей белья и еще кой-чего. Слишком она добрая. Таких негодниц надо в исправительный дом, это им на пользу пойдет... Я и говорю барышне: ваша милость потакает праздности.

- Неужели моя Софья была настолько добра? - воскликнул Джонс.
- "Моя Софья"! Скажите пожалуйста! - отвечала Гонора.- Ах, если бы вы знали все... Право, будь я мистером Джонсом, так я метила бы чуточку повыше, чем на такую дрянь, как Молли Сигрим.

- Что вы хотите этим сказать: если бы я знал все? - спросил Джонс.
- Да уж что хочу, то и хочу,- отвечала Гонора.- Помните, как вы засунули однажды руки в муфту моей госпожи? Ей-богу, охотно рассказала бы вам все, если б знала, что не дойдет до барышни.

Джонс произнес несколько торжественных клятв, и Гонора продолжала:

- Верьте слову, барышня подарила мне эту муфту, а потом, когда услышала, что вы сделали...

- Так вы рассказали ей? - перебил ее Джонс.

- Да хоть бы и рассказала, все-таки сердиться вам нечего, сударь. Многие господа головы своей не пожалели бы, только бы кто-нибудь рассказал об этом моей госпоже,- кабы они знали... ей-богу, первый лорд в королевстве мог бы гордиться... Нет, ни слова больше вам не скажу.

Джонс принялся упрашивать, в ему не понадобилось для этого много времени.

- Извольте знать, сударь, что барышня подарила эту муфту мне,- продолжала Гонора,- а через два-три дня, когда я ей все рассказала, она возьми и рассердись на свою новую муфту - а уж на что красивая, лучшей и не сыскать. "Гонора, говорит, препротивная эта муфта слишком велика мне, не могу носить ее; покамест достану другую, отдай мне старую, а вместо нее можешь взять эту". Барышня ведь добрая: подарила что-нибудь, так уж ни за что не возьмет назад. Ну, понятное дело, отдала я ей муфту; и с тех пор она, кажется, ни на минуту с ней не разлучается, а когда никто не видит, так все целует ее и целует...

Тут разговор был прерван появлением мистера Вестерна, который пришел звать Джонса послушать клавикорды; и бедный юноша последовал за ним, бледный и дрожащий. Вестерн это заметил, но, заставши у Джонса Гонору, приписал его растерянность совсем другой причине: крепко ругнув Тома, он полушутливо-полусерьезно посоветовал ему охотиться где-нибудь подальше и не воровать дичь в его заповеднике.

Софья была в этот вечер еще красивее, чем обыкновенно, и, надо думать, еще больше прелести придавала ей в глазах Джонса надетая на правую руку хорошо знакомая нам муфта.

Она играла одну из любимых песенок отца, а сквайр слушал, облокотившись на спинку стула, как вдруг муфта соскользнула ей на пальцы и помешала играть. Это так рассердило сквайра, что он выхватил у дочери муфту и с крепким ругательством бросил ее в камин. Софья моментально вскочила и с большой поспешностью спасла муфту из пламени.

Случай этот большинству наших читателей покажется, вероятно, ничтожным, но он произвел на Джонса потрясающее впечатление, так что мы сочли долгом рассказать о нем. По правде говоря, недалёковидные историки слишком часто опускают разные мелочи, из которых вырастают события чрезвычайной важности. Ведь мир похож на огромную машину, в которой движение сообщается большим колесам самыми маленькими, заметными только для очень острого зрения.

Так, никакие прелести несравненной Софьи-ни ослепительный блеск и томная нежность ее глаз, ни мелодичность голоса и стройность стана, ни ум, ни доброта, ни возвышенность мыслей, ни ласковость - не были в состоянии покорить и поработить сердце бедного Джонса так совершенно, как это маленькое происшествие с муфтой. То же самое поэт мелодически поет о Трое:

...captique dolis lacrimisque coacti

Quos neque Tydides, nee Larissaeus Achilles

Non anni domuere decem, non mille carinae.

...обманом пленив и слезами подвигнув,

Нас, кого одолеть ни Тидид, ни Ахилл Лариссейский

Не были в силах, ни десять лет, ни тысяча килей.

Крепость Джонса взята была врасплох. Все доводы чести и благоразумия, которые герой наш только что расставил на подступах к своему сердцу по всем правилам военного искусства, бежали со своих позиций, и бог любви с торжеством вступил в оставленные владения.

ГЛАВА V

Очень длинная глава, которая содержит очень важное происшествие

Но хотя победоносный бог легко изгнал из сердца Джонса своих заклятых врагов, ему было гораздо труднее вытеснить гарнизон, который он сам когда-то туда поставил. Говоря без аллегорий, мысль о судьбе бедной Молли сильно тревожила и смущала достойного юношу. Несравненные достоинства Софьи совершенно затмили или, лучше сказать, упразднили все прелести бедной девушки; но любовь заменилась не презрением, а состраданием. Джонс был убежден, что Молли отдала ему все свое сердце и что все ее надежды на будущее счастье сосредоточены только в нем. Он дал ей для этого все основания своими бурными ласками и нежным вниманием, в неизменности которого уверял ее при всяком случае. Она же, с своей стороны, постоянно говорила ему о непоколебимой вере в его обещания и с торжественными клятвами заявляла, что от исполнения или нарушения этих обещаний будет зависеть, быть ли ей счастливейшей или несчастнейшей из женщин. Между тем мысль о том, что он может явиться виновником тягчайшего для человека горя, была для него совершенно невыносима. Он видел в Молли женщину, пожертвовавшую ему всем, что находилось в ее маленькой власти, поплатившуюся за доставленное ему наслаждение и, может быть, в эту самую минуту вздыхающую и тоскующую о нем. "Так неужели же,-говорил он себе,- мое выздоровление, которого она желала так пламенно, неужели мое свидание с ней, которого она ждала с таким нетерпением, должны принести ей вместо предвкушаемой радости одно только горе и разочарование? Неужели я способен быть таким негодяем?" Но в минуты, когда добрый гений бедной Молли, казалось, уже торжествовал, в сердце юноши вторгалась любовь Софьи, в которой он больше не сомневался, и сметала на пути своем все препятствия.

Наконец ему пришло на мысль, нельзя ли вознаградить Молли другим способом, именно - подарить ей достаточную сумму денег. Однако он почти отчаивался в ее согласии, припоминая, как часто и с каким жаром она уверяла его, что целый мир не вознаградит ее за его потерю. Лишь крайняя бедность Молли и особенно ее непомерное тщеславие (кое-какие примеры которого были уже приведены читателю) подавали ему слабую надежду, что, несмотря на все ее уверения в любви до гроба, со временем она, может быть, согласится принять денежное вознаграждение, которое польстит ее тщеславию, возвысив ее над людьми ее круга. Джонс решил при первом же удобном случае сделать ей такое предложение.

И вот однажды, когда рука его уже настолько зажила, что он мог свободно ходить, подвязав ее шарфом, он воспользовался выездом сквайра на охоту и посетил свою любезную. Ее мать и сестры, которых он застал за чаепитием, сказали ему сперва, что Молли нет дома; но потом старшая сестра с ехидной улыбкой сообщила, что она наверху, в постели. Том ничего не имел против того, чтобы застать свою любовницу в этом положении, и мигом взбежал по лестнице, которая вела к ее спальне; но, дойдя до двери, к великому своему изумлению, увидел, что она заперта, и долго не мог даже добиться никакого ответа изнутри, потому что Молли, как она сказала потом, спала мертвым сном.

Замечено, что безутешное горе и бурная радость действуют на человека почти

одинаково, и когда они обрушиваются на нас врасплох, то могут вызвать такое потрясение и замешательство, что мы часто лишаемся всех своих способностей. Поэтому нет ничего удивительного, что неожиданное появление мистера Джонса так сильно поразило Молли и привело ее в такое смущение, что в течение нескольких минут она не в силах была выразить восторг, какого читатель вправе ожидать от нее в этом случае. Что же касается Джонса, то он был до такой степени захвачен и как бы очарован присутствием любимой женщины, что на время забыл о Софье, а следовательно - и о цели своего визита.

Скоро, впрочем, он опомнился; и когда первые бурные проявления радости любовников по случаю их встречи миновали, он постепенно перевел разговор на роковые последствия, ожидающие их любовь, если мистер Олверти, настроивший запретивший ему с ней видаться, узнает, что связь их продолжается. Если же это произойдет, сказал Джонс,- а враги его, наверное, постараются довести обо всем до сведения сквайра,-тогда его, а следовательно, и ее гибель неминуема. Но раз уж суровая судьба определила им разлуку, то он советует ей перенести ее мужественно и клянется, что в течение всей своей жизни не пропустит ни одного случая доказать ей искренность своей привязанности, обеспечив ее так, как она никогда не ожидала и даже, может быть, не желала, если когда-нибудь это будет в его власти. Заключил он свою речь выражением уверенности, что она вскоре найдет себе мужа, который сделает ее гораздо счастливее, чем она могла бы быть, продолжая свою позорную связь с ним.

Несколько мгновений Молли молчала, а потом, залившись слезами, начала корить его:

- Так вот какова ваша любовь ко мне: погубили, а теперь бросаете! А сколько раз, когда я, бывало, говорила вам, что все мужчины обманщики и клятвопреступники и тяготятся нами, едва только добились от нас удовлетворения своих грязных желаний,- сколько раз вы клялись, что никогда меня не покинете! И после этого вы способны на такое вероломство? Что для меня все богатства мира без вас, когда вы похитили мое сердце,- да, похитили, похитили... К чему эти речи о другом мужчине? Пока я жива, я больше не полюблю другого. Другие мужчины для меня не существуют. Пусть самый первый сквайр в государстве придет ко мне завтра свататься, я с ним и разговаривать не стану. С этих пор я буду из-за вас ненавидеть и презирать всех мужчин на свете...

Так она причитала, как вдруг одно происшествие остановило ее речь на самой середине. Комната или, лучше сказать, чердак, где лежала Молли, находился на втором этаже, то есть под самой крышей, и благодаря покатым стенам напоминал своей формой прописную греческую дельту. Английский читатель, может быть, еще лучше представит себе его, если мы скажем, что на нем можно было стоять, нагибаясь, только посередине. Так как в этом помещении не было стенного шкафа, то взамен его Молли приколотила к стропилам старый плед, прикрывавший небольшое углубление, в котором висели и были защищены от пыли лучшие принадлежности ее туалета, вроде остатков знакомого нам нарядного платья, нескольких чепчиков и других вещей, которыми она недавно обзавелась.

Этот завешенный угол был расположен в ногах кровати, непосредственно примыкая к ней, так что плед в некотором роде заменял недостающий полог. И вот то ли сама Молли в порыве бешенства толкнула его ногами, то ли задел его Джонс или же гвоздь или булавки вывалились сами собой, не могу сказать наверное, только при последних словах Молли злополучный плед упал, открыв все, что было за ним спрятано, и среди разной женской рухляди там оказался (со стыдом пишу я, и с прискорбием вы прочтете)... философ Сквейр в самой смешной позе, какую можно себе представить (так как ограниченность места не позволяла ему стоять прямо).

Поза эта весьма близко напоминала позу человека, посаженного на кол, в

которой мы часто видим молодцов на улицах Лондона, не отбывающих наказание, но вполне его заслуживающих за такую непринужденность. На голове философа был ночной чепец Молли, а широко раскрытые глаза его были в минуту падения пледа уставлены прямо на Джонса, так что если связать с внезапно представшей фигурой мысль о философии, то едва ли кто-нибудь при таком зрелище мог бы удержаться от громкого хохота.

Я не сомневаюсь, что изумление читателя не уступит изумлению Джонса, ибо мысли, невольно порождаемые появлением степенного философа в таком месте, с трудом можно совместить с тем представлением о его характере, какое, наверное, сложилось у каждого читателя.

Однако, говоря по правде, эта несовместимость скорее воображаемая, чем действительная. Философы состоят из такой же плоти и крови, как и остальные люди, и как бы ни были возвышенны и утонченны их теории, на практике они так же подвержены слабостям, как и все прочие смертные. Действительно, вся разница, как мы сказали, состоит только в теории, но не в практике, ибо хотя эти великие существа мыслят гораздо лучше и мудрее, но поступают совершенно так же, как и другие люди. Они прекрасно знают, каким образом обуздывать желания и страсти и презирать боль и удовольствие, и знание это, приобретаемое без труда, способствует многим приятным размышлениям; однако его практическое применение стеснительно и неудобно, так что та же самая мудрость, которая научает их ему, научает их также избегать применения его на деле.

Мистер Сквейр был в церкви в то самое воскресенье, когда, как благоволит припомнить читатель, появление Молли в щегольском платье наделало столько шуму. Там он впервые увидел ее и был так пленен ее красотой, что уговорил молодых людей повернуть во время прогулки на другую дорогу, надеясь проехать мимо дома Молли и таким образом получить случай еще раз увидеть ее. Но так как в то время он никому не сказал о своих намерениях, то и мы не сочли нужным изложить их читателю.

В числе прочих частностей, нарушавших, по мнению мистера Сквейра, гармонию вещей, находились также опасность и трудность. Поэтому трудность, с которой, как ему казалось, было сопряжено обольщение этой девицы, и опасность, угрожавшая его репутации в случае огласки, так сильно его расхолаживали, что, по всей вероятности, он сначала намеревался ограничиться приятными мыслями, возбуждаемыми в нас созерцанием красоты. Ведь самые степенные люди, насытившись серьезными размышлениями, частенько не прочь полакомиться на десерт клубничкой; вот почему некоторые книжки и картинки находят себе приют в укромных уголках их рабочего кабинета и некоторые скромные части естествознания нередко служат главной темой их разговоров.

Но, прослышав дня через два, что твердыня добродетели уже взята, философ начал давать больше простора своим желаниям: он не принадлежал к числу тех привередливых людей, которые не прикасаются к лакомству, потому что другой уже отведает его. Словом, потеря невинности делала красотку в его глазах лишь привлекательнее, так как невинность служила бы преградой для его вожделений. Он приволокнулся и достиг цели.

Читатель ошибается, если думает, что Молли предпочла Сквейра своему более юному любовнику. Напротив, если бы ей пришлось ограничить выбор только одним, то победа, несомненно, была бы одержана Томом Джонсом. Мистер Сквейр не был также обязан своим успехом и той истине, что два лучше одного (хотя она имела свой вес). Решающим обстоятельством было отсутствие Джонса во время болезни; этим перерывом и воспользовался философ: несколько удачно сделанных подарков настолько смягчили и обезоружили сердце красавицы, что при первом же благоприятном случае Сквейр восторжествовал над жалкими остатками добродетели,

еще хранившимися в груди Молли.

Джонс явился к своей любовнице недели через две после этой победы и как раз в ту минуту, когда она была в постели со Сквейром. Поэтому-то мать и сказала ему, что Молли нет дома: старуха получала свою долю от доходов дочери и всячески ее поощряла и покровительствовала ей. Однако старшая сестра полна была такой зависти и ненависти к Молли, что, несмотря на то что ей кое-что перепало, охотно пожертвовала бы этим, лишь бы погубить сестру и подорвать ее промысел,- вот почему она открыла Джонсу, что Молли наверху в постели: она надеялась, что он застанет ее в объятиях Сквейра. Но так как дверь была заперта, то Молли удалось это предотвратить: она упрятала своего любовника за плед или одеяло в тот угол, где он и был теперь так несчастливо обнаружен.

Едва только Сквейр появился на сцену, как Молли снова бросилась в постель с криком, что она погибла, и предалась отчаянию. Бедняжка была новичком в своем деле и не приобрела еще спокойной уверенности, выручающей столичную даму при самых рискованных обстоятельствах, либо подсказывая ей оправдание, либо внушая самый вызывающий образ действий с мужем, который из любви к спокойствию или из страха за свою репутацию,- а иногда, может быть, и из страха перед любовником, если, подобно мистеру Константу в театральной пьесе, тот носит шпагу,- рад бывает закрыть на все глаза и спрятать рога в карман. Молли, напротив, онемела при появлении этой живой улики и честно отказалась защищать дело, которое за минуту перед тем отстаивала с обильными слезами и торжественными и пылкими уверениями в преданнейшей любви и верности.

Замешательство джентльмена, скрывавшегося за занавесом, было немногим меньше. Некоторое время он оставался без движения и, казалось, совершенно не знал, что сказать и куда устремить свои взоры. Джонс, изумленный, может быть, больше всех троих, первый обрел дар речи; живо оправившись от неприятных ощущений, вызванных упреками Молли, он разразился громким хохотом и затем с поклоном подошел и подал Сквейру руку, чтобы освободить его из заключения.

Выйдя, таким образом, на середину комнаты, где он только и мог разогнуться, Сквейр серьезно посмотрел на Джонса и сказал:

- Я вижу, сэр, что вы очень обрадованы этим великим открытием и, готов поклясться, с восторгом выставите меня на позор. Но если разобрать дело беспристрастно, то выйдет, что достойны порицания только вы. Я не виновен в обольщении невинности. Я не совершил ничего такого, за что та часть человечества, которая судит на основании закона справедливости, могла бы осудить меня. Гармония определяется природой вещей, а не обычаями, формальностями или гражданскими законами. Только неестественное нарушает ее.

- Отличное рассуждение, дружище! - отвечал Джоне.- Только почему ты думаешь, что я намерен выставить тебя на позор? Право, никогда в жизни ты не доставлял мне такого удовольствия, и если ты сам не вздумаешь проболтаться, то это дело останется глубокой тайной для всех.

- О нет, мистер Джонс,- сказал Сквейр,- не думайте, что я так мало дорожу своей репутацией. Добрая слава есть род прекрасного ((((((, и пренебрежение ею несколько не способствует общей гармонии. Кроме того, губить свою репутацию значит совершать в некотором роде самоубийство, порок гнусный и презренный. Поэтому, если вы находите нужным молчать о моей слабости (а я тоже не без слабостей, ибо нет человека совершенно совершенного), то обещаю вам, что и я себя не выдам. Есть вещи, делать которые вполне пристойно - непристойно лишь ими хвастаться, ибо свет обладает таким превратным суждением о вещах, что часто подвергает порицанию то, что по существу не только невинно, но и похвально.

- Правильно! - воскликнул Джоне.- Что может быть невиннее снисходительности к природному влечению? И что может быть похвальнее размножения рода

человеческого?

- Если говорить серьезно,- отвечал Сквейр,- то я всегда держался такого мнения.

- А между тем,- возразил Джонс,- вы говорили совсем иное, когда стали известны мои отношения с этой девушкой!

- Что ж, я должен сознаться,- сказал Сквейр,- поскольку этот поп Тваком представил мне дело в ложном свете, я мог осудить обольщение невинности,- да, так это было, сэр, именно так... именно так. Ибо вы должны знать, мистер Джонс, что в рассуждении гармонии ничтожнейшие обстоятельства - да, сэр, ничтожнейшие обстоятельства - порождают великие изменения.

- Ладно, пусть себе порождают! - воскликнул Джонс.- Помните только, что, как я вам сказал, вы сами будете виноваты, если узнают об этом приключении. Ведите себя благородно с этой девушкой, и я никому не обмолвлюсь ни одним словом о случившемся. А ты, Молли, будь верна своему другу, и я не только прощу тебе твою измену, но и буду помогать тебе, чем могу.

С этими словами он быстро попрощался и, сбегав с лестницы, удалился скорыми шагами.

Сквейр был в восторге оттого, что приключение не имело худших последствий, а что касается Молли, то, оправившись от смущения, она первым делом принялась упрекать философа за то, что из-за него она потеряла Джонса; но этот джентльмен скоро нашел средство успокоить ее гнев - частью ласками, а частью лекарством, вынутым из кошелька и обладающим чудодейственной и испытанной силой прогонять дурное расположение духа и возвращать веселость и добродушие.

После этого Молли стала в изобилии расточать нежности своему новому любовнику, обратила в шутку все сказанное ею Джонсу, высмеяла самого Джонса и поклялась, что хотя тот и обладал ее телом, однако Сквейр является единственным обладателем ее сердца.

ГЛАВА VI,

при сравнении, коей с предшествующей читатель, вероятно, исправит кое-какие ошибочные применения слова "любовь", в которых он прежде был повинен

Измена Молли, обнаруженная Джонсом, оправдала бы, может быть, в нем и гораздо большее раздражение, чем то, которое он выказал; и если бы он покинул ее в ту минуту, то, мне кажется, очень немногие стали бы порицать его.

Несомненно, однако, что он смотрел на девушку с состраданием, и хотя любовь его к Молли была не такова, чтобы ее неверность могла сильно его расстроить, но все же он немало смущался при мысли, что был ее первым обольстителем, ибо этому обольщению приписывал он ту легкость, с какой она теперь вступила, казалось, на путь порока.

Мысль эта порядком его мучила, пока наконец несколько времени спустя старшая сестра Бетти, по доброте своей, не успокоила его совершенно, дав понять, что первым обольстителем Молли был вовсе не он, а некий Виль Барнес и что ребенок, которого он до сих пор с полной уверенностью считал своим, может, по меньшей мере с таким же правом, считаться произведением Барнеса.

Джонс рьяно пустился по этому следу, едва только напал на него, и через короткое время вполне убедился в том, что Бетти сказала ему правду: ручательством служило признание не только Барнеса, но и самой Молли.

Этот Виль Барнес был деревенский сердцеед, и трофеев у него было не меньше, чем у какого-нибудь лихого прапорщика или судейского писаря. Он толкнул нескольких женщин на путь порока, несколькими разбил сердца и удостоился чести быть причиной насильственной смерти одной бедной девушки, которая или утопилась, или, что более вероятно, была им утоплена.

В числе побед этого молодчика было и покорение сердца Бетти Сигрим. Он

волочился за ней еще задолго до того, как Молли созрела для этого приятного времяпрепровождения, но потом ее бросил и принялся за младшую сестру, у которой сразу же добился успеха. По правде говоря, Виль был единственным обладателем сердца Молли, тогда как Джонс и Сквейр были почти в равной мере жертвами ее гордости и ее корысти.

Вот откуда проистекала лютая ненависть, бушевавшая, как мы видели, в груди Бетти; мы не сочли нужным указать на этот источник раньше, так как все упомянутые нами проявления ненависти можно было удовлетворительно объяснить одной завистью.

Итак, проникнув в эту тайну, Джонс совершенно успокоился насчет Молли; но что касается Софьи, то тут он был очень далек от покоя и, напротив, находился в сильнейшем возбуждении: сердце его, если можно употребить такую метафору, было начисто эвакуировано, и Софья полностью завладела им. Любовь его была безгранична, и он ясно видел, что и Софья питает к нему нежные чувства; однако уверенность эта нисколько не прибавляла надежды добиться согласия ее отца и не ослабляла отвращения овладеть ею каким-либо низким или предательским способом.

Мысль об оскорблении, которое он неминуемо нанесет этим мистеру Вестерну, и огорчении, которое доставит мистеру Олверти, мучила его все дни и не давала покоя ночью. Жизнь его превратилась в непрерывную борьбу между честью и влечением сердца, в которой попеременно брало верх то одно, то другое чувство. В отсутствие Софьи он не раз принимал решение покинуть дом ее отца и больше ее не видеть и столько же раз в ее присутствии забывал все эти решения и готов был добиваться ее руки, рискуя жизнью и жертвуя вещами, которые были для него еще дороже.

Скоро стали явственно и резко сказываться следствия этой душевной борьбы: исчезла обычная живость и веселость Джонса, он сделался не только грустен наедине, но также угрюм и рассеян в обществе, и когда, в угоду мистеру Вестерну, насильно старался быть веселым, принужденность бывала так очевидна, что скрываемые им чувства лишь ярче проступали под маской показных.

Очень трудно решить, что изменяло ему больше: искусство, к которому он прибегал с целью скрыть свою страсть, или способы ее обнаружения, постоянно применяемые честной натурой; ибо в то время как это искусство заставляло его быть более чем когда-либо сдержанным с Софьей, запрещало ему заговаривать с ней и даже встречаться взглядами, природа то и дело его выдавала. При приближении девушки он бледнел, а если она подходила к нему неожиданно, вздрагивал. Если взгляд его нечаянно встречался со взглядом Софьи, кровь прилиwała к его щекам и окрашивала ярким румянцем все лицо. Если обыкновенная вежливость заставляла его обращаться к ней с какими-нибудь словами, например, пить за ее здоровье, он всегда робел и запинаясь. Если ему случалось прикоснуться к ней, рука его, а иногда и весь он дрожал; и если в разговоре речь хотя бы издали заходила о любви, невольный вздох почти всегда вырывался из груди его. Между тем природа с удивительной изобретательностью ставила его ежедневно в такие положения.

Все это ускользнуло от внимания сквайра, но не от Софьи. Она сразу заметила волнение Джонса и без труда догадалась о причине, потому что и сама чувствовала то же самое. В этом, мне кажется, и состоит так часто отмечающаяся симпатия любовников, которая служит достаточным объяснением большей зоркости Софьи по сравнению с отцом ее.

Но, по правде говоря, существует более простой и легкий способ объяснить удивительную проницательность, наблюдаемую в некоторых людях и встречающуюся не только у любовников, но и у других. Отчего, например, мошенник так зорко видит проделки и плутни, на которые сплошь и рядом попадает честный

человек гораздо более высокого ума? Между мошенниками, конечно, нет никакой симпатии, и они не узнают также друг друга, подобно франкмасонам, при помощи условных знаков. В действительности происходит это потому, что головы их заняты одним и тем же и мысли обращены в одну и ту же сторону. Таким образом, не удивительно, что Вестерн не видел ясных симптомов любви Джонса, а Софья их видела: ведь мысль о любви и в голову не приходила отцу, тогда как дочь теперь больше ни о чем другом и не думала.

Вполне удостоверившись в бурной страсти, терзавшей бедного Джонса, и убедившись, что предмет этой любви она сама, Софья без малейшего труда открыла истинную причину его теперешнего поведения. Это наполнило ее еще более горячей любовью к нему и пробудило в ней два лучших чувства, какие только можно пожелать в любимой женщине, именно: уважение и жалость,- ведь и суровейшая из женщин простит ей сострадание к человеку, который мучился не по ее вине, и не станет порицать за уважение к тому, кто из самых благородных побуждений явно старался потушить в груди своей пламя, которое, подобно знаменитой спартанской покрое, пожирало и палило его внутренности. Таким образом, стремление Джонса уклониться от встреч с Софьей, его холодность и молчаливость были самыми ревностными, прилежными, горячими и красноречивыми его защитниками и подействовали на нежное и чувствительное сердце Софьи так сильно, что вскоре она прониклась к нему всеми благосклонными чувствами, на какие способна добродетельная и возвышенная женская душа,- короче говоря, всеми чувствами, какие могут породить в ней уважение, благодарность и сострадание к обаятельному мужчине, всеми чувствами, какие допускает самая строгая щепетильность. Словом, Софья безумно влюбилась в Джонса.

Однажды юная парочка случайно встретилась в саду, в конке двух аллей, тянувшихся вдоль канала, в котором Джонс когда-то чуть не утонул, пустившись за птичкой Софьи.

В последнее время Софья очень часто посещала это место. Здесь, с каким-то смешанным чувством горя и радости, любила она помечтать о случае, который при всей своей ничтожности заронил, вероятно, первые семена любви, достигшей теперь полной зрелости в ее сердце.

Итак, юная парочка встретилась здесь. Они были уже почти лицом к лицу, когда заметили, что идут друг другу навстречу. Посторонний зритель обнаружил бы немало признаков смущения на лицах обоих, но молодые люди были слишком полны чувства, чтобы производить какие-нибудь наблюдения. Немного опомнившись от изумления, Джонс обратился к молодой девушке с обычным приветствием, на которое она отвечала ему тем же, и беседа их началась, как водится, с восхищения красотой утра. Потом разговор перешел на красоту места, и Джонс принялся усердно его расхваливать. Когда они подошли к дереву, с которого он когда-то свалился в канал, Софья не могла удержаться и напомнила ему этот случай, сказав:

- Должно быть, и теперь вас дрожь берет, мистер Джонс, когда вы видите эту воду?

- Уверяю вас, сударыня,- отвечал Джонс,- что ваша печаль по случаю потери птички всегда будет для меня самым драгоценным обстоятельством этого приключения. Бедняжка Томми! Вот та ветка, на которую он уселся. Надо же быть таким дурачком, чтобы улететь от счастливой жизни, которую я имел честь доставить ему! Постигшая его участь-справедливое наказание за такую неблагодарность!

- Вы сами, мистер Джонс, с вашей услужливостью едва избегли столь же суровой участи. Должно быть, вспоминать об этом вам неприятно.

- Право, сударыня, - отвечал Джонс,- если у меня есть о чем сожалеть по этому поводу, так только о том, что канал не оказался немного поглубже. Это избавило бы меня от многих сердечных страданий, которые Фортуна, видно, в изобилии припасла

для меня.

- Стыдитесь, мистер Джонс! - возразила Софья.- Я уверена, ЧТОБЫ вы говорите несерьезно. Ваше деланное презрение к жизни - только слова, продиктованные вам любезностью. Вы хотите уменьшить в моих глазах цену вашей самоотверженности: два раза рисковали вы для меня жизнью, берегитесь рискнуть ею в третий раз!

Она произнесла эти слова с улыбкой и невыразимо ласково. Джонс со вздохом ответил, что боится, не слишком ли поздно теперь предостерегать; потом, посмотрев на нее нежно и пристально, воскликнул:

- Ах, мисс Вестерн! Неужели вы можете желать, чтобы я жил? Неужели вы способны желать мне такого зла?

- Право, мистер Джонсон, я не желаю вам зла,- ответила Софья несколько нерешительно, потупив взоры.

- О, я знаю вашу небесную кротость, вашу божественную доброту, эту драгоценнейшую из ваших прелестей! - воскликнул Джонс.

- Честное слово, я вас не понимаю...- отвечала Софья.- И мне пора уходить.

- Я... я... тоже не хочу, чтобы вы меня поняли! - воскликнул Джонс.- Вы не должны меня понимать! Я сам не знаю, что говорю. Встретив вас здесь так неожиданно, я был застигнут врасплох. Ради бога, простите, если я сказал что-нибудь оскорбительное. Это вышло неумышленно. Право, я готов скорее умереть,- одна мысль, что я вас оскорбил, способна убить меня.

- Вы удивляете меня,- отвечала Софья.- Почему вы думаете, что оскорбили меня?

- Страх, сударыня, легко переходит в безумие, а для меня ничего не может быть страшнее мысли оскорбить вас. Что ж я могу еще сказать? Не смотрите на меня так сердито: одна ваша нахмуренная бровь убьет меня. Я не хотел сказать ничего худого. Браните глаза мои, браните свою красоту... Что я говорю? Простите, если я сказал лишнее! Сердце мое переполнено. Я боролся со своей любовью изо всех сил, я старался скрыть снедающий меня жар, который, надеюсь, скоро навеки лишит меня возможности оскорблять вас.- И мистер Джонс весь задрожал, точно в лихорадке.

Софья, находившаяся в таком же состоянии, отвечала:

- Не буду притворяться, будто я не понимаю вас, мистер Джонс,- напротив, я понимаю вас прекрасно. Но, ради бога, если вы хоть немного меня любите, позвольте мне поскорее уйти домой. Лишь бы только у меня хватило силы дойти.

Джонс, который сам едва держался на ногах, предложил ей руку, и Софья согласилась взять ее, с условием, чтобы он не говорил больше ни слова на эту тему. Он пообещал, но просил только простить его за слова, вырванные у него любовью помимо его воли, и Софья отвечала, что все будет зависеть от его будущего поведения. Так и побрела объятая трепетом молодая парочка, и кавалер ни разу даже не осмелился пожать у своей дамы руку, которая была заключена в его руке.

Софья медленно удалилась в свою комнату, куда были приглашены ей на помощь миссис Гонора и нюхательная соль. Что же касается бедняги Джонса, то единственным лекарством для его расстроенных чувств была неприятная новость, которую мы сообщим читателю уже в следующей главе, так как она открывает сцену, совсем непохожую на те, среди которых читатель вращался в последнее время.

ГЛАВА VII,

в которой мистер Олверти является на одре болезни

Мистер Вестерн так полюбил Джонса, что не желал с ним расстаться и после того, как рука молодого человека давно зажила. Джонс тоже, из любви ли к охоте или по другой какой причине, любезно соглашался проживать в его доме недели по две, не наведываясь ни разу к мистеру Олверти и даже не получая от него никаких вестей.

Мистер Олверти простудился и уже несколько дней чувствовал недомогание, сопровождавшееся легким жаром. Однако он не обращал на него внимания, как

обыкновенно это делал, когда болезнь не заставляла его слечь и не мешала его способностям нормально функционировать,- поведение, которого мы ни в коем случае не одобряем и не советуем ему подражать, ибо правы господа, занимающиеся искусством Эскулапа, говоря, что если болезнь вошла в одну дверь, то врач должен войти в другую. Иначе что значила бы старинная пословица: "Venienti occurrere morbo" - "Противоборствуйте болезни с самого ее появления"? При этих условиях доктор и болезнь встречаются в честном поединке, одинаково вооруженные; тогда как, давши недугу время, мы позволяем ему укрепиться и окопаться, подобно французской армии, и для ученого мужа бывает очень трудно, а подчас и невозможно подступиться к нему. Порой даже, выиграв время, болезнь применяет французскую военную тактику, подкупая самое природу, и тогда все медицинские средства оказываются запоздалыми. Так, помнится, знаменитый доктор Мизобен любил патетически жаловаться, что к его искусству обращаются слишком поздно, говоря: "Мои пациенты, должно быть, принимают меня за гробовщика, потому что посылают за мной только уже после того, как врач убил их".

Вследствие такой небрежности недомогание мистера Олверти настолько усилилось, что, когда нестерпимый жар заставил его наконец обратиться к медицинской помощи, доктор, войдя к больному, покачал головой, выразив сожаление, что за ним не послали раньше, и объявил, что, по его мнению, пациент в большой опасности. Мистер Олверти, все дела которого в этом мире были устроены и который вполне приготовился к переходу в мир иной, выслушал это сообщение с величайшим спокойствием и невозмутимостью. Он мог бы каждый день, отходя ко сну, говорить вместе с Катонем в известной трагедии:

Пускай вина иль страх

Тревожит нас,- не знает их Катон,

И для него равны и сон и смерть.

И он мог говорить это даже с гораздо большим основанием и уверенностью, чем Катон или любой из надменных героев древности или современности, ибо он не только был чужд страха, но имел полное право, как добросовестный работник по окончании жатвы, рассчитывать на получение награды из рук щедрого хозяина.

Мистер Олверти немедленно распорядился созвать всех своих домочадцев. Все были налицо, за исключением миссис Блайфил, несколько времени тому назад уехавшей в Лондон, и мистера Джонса, с которым читатель только что расстался в доме мистера Вестерна и которого пришли звать в ту самую минуту, когда его покинула Софья.

Известие об опасности, угрожающей мистеру Олверти (слуга сказал, что он умирает), прогнало из головы Джонса всякую мысль о любви. Он тотчас же бросился в присланную за ним коляску и приказал кучеру гнать во весь опор; дорогой, я убежден, он ни разу не вспомнил о Софье.

Когда вся семья, именно: мистер Блайфил, мистер Джонс, мистер Тваком, мистер Сквейр и некоторые из слуг (так приказал мистер Олверти), собралась вокруг постели, больной сел и начал было говорить, но ему помешали громкие рыдания и горькие жалобы Блайфила. Мистер Олверти пожал ему руку и сказал:

- Не кручинься так, дорогой племянник, по случаю самого обыкновенного события, выпадающего на долю человека. Когда друзей наших постигают несчастья, мы справедливо огорчаемся, потому что часто эти несчастья можно было бы предотвратить и они делают участь одного человека более тяжелой, чем участь других; но смерти избежать невозможно, это наш общий удел, который один только равняет всех людей, а приходит ли она раньше или позже - это несущественно. Если мудрейший из людей сравнивал продолжительность жизни с мгновением, то, уж конечно, нам позволительно смотреть на нее, как на один день. Мне суждено покинуть ее вечером; но те, что были взяты раньше, потеряли лишь несколько часов,

в самом лучшем случае мало стоящих сожаления, а гораздо чаще - это часы изнурительного труда, страданий и горя. Один римский поэт, помнится, сравнивает нашу кончину с окончанием празднества,- мысль эта часто приходила мне в голову, когда я видел, как люди изо всех сил стараются продлить развлечение и насладиться обществом своих друзей несколько лишних минут. Увы, как кратки все самые продолжительные из этих удовольствий! Как ничтожна разница между уходящим прежде всех и уходящим последним! Но такой взгляд на жизнь еще самый благоприятный, и это нежелание расстаться с друзьями еще прекраснейшее из побуждений, заставляющих нас бояться смерти; и все же самое продолжительное, на какое мы можем рассчитывать, удовольствие этого рода так быстротечно, что не имеет никакой цены в глазах мудреца. Немногие, должен сознаться, так думают, ибо немногие думают о смерти до того, как попадут в ее пасть. Как ни чудовищно грозна она для них при своем приближении, все-таки они не в состоянии видеть ее издали; больше того, несмотря на весь страх и трепет, охватывающие их в предсмертный час, всякая память об этом у них исчезает, как только опасность смерти миновала. Но, увы, ускользнуть от смерти - не значит быть пощаженным ею; это только отсрочка, и притом отсрочка недолгая.

Не печалься же, друг мой. Событие, которое может случиться каждый час, которое может быть вызвано каждой стихией, больше того - почти каждой частицей окружающей нас материи и которое совершенно неизбежно для всех нас, не должно ни удивлять, ни огорчать нас.

Так как доктор сообщил мне (и я очень ему благодарен за это), что мне угрожает опасность скоро с вами расстаться, то я решил сказать вам на прощанье несколько слов, пока болезнь, которая, чувствую я, быстро берет власть надо мной, еще не лишила меня способности говорить.

Но мне приходится слишком напрягать свои силы. Я намерен поговорить относительно моего завещания. Хотя оно давно уже мною составлено, но мне хочется сообщить его пункты, касающиеся каждого из вас, чтобы увериться, все ли вы довольны теми распоряжениями, которые я в нем сделал.

Вам, племянник Блайфил, я отказываю все свое состояние, за исключением пятисот фунтов годового дохода, которые перейдут вам после смерти вашей матери, и за исключением поместья с пятьюстами фунтов годового дохода и капитала в шесть тысяч фунтов, которые я разделил следующим образом.

Вам, мистер Джонс, я завещаю поместье с пятьюстами фунтов годового дохода; и так как я знаю, как неудобно оставаться без наличных денег, то прибавил к ним еще тысячу фунтов звонкой монетой. Не знаю, превзошел ли я или обманул ваши ожидания. Может быть, вам покажется этого мало, а свет не замедлит осудить меня, сказав, что я дал слишком много; но суждение света я презираю, а что касается вашего мнения, то, если вы не разделяете общераспространенного заблуждения, которое мне не раз доводилось слышать на своем веку в качестве оправдания скаредности,- именно, будто благодетеля, вместо того чтобы делать людей благодарными, делают их только безгранично требовательными и вечно недовольными... Извините меня, что я об этом заговорил; я не подозреваю вас в таких чувствах.

Джонс припал к ногам своего благодетеля и, горячо пожав ему руку, сказал, что доброта его, и в настоящем случае, и прежде, настолько им не заслужена и настолько превосходит все его ожидания, что никакие слова не могут выразить его благодарности.

- И смею вас уверить, сэр, ваше великодушие тронуло меня до глубины души, и если бы не эта печальная минута... О друг мой, отец мой!

От волнения он не мог больше говорить и отвернулся, чтобы скрыть навернувшиеся на глаза слезы.

Олверти дружески пожал ему руку и продолжал;

- Я убежден, друг мой, что ты добр, великодушен, благороден; если к этим качествам ты присоединишь еще благоразумие и благочестие, ты будешь счастлив. Первые три качества, я признаю, делают человека достойным счастья, но только последние два сделают действительно счастливым.

Тысячу фунтов даю я вам, мистер Тваком. Сумма эта, я уверен, намного превосходит ваши желания и ваши потребности. Однако примите ее на память о моих дружеских чувствах к вам; и если что окажется лишним, то ваше благочестие, которого вы держитесь так строго, научит вас, как распорядиться остатком.

Такую же сумму даю я и вам, мистер Сквейр. Она, я надеюсь, даст вам возможность продолжать ваши занятия с большим успехом, чем до сих пор. Я не раз замечал с прискорбием, что нужда чаще возбуждает презрение, чем сострадание, особенно в людях деловых, для которых бедность есть свидетельство недостатка практических способностей. Те небольшие деньги, которые я могу предложить вам, освободят вас, однако, от затруднений, стоявших прежде на вашем пути, и я не сомневаюсь, что доставшиеся вам средства позволят удовлетворить все скромные потребности вашей философской природы.

Я чувствую, что силы покидают меня, и потому не упоминаю об остальных: все это вы найдете в моем завещании. Там помянуты и слуги мои; кое-что оставлено и на дела благотворения; я уверен, что душеприказчики исполнят волю мою в точности. Да благословит всех вас господь! Я отправлюсь в путь немножко раньше вас...

Тут в комнату поспешно вошел лакей и доложил, что приехал стряпчий из Солсбери с важным поручением, которое, по его словам, он должен передать лично мистеру Олверти. Человек этот, сказал лакей, по-видимому, очень торопится и заявляет, что у него столько дел, что, разорвись он на четыре части, и то с ними не справится.

- Ступай, друг мой, и узнай, что нужно этому джентльмену,- обратился Олверти к Блайфилу.- Сейчас я не в состоянии заниматься делами, и притом это дело касается теперь больше тебя, чем меня. Я решительно не в состоянии принять кого-нибудь в эту минуту и сосредоточить на чем-нибудь внимание.

После этого он простился со всеми, сказав, что, может быть, будет в силах снова свидеться со своими родными, но теперь ему хочется немного отдохнуть, так как произнесенная только что речь сильно его утомила.

Некоторые из собравшихся горько плакали, уходя из комнаты, и даже философ Сквейр отирал глаза, давно отвыкшие наполняться слезами. Что же касается миссис Вилкинс, то она роняла капли слез, как аравийские деревья целительную камедь,- церемония, без которой эта дама никогда не обходилась в подобных случаях.

После этого мистер Олверти снова опустился на подушки и расположился поудобнее, чтобы соснуть.

ГЛАВА VIII,

содержащая предметы скорее естественные, чем приятные

Помимо сокрушения по случаю болезни хозяина, был еще другой источник соленых ключей, так обильно забивших над холмоподобными скулами домоправительницы. Не успела она выйти из комнаты, как завела себе под нос такую приятную песню:

- Кажется, хозяин мог бы сделать некоторое различие между мной и остальными слугами. На траур-то, я думаю, он мне оставил, но если это все, так пусть дьявол его носит по нем вместо меня! Надо бы его милости знать, что я ведь не нищая. Пять сотенок прикопила у него на службе, а он вот как со мной поступает... Славное поощрение для честных слуг! Если подчас я и брала кое-что лишнее, так другие брали в десять раз больше; а теперь все в одну кучу свалены! Коли так, пусть все завещанное идет к черту вместе с самим завещателем! Впрочем, нет - от своего я не

откажусь, а то уж слишком обрадуется кое-кто. Куплю себе платье поярче, да и пропляшу в нем на могиле этого скряги. Так вот какая мне награда за то, что постоянно вступалась за него, когда, бывало, все соседи примутся на чем свет ругать его за то, что так нянчится со своим ублюдком! Но теперь он идет туда, где за все придется расплачиваться. Лучше бы покался перед смертью в своих грехах, а он ими еще хвастает, отдает семейное добро незаконнорожденному. Нашел его, видите ли, у себя в постели! Хорошенькое дело! Кто спрятал, тот знает, где найти. Господи, прости ему! Бьюсь об заклад, ему не за одного такого отвечать придется. Хоть то утешение, что там, куда он идет, ни одного не скроешь. "Помянуты и слуги мои" - вот его собственные слова; тысячу лет проживу, а их не забуду. Припомню вам, сударь, что в одну кучу со всей челядью свалена! Мог бы, кажется, упомянуть меня отдельно, как, скажем, Сквейра; да тот, видите ли, джентльмен, хоть и пришел сюда в одних опорках! Черт бы побрал таких джентльменов! Сколько лет в доме прожил, а никто из слуг не видел даже, какого цвета его деньги. Пусть черт прислуживает такому джентльмену, а меня увольте!

Долго она еще приговаривала в таком роде, но для читателя довольно будет и этого образчика.

Тваком и Сквейр остались немногим более довольны завещанной им долей. Правда, они не высказывали своего недовольства так явно, но по их кислым лицам, а также на основании нижеприведенного разговора мы заключаем, что они не были в большом восторге.

Через час после ухода из комнаты больного Сквейр встретил Твакома в зале и обратился к нему с вопросом:

- Вы не получали никаких вестей, сэр, о состоянии вашего друга, после того как мы расстались с ним?

- Если вы подразумеваете мистера Олверти,- отвечал Тваком,- то, мне кажется, вы скорее вправе называть его вашим другом, он это вполне заслужил.

- Так же, как и название вашего друга,-возразил Сквейр,- ведь он оделил нас в своем завещании одинаково.

- Я не стал бы от этом заговаривать первый,- сказал повышенным тоном Тваком,- но раз уже вы начали, то должен вам заявить, что не разделяю вашего мнения. Существует огромная разница между добровольным даром и вознаграждением за труд. Обязанности, которые я исполнял в семье, заботы по воспитанию двух мальчиков, казалось бы, дают право на большую награду. Не вздумайте, однако, заключить из моих слов, что я недоволен: апостол Павел научил меня довольствоваться тем малым, что у меня есть; и если бы полученная мною безделица была еще меньше, я не забыл бы своего долга. Но если Писание требует от меня оставаться довольным, то оно не обязывает закрывать глаза на собственные заслуги и не возбраняет чувствовать обиду при несправедливом сравнении с другими.

- Уж если на то пошло,- возразил Сквейр,- так обида нанесена мне. Я никогда не предполагал, что мистер Олверти ценит мою дружбу так мало, чтобы ставить меня на одну доску с человеком, работающим за жалованье. Но я знаю, откуда это идет: это все следствие тех узких правил, которые вы так усердно старались внедрить в него, наперекор всему великому и благородному. Красота и изящество дружбы ослепляют слабое зрение и могут быть восприняты не иначе, как посредством непогрешимого закона справедливости, который вы так часто осмеивали, что совсем сбили с толку вашего друга.

- Я желаю только,- в ярости воскликнул Тваком,- я желаю только, ради спасения его души, чтобы ваше проклятое учение не подорвало в нем веры! Вот чему я приписываю его теперешнее поведение, столь неприличное для христианина. Кто, кроме атеиста, мог бы помыслить уйти из этого мира, не представив отчета в делах

своих, не исповедавшись в грехах и не получив отпущения, тогда как хорошо известно, что в доме есть человек, имеющий право дать это отпущение? Он почувствует потребность в этих необходимых вещах, когда будет уже поздно, когда он окажется уже там, где раздаются плач и скрежет зубовой. Лишь тогда узнает он, много ли может помочь ему эта языческая богиня, эта добродетель, которой поклоняетесь вы и все другие деисты нашего века. Тогда потребует он священника, которого там не сыскать, и воскорбит об отпущении, без которого для грешника нет спасения.

- Если оно так существенно,- заметил Сквейр,- так почему вы не дадите его по собственному почину?

- Оно имеет силу только для людей, с верой его приемлющих. Но что говорить об этом с язычником и неверующим! Ведь вы сами преподали ему этот урок, за который вознаграждены на этом свете столь же щедро, как, я не сомневаюсь, ученик ваш скоро будет вознагражден на том.

- Не знаю, что вы разумеете под вознаграждением, - сказал Сквейр,- но если вы намекаете на жалкий дар нашей дружбе, который он соблаговолил отказать мне, то я его презираю, и если бы не мои стесненные обстоятельства, так ни за что бы его не принял.

В эту минуту вошел доктор и начал расспрашивать спорщиков, как обстоят дела наверху.

- Плачевно,- отвечал Тваком.

- Так я и предвидел. Но скажите, пожалуйста, не появились ли какие-нибудь новые симптомы после моего ухода?

- Боюсь, что неблагоприятные,- отвечал Тваком.- После того, что произошло при нашем уходе, мне кажется, обнадеживающего мало.

Врач плоти, должно быть, превратно понял целителя душ, но, прежде чем они успели объясниться, к ним подошел мистер Блайфил с чрезвычайно удрученным видом и объявил, что принес печальные вести: мать его скончалась в Солсбери. По дороге домой с ней случился припадок подагры, болезнь бросилась в голову и желудок, и через несколько часов ее не стало.

- Увы! Увы! - воскликнул доктор. - Поручиться, конечно, нельзя, но жаль, что меня там не было. Подагра - трудная для лечения болезнь, а все же мне удавалось достигать замечательных успехов.

Тваком и Сквейр выразили мистеру Блайфилу соболезнование по случаю постигшей его утраты, причем первый советовал ему перенести это несчастье с христианским смирением, а второй - со стойкостью мужчины. Молодой человек ответил, что ему хорошо известно, что все мы смертны, и что он постарается перенести утрату по мере своих сил, но не может все же не пожаловаться на чрезмерную суровость к нему судьбы, которая приносит врасплох такое прискорбное известие в то время, когда он с часу на час ожидает ужаснейшего из ударов, какими она может поразить его. Настоящий случай, сказал он, покажет, насколько им усвоены наставления, преподанные мистером Твакомом и мистером Сквейром, и если ему удастся пережить столь великие несчастья, он будет всецело обязан этим своим наставникам.

Стали обсуждать, следует ли известить мистера Олверти о смерти сестры. Доктор резко этому воспротивился, в чем, я думаю, согласятся с ним все его коллеги; но Блайфил заявил, что он неоднократно получал от дяди самые решительные приказания никогда и ничего не утаивать от него из опасения разволновать его и что поэтому он не смеет и думать об ослушании, какие бы последствия ни произошли. Что до него лично, сказал Блайфил, то, принимая во внимание философские и религиозные убеждения дяди, он не может согласиться с доктором и не разделяет его опасений. Поэтому он решил сообщить дяде полученное известие: ведь если

мистер Олверти поправится (о чем он, Блайфил, пламенно молит бога), то никогда не простит ему такого рода утайки.

Доктор принужден был подчиниться атому решению, горячо одобренному обоими учеными мужами, и отправился вместе с мистером Блайфилом в комнату больного.

Войдя туда первый, он приблизился к постели мистера Олверти с целью пощупать ему пульс, после чего объявил, что больному гораздо лучше: последнее лекарство сделало чудеса, жар прекратился, и опасность теперь столь же ничтожна, сколь ничтожны были перед этим надежды на благополучный исход.

По правде говоря, положение мистера Олверти никогда не было столь опасным, как изображал его чересчур осторожный доктор. Как умный генерал никогда не смотрит с пренебрежением на неприятеля, хотя бы он значительно уступал ему силами, так и умный врач никогда не относится пренебрежительно к самому ничтожному недомоганию. Если первый поддерживает строжайшую дисциплину, ставит караулы и посылает разведчиков, несмотря на слабость неприятеля, то второй сохраняет серьезное выражение лица и многозначительно покачивает головой при самом пустячном заболевании. И в числе других веских оснований такой тактики оба они могут привести то самое веское, что если им удастся одержать победу, то тем большей славой они себя покроют, а если вследствие какой-нибудь несчастной случайности окажутся побежденными, тем меньше им будет стыда.

Едва только мистер Олверти возвел глаза к небу и поблагодарил бога за дарование этой надежды на выздоровление, как мистер Блайфил подошел к нему с удрученным видом и, приложив к глазам платок, для того ли, чтобы отереть слезы, или же для того, чтобы поступить по совету Овидия, который говорит:

Si nullus erit, tamen excute nullum

"Коль нет слезы, утри пустое место",- сообщил дяде известие, о котором мы только что рассказали читателю.

Олверти выслушал племянника с огорчением, кротостью и безропотностью. Он проронил слезу, но потом овладел собой и воскликнул:

- Да будет воля господня!

Чувствуя себя лучше, он пожелал теперь увидеть посланного, но Блайфил сказал, что его невозможно было удержать ни на минуту, так как, судя по его торопливости, у него на руках было какое-то важное дело; стряпчий жаловался, что его загнали до последней степени, и поминутно повторял, что если бы мог разорваться на четыре части, то для каждой из них нашлось бы дело.

Тогда Олверти попросил Блайфила взять на себя заботы о похоронах. Он выразил желание, чтобы сестра была похоронена в их семейном склепе; а что касается частных дел, то предоставил их на усмотрение племянника, назначив только, какого священника пригласить для совершения обряда.

ГЛАВА IX,

которая, между прочим, может служить комментарием к словам Эсхина, что "опьянение показывает душу человека, как зеркало отражает его тело"

Читатель, может быть, удивится, что в предыдущей главе ни слова не было сказано о мистере Джонсе. Но его поведение было настолько отлично от поведения выведенных там лиц, что мы предпочли не упоминать его имени в связи с ними.

Когда мистер Олверти кончил свою речь, Джонс вышел от него последний. Он удалился в свою комнату, чтобы излить там наедине свое горе; но владевшее им беспокойство не позволило ему долго оставаться там,- он тихонько прокрался к комнате Олверти и долго прислушивался у дверей: изнутри доносился только громкий храп, в котором расстроенному воображению Джонса почудились стоны. Это так его встревожило, что он не вытерпел и вошел к больному; он увидел, что благодетель его спит сладким сном, а сиделка, расположившаяся в ногах мистера

Олверти, храпит во всю мочь. Опасаясь, как бы эта басовая ария не разбудила больного, Джонс немедленно принял меры для ее прекращения, после чего расположился возле сиделки и не тронулся с места, пока вошедшие в комнату Блайфил и доктор не разбудили больного, чтобы пощупать ему пульс и сообщить известие, которое едва ли достигло бы слуха мистера Олверти в такую минуту, если бы Джонс знал его содержание.

Услышав доклад Блайфила о печальном событии, Джонс едва мог сдержать гнев, вызванный в нем столь бесцеремонным поступком, тем более что доктор покачал головой и запротестовал против того, чтобы такие вещи сообщались его пациенту. Однако негодование не настолько отшибло у Тома рассудок, чтобы он не понимал, какой вред может причинить больному резкое замечание по адресу Блайфила, и сдержал свой пыл. Увидя же, что печальное известие вреда не наделало, он так обрадовался, что забыл всякий гнев и не сказал Блайфилу ни слова.

Доктор остался обедать в доме мистера Олверти, после обеда он посетил своего пациента и, возвратясь к обществу, сказал, что с удовольствием может теперь объявить больного вне всякой опасности; лихорадка совершенно прошла, и он не сомневается, что прописанная хина не позволит ей вернуться.

Это до такой степени обрадовало Джонса и привело его в такой неистовый восторг, что он буквально опьянел от счастья - возбуждение, сильно помогающее действию вина; а так как по этому случаю он усердно приложился к бутылке (именно: осушил несколько бокалов за здоровье доктора, а также и прочих сотрапезников), то вскоре опьянел уже по-настоящему.

Кровь Джонса от природы была горячая, а под влиянием винных паров она воспламенилась еще более, толкнув его на самые эксцентричные поступки. Он бросился целовать и душить в своих объятиях доктора, клятвенно уверяя, что после Олверти любит его больше всех людей на свете.

- Доктор! - вскричал он.- Вы заслуживаете, чтобы вам поставили на общественный счет статую за спасение человека, который не только любим всеми, кто его знает, но является благословением общества, славой своей родины и делает честь человеческой природе. Будь я проклят, если я не люблю его больше собственной души!

- Тем больше срама для вас! - воскликнул Тваком.- Впрочем, я думаю, вы имеете все основания любить того, который наделил вас так щедро. Хотя, может быть, для кое-кого было бы лучше, чтобы он не дожил до той минуты, когда ему пришлось бы взять свой подарок обратно.

Джонс с неописуемым презрением взглянул на Твакома и ответил:

- И ты воображаешь, низкая душа, что такие соображения что-нибудь значат для меня? Нет, пусть лучше земля разверзнется и поглотит свои нечистоты (имей я миллионы акров, все равно я сказал бы это), только бы остался жив мой дорогой великодушный друг!

Quis desiderio sit pudor aut modus

*Tarn cari capitis?*¹⁸

Вмешательство доктора предотвратило серьезные последствия ссоры, вспыхнувшей между Джонсом и Твакомом. После этого Джонс дал волю своим чувствам, пропел две или три любовные песни и стал творить всевозможные дурачества, какие способно внушить нам необузданное веселье; он ничуть не был расположен ссориться, а, напротив, сделался в десять раз добродушнее, если только это возможно, чем в трезвом состоянии.

Правду сказать, нет ничего ошибочнее ходячего мнения, будто люди, злые и сварливые в пьяном состоянии, являются достойными всякого уважения, когда они трезвы; на самом деле опьянение не перерождает человека и не создает страстей, которых в нем не было прежде. Оно лишь снимает стражу рассудка и вследствие

этого толкает нас на такие поступки, от которых многие в трезвом виде имели бы довольно расчетливости удержаться. Оно усиливает и распаляет наши страсти (по большей части преобладающую страсть), так что гневливость, влюбчивость, великодушие, веселость, скупость и все прочие наклонности человека за бокалом вина выступают наружу гораздо явственнее.

Но хотя ни в одной нации не бывает столько драк в пьяном виде, как в Англии, особенно среди простонародья (для которого слова "напиться" и "подрасться" почти синонимы), я все-таки не сделал бы отсюда заключения, что англичане первые забияки на свете. Может быть, это происходит только от любви к славе, и правильнее было бы сказать, что в наших соотечественниках больше этой любви и больше отваги, чем в плебейх других национальностей; тем более что в таких случаях редко совершается что-нибудь низкое, неблагоприятное или злобное, напротив, даже во время драки противники проявляют друг к другу доброжелательность; и если пьяное веселье обыкновенно кончается у нас свалкой, то свалки в большинстве случаев кончаются дружбой.

Но вернемся к нашей истории. Хотя у Джонса и в мыслях не было кого-нибудь оскорбить, однако мистер Блайфил чрезвычайно обиделся поведением, столь не вязавшимся с его собственной степенностью и сдержанностью. Оно сильно его раздражало, так как казалось ему весьма неприличным в ту минуту, когда, по его словам, весь дом был погружен в траур по случаю смерти его дорогой матери; и если небу угодно было даровать некоторую надежду на выздоровление мистера Олверти, то ликование сердец было бы приличнее выразить благодарственными молитвами, а не пьяным разгулом, каковой способен скорее навлечь гнев божий, чем отвести его. Тваком, выпивший больше Джонса, но сохранивший мозги свои ясными, поддержал благочестивую рацею Блайфила; Сквейр же, по причинам, о которых читатель, вероятно, догадывается, хранил полное молчание.

Вино, однако же, не настолько одолело Джонса, чтобы он не вспомнил об утрате мистера Блайфила, когда тот о ней упомянул. А будучи всегда готов признать и осудить свои ошибки, он протянул мистеру Блайфилу руку и попросил у него извинения, сказав, что его буйная радость по случаю выздоровления мистера Олверти прогнала у него все прочие мысли.

Блайфил презрительно оттолкнул его руку и с большим негодованием отвечал: несколько не удивительно, что трагические зрелища не производят никакого впечатления на слепого, но сам он имеет несчастье знать, кто были его родители, и потому не может оставаться равнодушным к их потере.

Джонс, который при всем своем добродушии отличался вспыльчивостью, мгновенно вскочил со стула и, схватив Блайфила за шиворот, закричал:

- Так ты, мерзавец, смеешь попрекать меня моим происхождением? - И сопровождал эти слова таким резким движением, что мистер Блайфил очень скоро позабыл о своем миролюбивом характере.

Началась потасовка, которая могла бы иметь весьма печальные последствия, если бы не была прекращена вмешательством Твакома и доктора, ибо что касается Сквейра, то философия возносила его над всеми тревоблениями, и он преспокойно курил свою трубку, как всегда это делал вовремя ссор, нарушая невозмутимость только в те мгновения, когда трубке угрожала опасность быть разбитой у него в зубах.

Разъяренные противники, не имея возможности порешить спор врукопашную, прибегли к обычному в таких случаях способу изливать неутоленный гнев в брани и угрозах. Фортуна, в рукопашной борьбе больше благоволившая Джонсу, перешла в этом словесном поединке всецело на сторону его врага.

Однако при посредничестве нейтральных сторон в конце концов было заключено перемирие, и все снова сели за стол. Джонса уговорили попросить

извинения, а Блайфила - простить его, и таким образом мир был восстановлен, и все пришло in status quo¹⁹.

Но хотя ссора была с виду совершенно прекращена, радостного оживления, нарушенного ею, восстановить не удалось. Веселье пропало, и дальнейшие разговоры состояли лишь из сухого изложения фактов и столь же сухих замечаний по их поводу - род беседы весьма почтенный и поучительный, но очень мало занимательный. А так как мы решили сообщать читателю лишь вещи занимательные, то эту часть разговоров опускаем; скажем лишь, что общество понемногу разошлось, остались только Сквейр да доктор; тогда беседа снова немного оживилась замечаниями по поводу ссоры молодых людей, причем доктор обозвал обоих негодяями, а философ, многозначительно кивнув головой, вполне с этим согласился.

ГЛАВА X,

подтверждающая справедливость многих замечаний Овидия и других, более серьезных писателей, неопровержимо доказавших, что вино часто является предтечей невоздержанности

Из общества, в котором мы его видели, Джонс ушел в поле, чтобы освежиться прогулкой на открытом воздухе перед тем, как снова сесть у постели мистера Олверти. Здесь он предался мечтам о милой своей Софье, от которых его отвлекла на некоторое время опасная болезнь друга и благодетеля, как вдруг случилось одно происшествие, о котором мы сообщаем с прискорбием и о котором, несомненно, с таким же прискорбием будет прочитано; однако нерушимая верность истине, в которой мы поклялись, обязывает нас передать его потомству.

Был прелестный июньский вечер. Герой наш углубился в очаровательную рощу, где шелест листьев, колышаемых легким ветерком, соединялся в чудесной гармонии со сладким журчаньем ручейка и мелодичным пением соловьев. В этой обстановке, как нельзя более подходящей для любви, Джонс обратился мыслями к своей милой Софье. Резвые мечты его без стеснения блуждали по всем ее прелестям, живое воображение рисовало очаровательную девушку в самых восхитительных образах, и пылкое сердце юноши таяло от любви; наконец, бросившись на траву близ ласково журчащего ручья, он разразился следующей тирадой;

- О Софья, какое было бы блаженство, если бы небо привело тебя в мои объятия! Будь проклята судьба, воздвигшая преграду между нами! Если бы только я владел тобой, то, будь даже все твое богатство - рублище, ни один человек в мире не возбудил бы во мне зависти! Сколь презренной явилась бы в глазах моих ослепительнейшая красавица черкешенка, убранная во все драгоценности Индии!.. Но что это я заговорил о другой женщине? Если бы я считал глаза мои способными заглядеться на другую, вот эти руки вырвали бы их. Нет, дорогая Софья, жестокая судьба хоть и разлучает нас навеки, но душа моя будет любить тебя одну. Нерушимую верность к тебе я буду хранить вечно. Хотя мне и не владеть никогда твоим прелестным телом, но ты одна будешь владычицей моих помыслов, моей любви, души моей. Ах, сердце мое так полно нежностью к тебе, что первые красавицы мира лишены для меня всякой прелести, и я буду холоден, как отшельник, в их объятиях! Софья, одна только Софья будет моей! Сколько очарования в этом имени! Я вырежу его на каждом дереве.

С этими словами он вскочил и увидел - не Софью, нет, и не черкешенку, роскошно и изящно убранную для серала восточного вельможи... нет. Без платья, в одной рубашке грубого полотна, и притом не из самых чистых, увлажненная благоуханной испариной, выжатой из тела дневной работой с вилами в руках,- к нему приближалась Молли Сигрим. Герой наш стоял с перочинным ножиком, вынутым из кармана, с вышеупомянутым намерением изрезать кору деревьев. Увидя это, девушка сказала с улыбкой:

- Надеюсь, вы не собираетесь зарезать меня, сквайр?

- Откуда ты взяла, что я собираюсь тебя зарезать? - удивился Джонс.

- После вашего жестокого поступка со мной во время последнего свидания это было бы для меня еще большой милостью,- отвечала она.

И между ними завязался разговор, который я не считаю себя обязанным передавать, а потому опускаю. Довольно будет сказать, что он продолжался целых четверть часа, и по окончании его парочка удалилась в самую густую часть рощи.

Некоторым из моих читателей это происшествие, может быть, покажется неестественным. Однако факт этот справедлив и может быть удовлетворительно объяснен тем, что Джонс, вероятно, считал, что одна женщина лучше, чем ничего, а Молли, должно быть, думала, что двое мужчин лучше, чем один. Помимо этого соображения, читатель благоволит припомнить, что Джонс в это время не был полным господином той чудесной способности рассуждать, при помощи которой люди мудрые и степенные обуздывают свои беспорядочные страсти и воздерживаются от запретных удовольствий; вино совершенно лишило Джонса этой способности. Он был в таком состоянии, что если бы рассудок вздумал хотя бы только увещевать его, то, вероятно, получил бы такой же ответ, какой дал много лет тому назад некий Клеострат глупцу, спросившему, разве ему не стыдно быть пьяным:

- А тебе разве не стыдно увещевать пьяного?

По правде говоря, перед судом государственным опьянение не может служить извинением, но перед судом совести оно сильно смягчает вину. Вот почему Аристотель, хваля законы Питтака, согласно которым пьяных наказывали за преступление вдвойне, сознается, что в законах этих больше государственной мудрости, чем справедливости. И если есть вообще какие-либо извинительные по случаю опьянения проступки, то это, без сомнения, такие, как тот, в котором был повинен в ту минуту мистер Джонс. На эту тему я мог бы представить обширное ученое рассуждение, если бы был уверен, что оно доставит читателю развлечение или сообщит ему нечто такое, чего он не знает. Итак, из уважения к нему, я сохраню свою ученость при себе и вернусь к рассказу.

Замечено, что Фортуна редко делает что-нибудь наполовину. Обыкновенно затеям ее нет конца - вздумает ли она побаловать нас или раздосадовать. Не успел наш герой удалиться со своей Дидоной, как

Speluncam Blifil dux et divinus eandem

Deveniunt...

священник и молодой сквайр, вышедшие чинно прогуляться, показались на тропинке, ведущей в рощу, и Блайфил заметил парочку в ту минуту, когда она скрывалась из виду.

Блайфил тотчас узнал Джонса, хотя был от него на расстоянии свыше ста ярдов, и явственно заметил пол его спутницы, не разглядев только, кто именно она была. Он затрепетал от радости, перекрестился и издал какое-то благочестивое восклицание.

Тваком был удивлен этими неожиданными движениями и спросил, что они означают. На это Блайфил ответил, что он ясно видел какого-то молодчика, удалившегося в кусты вместе с девицей, и не сомневается, что это сделано с дурной целью. Имя Джонса он предпочел умолчать, а почему - об этом предоставляем догадываться проницательному читателю, ибо мы никогда не указываем мотивы человеческих поступков, если есть какая-либо опасность совершить ошибку.

Священник, который был не только человек строгих нравственных правил, но и непримиримый враг всякой распущенности, воспыал гневом при этом сообщении. Он попросил мистера Блайфила немедленно провести его к тому месту и по дороге все время расточал угрозы, перемешанные с жалобами, причем не мог удержаться от некоторых косвенных замечаний по адресу мистера Олверти, намекая, что распущенность местных нравов объясняется главным образом его потаканием пороку, выразившимся в благосклонности к этому ублюдку и в смягчении

справедливой и благодетельной строгости закона, требующего самого сурового наказания для распутных женщин.

Дорога, по которой наши охотники пустились за дичью, густо поросла терновником, который сильно затруднял их движение и при этом так шуршал, что Джонс был заблаговременно предупрежден об их приближении; вдобавок Тваком был настолько неспособен сдерживать свое негодование и изрыгал на каждом шагу такие проклятия, что одного этого было вполне достаточно для оповещения Джонса о том, что его застигли (выражаясь охотничьим языком) прямо в норе.

ГЛАВА XI,

в которой сравнение, выраженное при помощи семимильного периода в духе мистера Попа, вводит читателя в кровопролитнейшую битву, какая может произойти без применения железа или холодной стали

Как в период течки (грубое выражение, которым чернь обозначает нежные сцены, происходящие в густых лесах Гемпшира между любовниками звериной породы), если в минуту, когда круторогий олень замышляет любовную игру, парашенков или иных враждебных ему хищников настолько приблизится к святилищу Венеры Звериной, что стройная лань шарахается в сторону в порыве не то страха, не то резвости, не то жеманства, не то игривости - чувства, которыми природа наградила весь женский пол или, по крайней мере, научила напускать на себя, дабы, по неделикатности самцов, не проникли в самосские мистерии глаза непосвященных, ибо при совершении этих обрядов жрица восклицает вслед за пророчицей Вергилия (находившейся, вероятно, в ту минуту за работой на таком литургийном действе):

Procul, o procul este profani,

*Proclamat vates, totoque absistite luco!*²⁰

если, говоря, во время совершения оленем и его возлюбленной этих священных обрядов, свойственных *generi omni animantium*²¹, к ним отважатся приблизиться враждебные хищники - олень по первому знаку, поданному испуганной ланью, бросается, грозный и яростный, ко входу в чашу, становится здесь на страже своей любви, бьет в землю копытом, потрясает в воздухе рогами и гордо вызывает на бой уstraшенного врага.

Так, и еще грознее, воспрянул наш герой, услышав приближение неприятеля. Он выступил далеко вперед, чтобы скрыть трепещущую лань и по возможности обеспечить ей отступление. Тут Тваком, метнув сначала молнию из воспламененных гневом очей, загремел:

- Срам и позор! Мистер Джонс, возможно ли? Это вы?

- Вы видите, что возможно,- ответил Джонс.

- А кто эта непотребная девка с вами? - спросил Тваком.

- Если со мной есть непотребная девка,- воскликнул Джонс,- так, может быть, я вам и не скажу, кто она?

- Приказываю вам немедленно сказать! - гремел Тваком.- И не воображайте, пожалуйста, молодой человек, будто ваши лета, ограничивши несколько круг моих прав воспитателя, вовсе уничтожили мою власть. Взаимоотношения между учеником и учителем неуничтожимы, как неуничтожимы и все прочие взаимоотношения между людьми, ибо все они берут свое начало свыше. Поэтому вы и теперь обязаны мне повиноваться, как в то время, когда я учил вас азам.

- Знаю, что вам этого хочется,- воскликнул Джонс,- только этому не бывать, потому что время убеждений березовыми доводами миновало.

- Тогда я заявляю вам прямо, что я решил дознаться, кто эта непотребная девка.

- А я заявляю вам, что вы этого не узнаете, - возразил Джонс.

Тут Тваком хотел было двинуться вперед, но Джонс схватил его за руки; мистер Блайфил бросился на выручку священнику, крича, что не позволит оскорблять своего старого учителя.

Джонс, увидев, что ему приходится иметь дело с двумя, решил как можно скорее отделаться от одного из них. Поэтому он сначала напал на слабейшего; оставив священника, он нанес молодому сквайру в грудь удар, который пришелся так счастливо, что тот сразу же растянулся на земле.

Тваком был весь обуян желанием обнаружить спутницу Джонса и потому, почувствовав себя на свободе, устремился прямо в кусты, не заботясь о судьбе своего приятеля, но не успел он сделать нескольких шагов, как Джонс, расправившись с Блайфилом, догнал его и оттащил назад за полу кафтана.

Богослов был в молодости искусным бойцом и стяжал себе кулаком большую славу как в школе, так и в университете. Теперь, правда будучи в годах, он поотстал в этом благородном искусстве, однако отвага его была так же непоколебима, как и вера, и тело ничуть не утратило своей крепости. Вдобавок, как читатель, может быть, и сам догадался, он был темперамента вспыльчивого. Оглянувшись и увидев приятеля поверженным, а полу своего кафтана бесцеремонно схваченной человеком, который во всех своих прежних столкновениях с ним играл чисто страдательную роль (обстоятельство, сильно отягчавшее ситуацию), он потерял всякое терпение, занял наступательную позицию и, напрягши все свои силы, атаковал Джонса во фронт не менее яростно, чем в былые дни атаковывал его с тылу.

Герой наш встретил вражескую атаку с величайшим бесстрашием, и грудь его зазвучала под ударом. Он мгновенно вернул его с не меньшей силой, целясь тоже в грудь священника, но тот ловко отбил кулак Джонса, так что тот угодил ему только в брюхо, где в это время покоились два фунта говядины и столько же пудинга, и потому никакого гулкового звука отсюда не последовало. Много мощных ударов, которые гораздо приятнее и легче наблюдать, чем описывать, было нанесено с обеих сторон, пока наконец бешеный выпад Джонса коленом в грудь Твакома не ослабил последнего до такой степени, что победа не могла бы дольше оставаться сомнительной, если бы Блайфил, успевший тем временем оправиться, не возобновил битвы и, сцепившись с Джонсом, не дал священнику возможности встряхнуться и перевести дух.

Тогда оба они соединенными силами напали на нашего героя, удары которого не сохранили той силы, с какой они сыпались первоначально, настолько он ослабел в поединке с Твакомом, — ибо хотя педагог предпочитал разыгрывать соло на человеческом инструменте и в последнее время только и практиковал такой способ, все же он еще довольно хорошо помнил прежнее искусство, чтобы уверенно исполнить свою партию также и в дуэте.

Победа, по-видимому, уже решалась, по нынешнему обычаю, численным перевесом сил, как вдруг в бой вступила четвертая пара кулаков и немедленно приветствовала священника, между тем как их владелец закричал:

— Ну, не стыдно ли вам, черт бы вас побрал, нападать вдвоем на одного?

И битва, которую во внимание к ее размаху, следует назвать королевской, закипела с еще большей силой, пока Блайфил не был вторично повержен Джонсом, а Тваком не запросил пощады у своего нового противника, который оказался не кем иным, как мистером Вестерном, ибо в пылу сражения бойцы не узнали его.

Действительно, почтенный сквайр, прогуливаясь в этот день с компанией, случайно зашел на поляну, где разыгрывалась кровопролитная битва; увидя троих сражающихся, он тотчас сообразил, что двое должны быть против одного, оставил общество и, проявляя больше благородства, чем расчетливости, бросился на помощь слабейшей стороне. Рыцарский поступок его, по всей вероятности, спас мистера Джонса от ярости Твакома и благоговейной дружбы Блайфила к своему старому наставнику, ибо, не говоря уже о неравенстве сил, рука Джонса еще недостаточно оправилась после перелома и не обладала прежней мощью. Неожиданное подкрепление, однако, скоро положило конец битве, и Джонс со своим

союзником вышли из нее победителями.

ГЛАВА XII,

в которой дано зрелище более волнующее, нежели окровавленные тела Твакома и Блайфила и дюжины им подобных

Тут показались спутники мистера Вестерна, явившиеся как раз в ту минуту, когда сражение окончилось. Это были почтенный священнослужитель, которого мы видели недавно за столом мистера Вестерна, миссис Вестерн - тетка Софьи, и, наконец, сама прекрасная Софья.

Поле кровавой битвы представляло собой в это время следующую картину. Побежденный Блайфил, весь бледный и почти бездыханный, был распростерт на земле. Возле него стоял победитель Джонс, покрытый кровью - частью своей собственной, а частью принадлежавшей недавно его преподобию мистеру Твакому. Поодаль названный Тваком, подобно царю Пору, мрачно сдавался победителю. Последним действующим лицом был Вестерн Великий, великодушно дававший пощаду побежденному врагу.

Блайфил, почти без признаков жизни, первый стал предметом заботливости всех, в особенности миссис Вестерн; вынув из кармана скляночку с нюхательной солью, она собиралась уже поднести ее к носу пострадавшего, как вдруг внимание общества было отвлечено от бедного Блайфила, душе которого был предоставлен удобный случай отправиться, если бы ей вздумалось, без дальних церемоний на тот свет.

Дело в том, что предмет более прекрасный и более достойный сожаления лежал без движения перед ними. То был не кто иной, как сама прелестная Софья, которая, при виде ли крови, из боязни ли за отца или по какой другой причине, упала в обморок, прежде чем кто-нибудь мог поспеть ей на помощь.

Миссис Вестерн первая увидела это и вскрикнула. Тотчас же раздалось два или три голоса: "Мисс Вестерн умерла!" - и все сразу стали требовать нюхательной соли, воды и других лекарств.

Читатель, может быть, помнит, что при описании этой рощи мы упомянули о журчащем ручейке, который, не в пример ручьям, изображаемым в пошлых романах, протекал здесь не для того только, чтобы журчать. Нет! Фортуна удостоила этот ручеек высшей чести, чем какая выпадала когда-либо самым счастливым ручьям, орошающим равнины Аркадии.

Джонс растирал Блайфилу виски, испугавшись, не слишком ли он поусердствовал во время борьбы, когда слова "мисс Вестерн" и "умерла" одновременно поразили его слух. Он вскочил, бросил Блайфила на произвол судьбы, помчался к Софье, и, в то время как остальные метались без толку взад и вперед в поисках воды на сухих дорожках, подхватил ее на руки и побежал через полянку к вышеупомянутому ручейку; войдя в воду, он принялся усердно обрызгивать ей лицо, голову и шею.

К счастью для Софьи, то самое замешательство, которое воспрепятствовало ее прочим спутникам оказать ей помощь, помешало им также удержать Джонса. Он пробежал уже полдороги, прежде чем они сообразили, что он делает, и успел вернуть девушку к жизни, прежде чем они достигли берега ручья. Софья протянула руки, открыла глаза и воскликнула: "Боже мой!" - в ту самую минуту, когда подросли отец ее, тетка и священник.

Джонс, до сих пор державший дорогую ношу в своих объятиях, опустил ее на землю, но в то же самое мгновение нежно приласкал ее, что не могло бы ускользнуть от ее внимания, если бы она уже совершенно пришла в чувство. Но так как она не обнаруживала никакого недовольства при этой вольности, то мы думаем, что в ту минуту она еще не совсем очнулась от обморока.

Трагическая сцена вдруг обратилась в радостную, в которой герою нашему,

несомненно, принадлежала главная роль; ибо если он чувствовал, вероятно, гораздо больший восторг по случаю спасения Софьи, чем сама она, то и поздравления, приносимые ей, не могли сравняться с ласками, посыпавшимися на Джонса; особенно неистовствовал мистер Вестерн, который, обняв раза два свою дочь, бросился на радостях душить и целовать Джонса. Он называл его спасителем Софьи и объявил, что готов отдать ему все, за исключением ее и своего поместья, впрочем, немного придя в себя, он исключил также своих гончих, Кавалера и Мисс Слауч (так называлась его любимая кобыла).

Успокоившись окончательно насчет дочери, сквайр обратил свою заботливость на Джонса.

- Скинь-ка голубчик, кафтан да умой лицо, оно у тебя здорово разукрашено, приговаривал Вестерн.- Живее, живей умывайся да пойдем ко мне, мы отыщем для тебя другое платье.

Джонс беспрекословно повиновался, снял кафтан, подошел к воде и вымыл лицо и грудь, которая была избита и окровавлена в не меньшей степени. Но, смывши кровь, вода не могла удалить черных и синих пятен, которыми его изукрасил Тваком. Заметив их, Софья невольно вздохнула и бросила на Джонса взгляд, полный невыразимой нежности.

Встреченный им взгляд этот произвел на него неизмеримо сильнее действие, чем все ушибы, полученные в драке. Действие, однако, совсем иного свойства - столь благотворное и успокоительное, что если бы даже он был не избит, а изранен, то и тогда оно прогнало бы на несколько минут всякую боль.

Общество отправилось теперь в обратный путь и вскоре дошло до того места, где Твакому удалось наконец поставить мистера Блайфила на ноги. По этому случаю мы не можем не выразить благочестивого пожелания, чтобы все споры решались только тем оружием, которым снабдила нас Природа, знающая, что нам годится, и чтобы холодное железо вонзалось только во внутренности земли. Тогда война, любимое занятие монархов, сделалась бы почти безвредной и можно было бы давать сражения между многочисленными армиями по прихоти высокопоставленных дам, которые вместе с самими королями любовались бы зрелищем битвы; тогда поле ее можно было бы спокойно усеивать человеческими трупами, для того чтобы через несколько минут мертвецы или значительнейшая часть их, подобно мистеру Байеса, встали и ушли церемониальным маршем под звуки барабана или скрипки, смотря по предварительному соглашению.

Я желал бы избежать обвинения в юмористическом трактовании этой темы, иначе серьезные политики, которые, я знаю, шуток не любят, пожалуй, скорчат презрительную гримасу. Но, говоря серьезно, разве сражения не могли бы решаться большим числом поломанных черепов, расквашенных носов и подбитых глаз, как теперь они решаются большими кучами изувеченных и убитых человеческих тел? Разве нельзя таким же способом брать города? Конечно, предложение это чрезвычайно невыгодное для французов, потому что при этом они лишились бы преимущества над другими нациями, доставляемого им высоким искусством их инженеров; но, принимая в соображение рыцарский характер и благородство этого народа, я убежден, что они не откажутся сражаться со своим противником равными силами, как это делается в поединках.

Однако, как ни желательны такие преобразования, мало надежды на проведение их в жизнь, поэтому я ограничиваюсь этим кратким наброском и возвращаюсь к прерванному рассказу.

Вестерн стал расспрашивать о причинах ссоры. Ни Блайфил, ни Джонс ничего ему не ответили, Тваком же сказал со злобой:

- Причина, я думаю, недалеко отсюда: пошарьте в кустах, и вы найдете ее.
- Найдем ее? - удивился Вестерн.- Как! Неужели вы дрались из-за девчонки?

- Спросите этого джентльмена в жилетке, он лучше знает,- отвечал Тваком.

- Ну, тогда, конечно, девчонка! - воскликнул Вестерн.- Ах, Том, Том, какой же ты сластена! Однако, джентльмены, будемте друзьями и пойдем ко мне, выпьем мировую.

- Прошу извинить меня, сэр,- сказал Тваком,- это не пустяки для человека моего звания потерпеть такое оскорбление от мальчишки и быть им избитым только за то, что хотел исполнить свой долг и пытался открыть и привести к судье гулящую девку. Впрочем, главная вина тут падает на мистера Олверти и на вас: если бы вы строже взыскивали за нарушение законов, как вам надлежит делать, то скоро очистили бы всю нашу местность от этой погани.

- Скорее я очистил бы ее от лисиц,- отвечал Вестерн.- По-моему, мы должны поощрять пополнение убыли нашего населения, которую мы терпим каждый день на войне. Где же она, однако? Покажи ее, пожалуйста, Том.

И он принялся шарить по кустам таким же способом и с такими же возгласами, как если бы хотел поднять зайца. Через несколько минут раздался его крик:

- Го, го! Зайчик недалеко! Клянусь честью, вот его нора. Только, сдается, дичь улизнула.

Сквайр действительно обнаружил место, откуда бедная девушка при начале драки улепетнула со всех ног, не хуже зайца.

Тут Софья стала просить отца вернуться домой, говоря, что ей нехорошо и она боится повторения обморока. Сквайр тотчас исполнил ее желание (потому что был нежно любящим родителем) и снова пригласил к себе все общество отужинать. Однако Блайфил и Тваком решительно отказались: первый сказал, что есть мною причин, заставляющих его отклонить приглашение сквайра, по называть их сейчас ему неудобно, а второй объявил (может быть, справедливо), что человеку его звания неприлично являться куда-либо в таком виде.

Что же касается Джонса, то он был неспособен отказаться от удовольствия находиться подле своей Софьи, почему и продолжал путь вместе со сквайром Вестерном и его дамами, предоставив приходскому священнику замыкать шествие. Этот последний хотел было остаться с Твакомом, говоря, что уважение к сану не позволяет ему покинуть собрата, но Тваком отклонил его заботливость и довольно нелюбезно заставил его идти с мистером Вестерном.

Так кончилась эта кровавая битва; и ею да закончится пятая книга нашей истории.

КНИГА ШЕСТАЯ,

ОХВАТЫВАЮЩАЯ ОКОЛО ТРЕХ НЕДЕЛЬ

ГЛАВА I

О любви

В последней книге нам пришлось иметь довольно много дола с любовной страстью, а на следующих страницах мы должны будем говорить об этом предмете еще обстоятельнее. Поэтому здесь кстати, пожалуй, заняться исследованием новейшей теории, принадлежащей к числу многих других замечательных открытий наших философов, согласно которой такой страсти вовсе не существует в человеческом сердце.

Относятся ли эти философы к той самой удивительной секте, о которой с почтением отзывался покойный доктор Свифт на том основании, что они единственно силой гения, без малейшей помощи науки или даже просто чтения, открыли глубочайшую и драгоценнейшую тайну, что бога нет, или, может быть, скорее, они одного толка с теми, которые несколько лет назад переполошили весь мир, доказывая, что в человеческом естестве не содержится ничего похожего на добродетель и доброту, и выводя все наши хорошие поступки из гордости,- этого я не берусь здесь решить. По правде говоря, я склонен подозревать, что все эти искатели

истины как две капли воды похожи на людей, занятых нахождением золота. По крайней мере, способ, применяемый этими господами при отыскании истины и золота, одинаковый: и те и другие копаются, роются и возятся в пакостных местах, и первые в наипакостнейшем из всех - в грязной душе.

Но если в отношении метода, а, может быть, также и результатов, искатели истины и золотоискатели чрезвычайно похожи друг на друга, то по части скромности они между собой несравнимы. Слыхано ли когда-нибудь, чтобы алхимик, стремящийся получить золото, имел бесстыдство или глупость утверждать, убедившись в безуспешности своих опытов, что на свете нет такого вещества, как золото? Между тем искатель истины, покопавшись в помойной яме - в собственной душе - и не найдя там ни малейших проблесков божества и ничего похожего на добродетель, доброту, красоту и любовь, очень откровенно, очень честно и очень последовательно заключает отсюда, что ничего этого не существует во всем мироздании.

Однако во избежание всяких пререканий с этими философами, если их можно так назвать, и чтобы доказать нашу готовность к миролюбивому решению вопроса, мы сделаем им кое-какие уступки, которые, может быть, положат конец спору.

Во-первых, мы допускаем, что есть души, и к ним, может быть, принадлежат души наших философов, совершенно чуждые малейших признаков вышеупомянутой страсти.

Во-вторых, то, что обыкновенно называется любовью, именно: желание утолить разыгравшийся аппетит некоторым количеством нежного белого человеческого мяса, ни в коем случае не есть та страсть, которую я здесь отстаиваю. То чувство правильнее будет назвать голодом; и если обжора без стеснения прилагает слово "любовь" к своему аппетиту и говорит, что он любит такие-то и такие-то блюда, то человек, любящий такой любовью, с одинаковым правом может сказать, что он алчет такой-то и такой-то женщины.

В-третьих, я допускаю, и считаю это самой приемлемой уступкой, что хотя та любовь, на защиту которой я выступаю, удовлетворяется гораздо более деликатным способом, однако и она ищет удовлетворения не меньше, чем самое грубое из всех наших влечений.

И наконец, я допускаю, что эта любовь, когда она направлена на существо другого пола, весьма расположена для полного наслаждения приглашать себе на помощь только что мной упомянутый голод, и он не только ее не ослабляет, но, напротив, повышает все ее восторги до степени, едва доступной воображению людей, никогда не знавших иных волнений, кроме тех, что проистекают из одного лишь вожделения.

Взамен этих уступок я требую от наших философов согласиться с тем, что в сердцах некоторых (я убежден, даже многих) людей живут добрые и благожелательные чувства, побуждающие их способствовать счастью других; что эта бескорыстная деятельность, подобно дружбе, подобно родительской и сыновней любви, подобно всякой вообще филантропии, доставляет сама по себе большое и изысканное наслаждение; что если мы не назовем этого чувства любовью, то у нас нет для него иного названия; что хотя восторги, проистекающие из такой чистой любви, могут быть повышены и услаждены чувственным желанием, однако они существуют и независимо от последнего, не разрушаясь его вторжением; и наконец, что уважение и благодарность являются подлинными источниками любви, как молодость и красота служат источниками желания, и поэтому хотя такое желание и проходит естественным образом, когда годы или болезнь поражают его предмет, однако они не способны оказать никакого действия на любовь и бессильны поколебать или уничтожить в добром сердце чувство или страсть, в основе которого лежит благодарность и уважение.

Отрицать существование страсти, наблюдая постоянно ее очевиднейшие проявления, представляется мне весьма странным и нелепым. Такое отрицание может проистекать только из рассмотренного нами самоослепления. Но как оно несправедливо! Разве человек, не обнаруживающий в собственном сердце никаких следов корыстолюбия или честолюбия, заключает отсюда, что эти страсти вовсе не свойственны человеческой природе? Почему же тогда нам скромно не придерживаться одинакового правила при суждении как о пороках, так и о добродетелях людей? Почему нам непременно хочется, как говорит Шекспир, "вкладывать целый мир в нашу собственную особу"?

Боюсь, это происходит от непомерного тщеславия. Это один из примеров лести, которую почти все мы расточаем собственному уму. Едва ли найдется человек, который, при всем своем презрении к лъстцам, не опускался бы до самой низкой лести перед самим собой.

Итак, я обращаюсь за подтверждением правоты моих замечаний к людям, сознающим в собственной душе то, что мной здесь высказано.

Исследуйте свое сердце, любезный читатель, и скажите, согласны вы со мной или нет. Если согласны, то на следующих страницах вы найдете примеры, поясняющие слова мои; а если нет, то смею вас уверить, что вы уже сейчас прочли больше, чем можете понять; и вам было бы разумнее заняться вашим делом или предаться удовольствиям (каковы бы они ни были), чем терять время на чтение книги, которой вы не способны ни насладиться, ни оценить. Говорить вам о перипетиях любви было бы так же нелепо, как объяснять природу цветов слепорожденному, ибо ваше представление о любви может оказаться столь же превратным, как то представление, которое, как нам рассказывают, один слепой составил себе о пунцовом цветке: этот цвет казался ему очень похожим на звук трубы; любовь тоже может показаться вам очень похожей на тарелку супа или на говяжий филей.

ГЛАВА II

Характеристика миссис Вестерн, ее великой учености и знания света и пример ее глубокой проницательности, проистекавшей из этих качеств

Читатель расстался с мистером Вестерном, его сестрой и дочерью, когда они возвращались с Джонсом и священником в дом мистера Вестерна, где большая часть этого общества и провела вечер в радости и веселье. Одна только Софья оставалась задумчивой; что же касается Джонса, то хотя любовь сделалась теперь полновластной владычицей его сердца, однако удовольствие по случаю выздоровления мистера Олверти и присутствие его возлюбленной да еще в придачу нежные взгляды, которыми она время от времени невольно дарила его, так оживили нашего героя, что он соединял в себе веселье остальных трех участников этой пирушки, может быть самых веселых людей на свете.

Ту же задумчивость сохраняла Софья и на следующее утро за завтраком; она удалилась из-за стола тоже раньше обычного, оставив отца и тетку одних. Сквайр не обратил никакого внимания на перемену в расположении духа дочери. Хотя он и интересовался политикой и дважды был кандидатом от округа на выборах, но, по правде говоря, не отличался большой наблюдательностью. Сестра его была дама другого сорта. Она жила при дворе и видела свет. Там она приобрела все знания, какие обыкновенно приобретаются в означенном свете, и ей в совершенстве были известны манеры, обычаи, церемонии и моды. Но этим не ограничивалась ее эрудиция. Она значительно усовершенствовала свои ум учением и не только перечитала все современные комедии, оперы, оратории, поэмы и романы, о которых умела высказать при случае критическое замечание, но прочла также с начала до конца "историю Англии" Ранена, римскую историю Ичарда, множество французских "Memoires pour servir a l'Histoire"²² и вдобавок большую часть политических памфлетов и журналов, появившихся за последние двадцать лет. Из них она почерпнула

обширные сведения по части политики и могла рассуждать очень основательно о положении дел в Европе. Кроме того, она была великолепно осведомлена в науке любви и лучше кого-либо знала, кто с кем состоит в каких отношениях, - знание, которое доставалось ей тем легче, что во время приобретения его она не отвлекалась собственными делами по этой части, оттого ли, что не имела к ним расположения, или же оттого, что этого расположения у нее никто не добивался; последнее было вероятнее, ибо ее мужеподобная наружность и шесть футов роста в соединении с ее повадками и ученостью препятствовали, должно быть, мужчинам видеть в ней женщину, несмотря на юбки. Тем не менее, благодаря научному подходу к вещам, миссис Вестерн в совершенстве знала, хотя на опыте и не испробовала, все штучки, пускаемые в ход дамами, когда они желают поощрить поклонника или скрыть свое чувство, со всем арсеналом улыбок, глазок и тому подобным, который нынче в употреблении в высшем свете. Словом, ни один дамский прием по части притворства и жеманства не ускользнул от ее наблюдений, но о простых и безыскусственных движениях сердца честной натуры она знала мало, потому что таких вещей ей никогда не приходилось видеть.

Вооруженная этой удивительной осведомленностью, миссис Вестерн сделала, как ей казалось, важное открытие в душе Софьи. Первый намек подало ей поведение девушки на поле битвы; возникшие у нее тогда догадки были подтверждены кое-какими наблюдениями, произведенными в тот вечер и на другое утро. Однако она очень боялась совершить ошибку и потому целые две недели носила тайну в груди своей, выдавая ее только косвенными намеками: кривыми улыбками, подмигиванием, кивками и роняемыми время от времени загадочными словами, что сильно встревожило Софью, но не произвело ни малейшего впечатления на ее отца.

Но, проникшись наконец твердым убеждением в справедливости своих догадок, миссис Вестерн однажды утром воспользовалась случаем, когда осталась наедине с братом, и прервала насвистываемую им песенку следующими словами:

- Скажите, братец, вы не заметили в последнее время ничего особенного в моей племяннице?

- Нет, не заметил,- отвечал Вестерн.- А разве с ней что-нибудь неладно?

- Да, мне кажется, что неладно,- отвечала миссис Вестерн,- и очень даже неладно.

- Странно: она ни на что не жалуется,- воскликнул Вестерн,- и оспа у нее уже была!

- Братец,- возразила миссис Вестерн,- девушки подвержены и другим болезням, кроме оспы, подчас гораздо опаснейшим.

Эти слова привели сквайра в сильное беспокойство, он серьезно попросил сестру не томить его и сказать, уж не заболела ли Софья, прибавив, что, как ей известно, он любит дочь больше жизни и пошлет для нее на край света за лучшим доктором.

- Полно, успокойтесь,- отвечала сестра с улыбкой,- болезнь ее не такая страшная. Но, я думаю, братец, вы не сомневаетесь, что я знаю свет, так поверьте мне: или я ошибаюсь, как никогда в жизни, или моя племянница безнадежно влюблена.

- Что? Влюблена?! - с гневом воскликнул Вестерн.- Влюблена без моего ведома?! Да я лишу ее наследства, прогоню со двора нагишом, без гроша! Как?! За всю мою доброту и за всю мою любовь влюблена, не спросив моего позволения?!

- Надеюсь,- возразила миссис Вестерн,- вы не прогоните дочери, которую любите больше жизни, не узнав раньше, на ком она остановила свой выбор. Предположим, он пал на того, кого вы и сами пожелали бы ей в женихи,- надеюсь, вы не станете тогда на нее сердиться?

- Понятно, нет,- вскричал Вестерн,- это другое дело! Если она выйдет замуж за

человека, которого укажу ей я, так пусть себе любит, кого ей вздумается, мне до этого дела нет.

- Вот это разумно сказано,- отвечала сестра.- Но я думаю, что человек, на которого пал ее выбор,- тот самый, кого и вы для нее выбрали бы. Если это не так, то все мое знание света никуда не годится, а согласитесь, братец, что я все-таки его довольно знаю.

- Не буду спорить, сестрица,- сказал Вестерн,- вы знаете свет не хуже всякой другой: это по женской части. Не люблю я только, когда вы толкуете о политике: это наше дело, и юбкам нечего в такие дела соваться. Но кто же, однако, ее избранник?

- Так я вам и скажу! Нет, извольте догадаться сами. Такому великому политику, как вы, это нетрудно сделать. Ум, который проникает в кабинеты государей и открывает тайные пружины, приводящие в движение государственные колеса всех политических машин Европы, конечно, легко разгадает, что творится в простом и неискушенном сердце девушки.

- Сестра,- нетерпеливо воскликнул сквайр,- я уже не раз просил вас оставить в разговоре со мной эту придворную тарабарщину! Говорю вам, что вашего жаргона я не понимаю, хоть и читаю журналы и "Лондонскую вечернюю почту". Случается, правда, что та или другая строчка поставит в тупик, потому что половина букв пропущена, а все же я прекрасно знаю, что это значит: знаю, что наши дела идут не так хорошо, как следовало бы, и все из-за взяток да подкупов.

- Ваше деревенское невежество внушает мне истинное сожаление,- сказала миссис Вестерн.

- Неужто? А мне так ваша столичная ученость внушает жалость. Чем угодно готов быть, только не придворным, не пресвитерианцем и не ганноверцем, как иные.

- Если вы намекаете на меня,- отвечала сестра,- так ведь вы знаете, братец, что я женщина, и, стало быть, это не имеет никакого значения. Кроме того...

- Я знаю, что ты женщина,- перебил ее сквайр,- и счастье твое, что женщина. Если бы ты была мужчиной, так я уже дал бы тебе щелчка.

- В этих щелчках все ваше воображаемое превосходство. Кулак у вас действительно крепче нашего, а мозги - нисколько. Счастье ваше, что вы можете нас прибить, иначе, поверьте, благодаря превосходству нашего ума мы сделали бы всех вас тем же, чем уже сделали столько храбрых, мудрых, остроумных и образованных: нашими рабами.

- Очень рад, что знаю ваши намерения,- отвечал сквайр,- но об этом потолкуем в другой раз. А теперь скажите, кто же он, однако, этот избранник дочери?

- Минуточку терпения: дайте переварить величественное презрение, которое я питаю к вашему полу, иначе я буду слишком на вас сердиться. Ну вот - я постаралась проглотить свой гнев. А теперь, великий политик, что вы думаете о мистере Блайфиле? Разве Софья не лишилась чувств, увидя его лежащим без дыхания? Разве, придя в себя, она не побледнела снова, когда мы подошли к тому месту поляны, где он стоял? И какую вы укажете причину ее грусти в тот вечер за ужином, на следующее утро, да и все эти дни?

- Клянусь святым Георгием,- воскликнул сквайр,- теперь, когда вы меня надоумили, я все припоминаю! Разумеется, это так, и я от всего сердца рад этому. Я знал, что Софья хорошая девочка и не доставит мне огорчения своей любовью. Никогда в жизни у меня еще не было такой радости,- ведь наши поместья бок о бок! Я и сам об этом подумывал: оба поместья уже словно сочетались браком, и жаль было бы разлучить их. Есть, конечно, в королевстве имения и побольше, да не в нашем графстве, и я готов лучше пойти на уступки, чем выдать дочь за чужого или иноземца. К тому же большая часть крупных поместий в руках лордов, а я самое слово это ненавижу. Как же, однако, мне поступить? Посоветуйте, сестрица. Потому что, повторяю, вы, женщины, смыслите в этих делах больше нашего.

- Покорнейше вас благодарю, сэр,- отвечала миссис Вестерн,- премного вам признательна, что вы хоть на что-нибудь нас годными считаете. Если вы удостоиваете спросить у меня совета, то, я полагаю, вам лучше всего самому сделать предложение Олверти. Когда оно исходит от родителей, в нем нет ничего неприличного. В "Одиссее" мистера Попа царь Алкиной сам предлагал свою дочь в жены Улиссу. Мне, конечно, нет надобности предупреждать такого глубокого политика, что не следует говорить о том, что ваша дочь влюблена,- это было бы против всяких правил.

- Хорошо,- сказал сквайр,- сделаю предложение. Только уж задам я ему, если он мне откажет!

- Не беспокойтесь,- возразила миссис Вестерн,- партия слишком выгодная, чтобы встретить отказ.

- Ну, не знаю,- отвечал сквайр.- Олверти ведь чудак, и деньги для него ничего не значат.

- Какой же вы плохой политик, братец! - укоризненно заметила сестра. Разве можно так слепо доверять словам? Неужели вы думаете, что мистер Олверти презирает деньги больше других, потому что он заявляет об этом? Такое легковерие пристало бы больше нам, слабым женщинам, чем мудрому полу, который создан богом для того, чтобы заниматься политикой. Право, братец, вас бы уполномочить вести переговоры с Францией. Французы тотчас вас убедили бы, что берут города исключительно с целью самозащиты.

- Сестра,- презрительно оборвал ее сквайр,- пусть ваши придворные друзья отвечают за взятые города; вы женщина, и я не стану вас порицать, ибо, я полагаю, они все же настолько умны, чтобы не доверять секретов бабам.

И он так саркастически рассмеялся, что миссис Вестерн не могла больше выдержать. Слова брата задели ее за живое (ибо она действительно была хорошо осведомлена в этих делах и принимала их близко к сердцу), она вспыхнула, раскричалась, назвала брата шутом и олухом и объявила, что не желает дольше оставаться у него в доме.

Сквайр, вероятно, никогда не читал Макиавелли, однако был во многих отношениях тонким политиком. Он строго придерживался мудрых правил, усердно насаждаемых в политико-перипатетической школе биржи. Он знал настоящую цену и единственное употребление денег, заключавшееся в том, чтобы копить их. Равным образом он был хорошо осведомлен в законах о наследстве, о переходе имения обратно к дарителю и тому подобном, часто высчитывал величину сестрина состояния и размышлял, достанется ли оно ему или его потомкам. В сквайре было слишком много благоразумия, чтобы пожертвовать всем этим из-за пустой размолвки. Увидев, что дело зашло слишком далеко, он начал думать о примирении; задача была нетрудная, потому что миссис Вестерн очень любила брата и еще больше - племянницу; хотя она болезненно воспринимала насмешки над ее знаниями в области политики, которыми очень гордилась, но была женщина необыкновенно добрая и покладистая.

Вот почему, отправившись первым делом на конюшню и заперев там всех лошадей, после чего их можно было вывести разве только через окно, сквайр вернулся потом к сестре; он принялся всячески ее ублажать и задабривать, взяв назад все, что ей сказал, и утверждая прямо противоположное тому, что так ее разгневало. Наконец, он призвал себе на помощь красноречие Софьи, которая, помимо чарующего и подкупающего обращения, имела еще и то преимущество, что тетка всегда выслушивала ее любезно и благосклонно. Результатом всего этого было то, что миссис Вестерн добродушно улыбнулась и сказала:

- Вы настоящий кроат, братец. Но и кроаты на что-нибудь да годны в армии императрицы-королевы; так и вы не без добрых качеств. Поэтому я попробую еще

раз подписать с вами мирный договор, но только смотрите не нарушайте его; по крайней мере, раз вы такой превосходный политик, я буду ожидать, что, подобно французам, вы не нарушите его до тех пор, пока этого не потребуют ваши интересы.

ГЛАВА III,

содержащая два вызова критикам

Уладив дело с сестрой, как мы видели в предыдущей главе, сквайр хотел, не откладывая ни минуты, сделать предложение Олверти, так что миссис Вестерн стоило огромного труда отговорить брата от поездки с этой целью к соседу во время его болезни.

Мистер Олверти был приглашен отобедать к мистеру Вестерну, но болезнь помешала ему воспользоваться приглашением. Поэтому, выйдя из-под опеки медицины, он собрался исполнить свое обещание, как делал это всегда и в важных делах, и в самых ничтожных.

В промежутке между разговором, приведенным в предыдущей главе, и этим званым обедом Софья начала догадываться по некоторым неясным намекам, брошенным теткой, что эта проницательная дама заметила ее равнодушие к Джонсу. Она решила воспользоваться предстоящим случаем, чтобы рассеять все подобные подозрения, и с этой целью начала играть несвойственную ей роль.

Первым делом она постаралась скрыть свою глубокую сердечную грусть под маской самого беззаветного веселья. Далее, она разговаривала исключительно с мистером Блайфилом и в течение целого дня ни разу даже не взглянула на беднягу Джонса.

Сквайр был в таком восторге от дочери, что почти не прикасался к кушаньям и только то и делал, что кивал и подмигивал сестре в знак своего одобрения; но та сначала вовсе не была так обрадована, как ее брат, тем, что видела.

Словом, Софья настолько переиграла свою роль, что заронила было в тетке некоторые сомнения, и миссис Вестерн начала подозревать тут притворство; однако, будучи женщиной весьма тонкого ума, скоро объяснила его тонкой политикой Софьи. Она вспомнила, сколько намеков сделала она племяннице насчет ее влюбленности, и вообразила, что девушка хочет таким образом разуверить ее при помощи преувеличенной вежливости - мнение, которое еще больше подтверждала необыкновенная веселость Софьи, не покидавшая ее в течение целого дня. Не можем здесь не заметить, что это предположение было бы более основательно, если бы Софья провела десяток лет в атмосфере Гровенор-сквера, где молодые дамы научаются удивительно ловко играть той страстью, которая является делом весьма серьезным в рощах и лесах за сто миль от Лондона.

По правде говоря, при разоблачении плутовства других очень важно, чтобы наша собственная хитрость была, если можно так выразиться, настроена в тон с чужой: подчас самые тонкие мошенники попадают впросак, воображая других умнее или, лучше сказать, ловчее, чем они есть на самом деле. Так как замечание это отличается необыкновенной глубиной, то я поясню его такой сказочкой. Три крестьянина преследовали одного вильтширского вора по улицам Brentforda. Самый простоватый из них, увидя вывеску "Вильтширская гостиница", предложил своим товарищам зайти туда, в уверенности, что они найдут там своего земляка; другой, поумнее, посмеялся над его простотой; но третий, самый умный, сказал: "Давайте все-таки зайдем: может быть, он думает, что нам в голову не придет искать его между земляками". Они вошли и обшарили весь дом, а вор, которого уже почти нагнали, выиграл, таким образом, время и скрылся; между тем все эти крестьяне знали, да упустили из виду, что вор и читать-то не умеет.

Читатель простит мне отступление, в котором сообщается секрет неоценимой важности: ведь всякий игрок согласится, насколько необходимо знать в точности приемы противника, чтобы обыграть его. Оно поможет также понять, почему дурак

часто проводит умного и почему искренние движения простой души обыкновенно истолковываются превратно; но самое существенное то, что оно объяснит, почему Софье удалось обмануть свою тонкую тетюшку.

После обеда общество перешло в сад, и мистер Вестерн, совершенно убежденный в справедливости предположений сестры, отвел мистера Олверти в сторону и без обиняков предложил ему женить мистера Блайфила на Софье.

Мистер Олверти был не из тех людей, сердца которых начинают биться ускоренно при известии о внезапно сваливающихся материальных выгодах. Душа его была закалена философией, приличествующей мужчине и христианину. Он не прикидывался, будто стоит выше всех радостей и горя, но в то же время не расстраивался и не хорохорился при неожиданных оборотах колеса фортуны, при ее гримасах или улыбках. Поэтому он выслушал предложение мистера Вестерна с полным наружным спокойствием, нисколько не переменявшись в лице. Он сказал, что союз этот именно такой, какого он искренне желает, после чего принялся расхваливать достоинства молодой девушки; признал, что предложение очень выгодно и в материальном отношении, и в заключение, поблагодарив мистера Вестерна за доброе мнение о его племяннике, сказал, что, если молодые люди друг другу понравятся, он с большим удовольствием порешит это дело.

Вестерн был немного раздосадован ответом мистера Олверти, не найдя в нем той теплоты, какой ожидал. А к сомнениям мистера Олверти насчет того, понравятся ли друг другу молодые люди, отнесся весьма пренебрежительно, сказав, что родители лучше всех могут судить о подходящих партиях для своих детей; что со своей стороны он будет требовать совершеннейшей покорности от дочери, а если какой-нибудь молодчик откажется от такой женки, так, слуга покорный, он горевать не будет.

Олверти постарался загладить дурное впечатление от своих слов восторженными похвалами Софье, заявив, что мистер Блайфил, без сомнения, с радостью примет предложение. Но все было безуспешно: он не мог добиться от сквайра иного ответа, кроме:

- Больше я - ни слова... Горевать не буду - вот и все.

Слова эти были им повторены, по крайней мере, сотню раз, перед тем как они расстались.

Олверти слишком хорошо знал своего соседа, для того чтобы на него обидеться; хотя он порицал строгость, проявляемую некоторыми родителями к детям в отношении брака, и сам ни за что не стал бы навязывать свою волю племяннику, но все же с большим удовольствием думал о союзе молодых людей; в самом деле, кругом раздавалось столько похвал Софье, да и он тоже восхищался ее незаурядными дарованиями и красотой.

К этому, я полагаю, мы можем прибавить небезразличное отношение к ее богатству: хотя оно его и не ослепляло, но здравый смысл не позволял ему также пренебрегать им.

Здесь, невзирая на лай всех критиков на свете, я должен и хочу сделать отступление касательно истинной мудрости, коей Олверти мог служить таким же прекрасным примером, как и примером доброты.

Истинная мудрость - что бы ни писал нищий-поэт мистера Хогарта против богатства и, наперекор всем проповедям богатых, сытых попов, против удовольствий,- истинная мудрость заключается не в презрении к этим благам. Обладатель несметного богатства может быть столь же мудр, как и любой уличный нищий; можно наслаждаться обществом красавицы жены или преданного друга и быть не менее мудрым, чем какой-нибудь угрюмый папистский затворник, который убивает все свои общественные стремления и морит голодом брюхо, усердно бичуя свое седалище.

Правду сказать, истинно мудрый человек скорее прочих достигает обладания всеми мирскими благами в высочайшей степени: ведь если умеренность, предписываемая ему мудростью, есть вернейший путь к благосостоянию, то лишь она одна позволяет нам также вкусить разнообразных наслаждений. Мудрый человек удовлетворяет каждое свое желание и каждую страсть, тогда как глупец жертвует всеми страстями ради утоления и насыщения только одной.

Мне могут возразить, что некоторые мудрецы прославились своей скарденностью. Я отвечаю: в этом отношении они не были мудрыми. Можно также сказать, что очень мудрые люди в молодости неумеренно предавались удовольствиям. Я отвечаю: стало быть, тогда они не были мудры.

Словом, мудрость, наставления которой трудно усваиваются, по мнению людей, никогда не проходивших ее школы, учит нас лишь чуточку более широкому применению одной простой общеизвестной истины, которой следуют люди даже самого низкого происхождения. Истина эта гласит: ничего не покупай по слишком дорогой цене.

Кто запасается этой истиной, выходя на большой рынок света, и постоянно мерит ею почести, богатства, удовольствия и другие приятные вещи, предлагаемые этим рынком, тот - решаюсь я утверждать - человек мудрый и должен быть признан таковым в светском смысле этого слова; он делает самые выгодные покупки, так как приобретает любой предмет, в сущности, лишь ценой небольших хлопот и приносит домой все только что упомянутые мною приятные вещи, сохраняя в полной неприкосновенности свое здоровье, невинность и доброе имя,- обычная цена, которую платят за них другие.

Из этой умеренности равным образом извлекает он еще два урока, окончательно определяющие его характер. Первый: никогда через меру не восхищаться выгодной покупкой; второй: не падать духом, когда рынок пуст или когда товары на нем слишком дороги для его кармана.

Пора, однако, вспомнить о предмете моей книги и не злоупотреблять терпением доброжелательного критика. Поэтому я кончаю настоящую главу.

ГЛАВА IV,

содержащая разные любопытные происшествия

Вернувшись домой, мистер Олверти тотчас же отвел мистера Блайфила в сторону и после краткого вступления сообщил ему предложение мистера Вестерна, прибавив, что сам он был бы очень рад этому союзу.

Прелести Софьи не производили ни малейшего впечатления на Блайфила - не потому, чтобы сердце его уже принадлежало другой, и не потому, чтобы он был совершенно нечувствителен к красоте или питал отвращение к женщинам,- но желания его от природы были так умеренны, что с помощью философии или учения или каким-либо иным способом он легко их обуздывал; а что касается страсти, о которой мы рассуждали в первой главе настоящей книги, то ее не было и следов во всем его существе.

Но, несмотря на полное отсутствие в нем этого сложного чувства, для которого таким подходящим предметом являлись достоинства и красота Софьи, он был богато наделен другими страстями, которым очень улыбалось состояние молодой девушки. То были корыстолюбие и честолюбие, делившие между собой власть над его душой. Не раз подумывал он об обладании этим богатством, как о чем-то весьма желательном, и даже строил насчет этого некоторые отдаленные планы; но его молодость, равно как и молодость Софьи, а главное - мысль о том, что мистер Вестерн может еще жениться и иметь других детей, удерживала его от чересчур поспешных и смелых шагов в этом направлении.

Это последнее и самое существенное препятствие было теперь в значительной степени устранено тем, что предложение исходило от самого мистера Вестерна.

Поэтому после очень недолгого колебания Блайфил ответил мистеру Олверти, что супружество - предмет, о котором он еще не думал, но что он настолько признателен за его дружескую и отеческую заботливость, что во всем подчинится его желаниям, лишь бы доставить ему удовольствие.

Олверти был от природы человек пылкий, и теперешняя его степенность была следствием истинной мудрости и философии, а не флегматического характера; в молодости он был полон огня и женился на красивой женщине по любви,- поэтому ему не очень понравился холодный ответ племянника. Он не мог удержаться от похвал Софье и не выразить некоторого удивления, что сердце молодого человека может оставаться нечувствительным к действию таких чар, если только оно не полонено другой женщиной.

Блайфил уверил его, что оно никем не полонено, после чего принялся рассуждать о любви и браке так мудро и так благочестиво, что замкнул бы рот человеку и не столь набожному, как его дядя. В конце концов добрый сквайр остался даже доволен, что его племянник, ничего не возражая против Софьи, свидетельствовал к ней уважение, служащее в трезвых и добродетельных душах надежной основой дружбы и любви. И, не сомневаясь, что жених в короткий срок добьется благорасположения невесты, Олверти считал обеспеченным счастье обеих сторон в таком удачном и во всех отношениях желательном союзе. Поэтому, с согласия мистера Блайфила, он на следующее же утро написал мистеру Вестерну, что племянник с большой благодарностью и радостью принимает его предложение и готов явиться с визитом к невесте, когда ей будет угодно принять его.

Вестерн был очень обрадован этим письмом и тотчас же настроил ответ, в котором, ни слова не сказав дочери, назначил сватовство в тот же день.

Отправив послание, он тотчас пошел разыскивать сестру, которую застал за чтением и разъяснением "Газеты" священнику Саплу. Эти объяснения сквайр принужден был выслушивать целые четверть часа, с великим трудом сдерживая свою природную стремительность, прежде чем ему позволено было заговорить. Наконец, воспользовавшись минутой молчания, он объявил сестре, что у него к ней очень важное дело, на что та ответила:

- Я вся к вашим услугам, братец. Дела наши на севере идут так хорошо, что я, кажется, плясать готова.

После ухода священника Вестерн рассказал сестре все случившееся и попросил ее передать это Софье, за что миссис Вестерн взялась охотно и весело; впрочем, может быть, именно благоприятное положение дел на севере, от которого она пришла в такой восторг, избавило сквайра от всяких замечаний насчет его образа действий, несомненно несколько стремительного и бурного.

ГЛАВА V,

в которой сообщается о том, что произошло между Софьей и ее теткой

Софья читала в своей комнате, когда тетка вошла к ней. Увидя миссис Вестерн, она так стремительно захлопнула книгу, что почтенная дама не могла удержаться от вопроса; что это за книга, которую она так боится показать?

- Смею вас уверить, сударыня,- отвечала Софья,- я нисколько не боюсь и не стыжусь показать ее. Это произведение одной молодой светской дамы, здравый смысл которой, мне кажется, делает честь ее полу, а доброе сердце человеческой природе вообще.

Миссис Вестерн взяла книгу и тотчас же бросила ее со словами;

- Да, эта дама из прекрасной семьи, но ее что-то мало видно в свете. Я не читала этой книги, потому что лучшие судьи говорят, что в ней немного хорошего.

- Не смею, сударыня, оспаривать мнение лучших людей,- отвечала Софья,- но, мне кажется, в ней есть глубокое понимание человеческой природы; многие места так трогательны и чувствительны, что я не раз плакала, читая ее.

- Так ты любишь поплакать? - спросила тетка.
- Я люблю нежные чувства,- отвечала племянница,- и охотно готова платить за них слезами.
- Хорошо,- сказала тетка,- а покажи мне, что ты читала, когда я вошла: должно быть, что-нибудь трогательное, что-нибудь о любви? Ты краснеешь, дорогая Софья! Ах, друг мой, тебе следовало бы почитать книги, которые научили бы тебя немножко лицемерить, научили бы искусству лучше скрывать свои мысли.
- Мне кажется, сударыня,- отвечала Софья,- у меня нет таких мыслей, которых надо стыдиться.
- Стыдиться! - воскликнула тетка.- Нет, я не думаю, чтобы тебе надо было стыдиться своих мыслей. Но все-таки, друг мой, ты только что покраснела при слове "любовь". Поверь, милая Софья, все твои мысли передо мной - как на ладони, все равно что движения нашей армии перед французами задолго до их осуществления. Неужели, душа моя, ты думаешь, что если тебе удалось провести отца, то удастся провести также и меня? Неужели ты воображаешь, что я не отгадала причины твоего преувеличенного внимания к мистеру Блайфилу на вчерашнем обеде? Нет, я довольно видела свет, ты меня не обманешь. Полно, не красней! Уверю тебя, нечего стыдиться этой страсти. Я ее вполне одобряю и уже склонила отца на твою сторону. Я забочусь единственно о влечении твоего сердца и всегда готова прийти тебе на помощь, хотя бы для этого пришлось пожертвовать более высокими расчетами. Знаешь, у меня есть новость, которая порадует тебя до глубины души. Доверь мне свои сокровенные мысли, и я ручаюсь тебе, что все твои заветные желания будут исполнены.
- Право, сударыня,- отвечала Софья с крайне растерянным видом,- я не знаю, что вам сказать... В чем вы меня подозреваете?
- Ни в чем непристойном,- успокоила ее миссис Вестерн.- Помни, ты говоришь с женщиной, с теткой, и, надеюсь, ты веришь, что - с другом. Помни, ты мне откроешь лишь то, что мне уже известно и что я ясно вчера разглядела, несмотря на твое искуснейшее притворство, которое обмануло бы каждого, кто не знает в совершенстве свет. Помни, наконец, что твое чувство я вполне одобряю.
- Право, сударыня,- пролепетала Софья,- вы нападаете так врасплох, так внезапно... Разумеется, сударыня, я не слепая... и, конечно, если это проступок - видеть все человеческие совершенства, собранные в одном лице... Но возможно ли, чтобы отец и вы, сударыня, смотрели моими глазами?
- Повторяю,- отвечала тетка,- мы тебя вполне одобряем, и твой отец назначил тебе принять жениха не дальше как сегодня вечером.
- Отец... сегодня вечером?! - воскликнула Софья, и краска сбежала с ее лица.
- Да, друг мой, сегодня вечером,- продолжала тетка.- Ты ведь знаешь стремительность моего брата. Я рассказала ему о твоем чувстве, которое в первый раз заметила в тот вечер, когда ты упала в обморок на поляне, во время прогулки. Я видела это чувство и в твоем обмороке, и после того, как ты очнулась, а также в тот вечер за ужином и на другое утро за завтраком (я, милая, все-таки знаю свет). Я рассказала об этом брату, и, представь, он в ту же минуту хотел сделать предложение Олверти. Он сделал его вчера, Олверти согласился (разумеется, с радостью согласился), и сегодня вечером, повторяю, тебе надо получше принарядиться.
- Сегодня вечером! - воскликнула Софья.- Вы меня пугаете, милая тетушка! Я, кажется, лишусь чувств.
- Ничего, душечка,- отвечала тетка,- скоро придешь в себя: он, надо отдать ему справедливость, очаровательный молодой человек.
- Да,- сказала Софья,- я не знаю никого лучше его. Такой храбрый и при этом такой кроткий, такой остроумный и никого не задает; такой обходительный, такой

вежливый, такой любезный и так хорош собой! Какое может иметь значение его низкое происхождение по сравнению с такими качествами!

- Низкое происхождение? Что ты хочешь этим сказать? - удивилась тетка. Мистер Блайфил низкого происхождения!

Софья побледнела как полотно при этом имени и едва слышным голосом повторила его.

- Мистер Блайфил... ну да, мистер Блайфил, а то о ком же мы говорим? - с удивлением сказала тетка.

- Боже мой! - воскликнула Софья, чуть не лишаясь чувств. - Я думала о мистере Джонсе. Кто же, кроме него, заслуживает...

- Теперь ты меня пугаешь, - перебила ее тетка. - Неужели мистер Джонс, а не мистер Блайфил избранник твоего сердца?

- Мистер Блайфил! - повторила Софья. - Не может быть, чтобы вы говорили это серьезно, иначе я несчастнейшая женщина на свете!

Несколько минут миссис Вестерн стояла онемелая, со сверкающими от бешенства глазами. Наконец, собрав всю силу своего голоса, прогремела, отчеканивая каждое слово:

- Мыслимое ли это дело! Ты способна думать о том, чтобы опозорить твою семью союзом с незаконнорожденным? Разве может кровь Вестернов потерпеть такое осквернение?! Если у тебя не хватает здравого смысла обуздать такие чудовищные наклонности, так, я думала, хоть фамильная гордость побудит тебя не давать воли столь низкой страсти! Еще меньше я допускала, что у тебя достанет смелости признаться в ней мне!

- Сударыня, - отвечала дрожащая Софья, - вы сами вырвали у меня это признание. Не помню, чтобы я когда-нибудь и кому-нибудь говорила с одобрением о мистере Джонсе; не сказала бы и теперь, если бы не вообразила, что вы одобряете мою любовь. Каково бы ни было мое мнение об этом несчастном молодом человеке, я намеревалась унести его с собой в могилу - единственное место, в котором я могу теперь найти покой.

С этими словами она упала в кресло, заливаясь слезами, и в своем безмолвном, невыразимом словами горе представляла зрелище, способное тронуть самое каменное сердце.

Но эта глубокая скорбь не пробудила в тетке никакого сочувствия. Напротив, она еще пуще рассвирепела.

- Да я скорее провожу тебя в могилу, - запальчиво вскричала она, - чем потерплю, чтобы ты опозорила себя и свою семью такой партией! Господи, могла ли я когда-нибудь подумать, что доживу до признания родной племянницы в любви к такому человеку? Вы первая - да, мисс Вестерн, вы первая из нашей семьи, которой взбрела в голову такая унижительная мысль! Род наш всегда отличался благоразумием своей женской половины... - И миссис Вестерн говорила без умолку целых четверть часа, пока, скорее надсадивши голос, чем утолив свое бешенство, не заключила угрозой, что сейчас же пойдет к брату и расскажет ему все.

Тогда Софья бросилась к ее ногам и, схватив за руку, со слезами начала просить ее сохранить в тайне вырвавшееся нечаянно признание; она говорила о крутом нраве отца и клятвенно уверяла, что никакая страсть не заставит ее сделать что-нибудь ему неуютное.

Миссис Вестерн с минуту смотрела на нее молча, потом, собравшись с мыслями, сказала, что скроет тайну от брата только при одном условии: именно, если Софья пообещает принять мистера Блайфила сегодня вечером как жениха и смотреть на него как на будущего мужа.

Бедная Софья была слишком во власти тетки, чтобы решительно отказать ей в чем-нибудь. Ей пришлось пообещать, что она выйдет к мистеру Блайфилу и будет с

ним любезна, насколько это в ее силах, но она просила тетку не торопить свадьбу, сказав, что мистер Блайфил ей совсем не по сердцу и она надеется упросить отца не делать ее несчастнейшей из женщин.

На это миссис Вестерн отвечала ей, что свадьба - дело окончательно решенное, которого ничто не может и не должно расстроить.

- Должна признаться,- сказала она,- я сначала смотрела на этот брак как на вещь несущественную, и даже, пожалуй, у меня были на этот счет кое-какие сомнения, которые, однако, рассеялись при мысли, что это вполне отвечает твоим собственным желаниям; теперь же я вижу в нем самую настоящую необходимость и, насколько от меня зависит, не позволю терять ни одной минуты даром.

- По крайней мере, я вправе ожидать, сударыня,- возразила Софья,- что вы и отец будете настолько добры и дадите мне отсрочку. Ведь надо же мне время, чтобы преодолеть мое отвращение к этому господину.

Тетка на это отвечала, что она слишком хорошо знает свет и на эту удочку не попадется; напротив, так как ей известно теперь, что другой человек пользуется расположением племянницы, то она постарается убедить мистера Вестерна всячески поторопиться со свадьбой.

- Плохая была бы тактика,- прибавила она,- затягивать осаду, когда неприятельская армия под носом и каждую минуту он может снять ее. Нет, нет, Софи, если уж ты поддалась безрассудной страсти, которую не можешь удовлетворить без ущерба для своей чести, то я должна принять все меры, чтобы избавить нашу семью от заботы беречь твою честь,- ибо, когда ты выйдешь замуж, все это будет касаться только твоего мужа. Надеюсь, душа моя, ты будешь достаточно благоразумна, чтобы вести себя прилично; а если нет, то замужество спасало многих женщин от гибели.

Софья хорошо поняла, на что намекала тетка, но не сочла нужным отвечать ей. Так или иначе, она решила выйти к мистеру Блайфилу и быть с ним как можно любезнее, ибо только при этом условии тетка давала ей обещание хранить тайну ее любви, которая была так несчастливо раскрыта скорее злой судьбой Софьи, чем каким-нибудь тонким ходом миссис Вестерн.

ГЛАВА VI,

содержащая разговор Софьи с миссис Гонорой, который немного умерит волнение доброго читателя, если он расчувствовался под влиянием только что описанной сцены

Получив от племянницы упомянутое обещание, миссис Вестерн ушла, и тотчас же вслед за ней явилась миссис Гонора. Она сидела за работой в соседней комнате, и какая-то чересчур громкая фраза в разговоре миссис Вестерн с Софьей привлекла ее к замочной скважине, от которой она уже не отрывалась до самого конца разговора. Войдя в комнату, она застала Софью стоящей неподвижно, со струившимися по лицу слезами. Тогда миссис Гонора немедленно вызвала приличное количество слез на свои глаза и спросила:

- Боже милостивый, что с вами, дорогая барышня?

- Ничего,- сквозь слезы отвечала Софья.

- Ничего?.. Нет, милая барышня, вы мне этого не говорите,- продолжала Гонора,- на вас лица нет! И у вашей милости был такой разговор с мадам Вестерн...

- Не раздражай меня! - перебила ее Софья.- Говорю тебе, что ничего особенного. Боже мой, зачем я на свет родилась!

- Нет, сударыня,- продолжала Гонора,- ни за что не поверю, чтобы ваша милость могли так убиваться из-за пустяков. Конечно, я простая служанка, но, верьте слову, я всегда была предана вашей милости и, верьте слову, жизни бы не пожалела ради вашей милости.

- Нет, милая Гонора,- сказала Софья,- ты ничем мне не можешь помочь. Я

погибла безвозвратно.

- Боже упаси! - воскликнула горничная.- Но пусть даже я не могу ничем вам помочь, все-таки прошу вас, барышня, расскажите мне, что случилось,- на душе будет легче, когда узнаю. Пожалуйста, расскажите, дорогая барышня!

- Батюшка хочет выдать меня за человека, которого я презираю и ненавижу, отвечала Софья.

- Вот беда-то! Кто же этот негодник? - спросила Гонора.- Уж верно, дурной человек, если ваша милость презирает его.

- Самое имя его мне противно,- отвечала Софья.- Ты скоро его узнаешь.

Сказать правду, Гонора уже знала, о ком идет речь, и потому не стала надоедать расспросами.

- Не смею давать совета вашей милости,- проговорила она,- ваша милость знает, что делать, лучше, чем я, простая служанка; только меня, ей-богу, никакой отец в Англии не выдал бы замуж против воли. И, верьте слову, сквайр такой добрый, что если б только он узнал, как ваша милость презирает и ненавидит кавалера, так, верьте слову, не пожелал бы выдать вас за него. И если б ваша милость разрешили мне сказать об этом барину... оно, конечно, было бы пристойнее вашей милости самой поговорить с ним; но уж если ваша милость не хочет язык марать его грязным именем...

- Ты ошибаешься, Гонора,- прервала ее Софья,- батюшка порешил дело, не считая нужным даже сказать мне об этом.

- Стыда у него нет! - сказала Гонора.- Ведь вам с ним жить, а не барину. Бывает, что и пригожий человек, а не всякой женщине нравится. Поверьте, барин никогда не сделал бы этого по своему почину. Лучше бы иным не соваться не в свои дела; небось им бы самим не понравилось, если б кто вздумал им так услужить; я хоть и горничная, но согласна, что не все мужчины одинаково нравятся. И на что тогда вашей милости богатство, если вы не можете тешиться с тем, кто для вас всех милее? Я это так говорю, а только жаль, что иные люди не господами родились; сама я не посмотрела бы на это. Денег только поменьше, ну так что ж? У вашей милости денег довольно для двоих. А с кем бы вы лучше ими распорядились? Ведь, верьте слову, всякий согласится, что он самый пригожий, самый очаровательный, самый приветливый, самый статный мужчина на свете.

- Что это ты рекой разливаешься? - сказала Софья, нахмурившись.- Разве я подавала тебе когда-нибудь повод к таким вольностям?

- Прошу прощения, сударыня, дурного у меня в мыслях не было,- отвечала Гонора. - Но, верьте слову, как встретила я его сегодня поутру, так все он, бедняжка, у меня из головы не выходит. Верьте слову, и вашей милости жалко бы его стало, если б вы его видели. Бедняжка! Боюсь, как бы беды с ним не случилось: все утро он ходил скрестив руки, грустный такой, что, ей-богу, я чуть не заплакала, на него глядя.

- Глядя на кого? - спросила Софья.

- На бедного мистера Джонса,- отвечала Гонора.

- Ты его видела? Где ты его видела?

- У канала, сударыня. Он там целое утро расхаживал, а потом прилег; верно, до сих пор лежит. Если б только не моя девичья скромность, так, верьте слову, я бы подошла и поговорила с ним. Позвольте, сударыня, я схожу и взгляну, так, из любопытства, там ли он еще?

- Что ты! - воскликнула Софья.- Нет, нет! Что ему там делать? Наверно, давно уж ушел. Да кроме того... зачем... зачем тебе ходить? Кроме того, ты мне здесь нужна. Поди принеси мне шляпу и перчатки. Я пойду с тетушкой в рошу прогуляться перед обедом.

Гонора немедленно исполнила приказание, и Софья надела шляпу; но, посмотревшись в зеркало, она решила, что лента, которой повязана была шляпа, ей

не к лицу, и снова послала горничную - за лентой другого цвета; потом, несколько раз повторив миссис Гоноре приказание ни под каким видом не оставлять работы, потому что она очень спешная и непременно должна быть окончена сегодня же, она пробормотала еще что-то о прогулке в рощу и со всей скоростью, какую позволяли ей дрожжащие ноги, устремилась в противоположную сторону, прямо к каналу.

Джонс действительно был там, как сказала миссис Гонора; он провел утром целых два часа в грустных размышлениях о своей Софье и вышел из сада в одну калитку в ту самую минуту, когда она входила в другую. Таким образом, несколько несчастных минут, посвященных перемене ленты, помешали свиданию влюбленных - прискорбнейшая случайность, которая пусть послужит моим прекрасным читательницам благодетельным уроком. А всем критикам мужского пола я строго запрещаю соваться в это дело, рассказанное в поучение дамам, которые одни только вольны делать по поводу него замечания.

ГЛАВА VII

Изображение церемонного визита жениха к невесте, сделанное в миниатюре, как это и подобает, и сцена более нежная, нарисованная в натуральную величину

Кем-то (может быть, даже многими) было справедливо замечено, что беда не приходит одна. Это мудрое замечание оправдалось теперь на Софье, которой не только не удалось свидеться с любимым человеком, но пришлось еще скрепя сердце принарядиться, чтобы принять человека ей ненавистного.

К вечеру мистер Вестерн в первый раз сообщил дочери о своем намерении, прибавив, что ей уже, наверное, известно об этом от тетки. Лицо Софьи опечалилось, и несколько слезинок невольно навернулось ей на глаза.

- Полно, полно, без этих девичьих штук! - сказал Вестерн. - Я все знаю. Сестра мне все рассказала.

- Возможно ли? - воскликнула Софья. - Неужели тетушка меня выдала?

- Ну вот уж и выдала! Сама ты себя выдала вчера за обедом. Уж чего яснее показала, к кому лежит твое сердце. Но вы, девчонки, сами не знаете, чего хотите: плачет, что я собираюсь повенчать ее с тем, кого она любит! Твоя мамаша, помню, совершенно также выла и хныкала, а через двадцать четыре часа после венца все как рукой сняло. Мистер Блайфил парень не промах и живо положит конец твоим причудам. Ну-ну, ободрись, смотри веселей! Я жду его каждую минуту.

Тут Софья убедилась, что тетка ее не подвела; она решила стойко выдержать испытание сегодняшнего визита, не подавая отцу ни малейшего повода к подозрению.

Мистер Блайфил вскоре приехал; побыв с ним недолго, мистер Вестерн оставил молодых людей наедине.

Последовало глубокое молчание, продолжавшееся целых четверть часа: кавалер, который должен был начать разговор, оказался весьма некстати скромен и застенчив. Несколько раз он пытался заговорить, но проглатывал слова, прежде чем они успевали слететь у него с языка. Наконец они вылились потоком натянутых и высокопарных комплиментов, на которые Софья отвечала потупленными взорами, полупоклонами и односложными фразами. Неопытный в обращении с женщинами и самонадеянный, Блайфил принял все это за выражение скромного согласия на его предложение, и когда Софья встала и вышла из комнаты, чтобы сократить эту сцену, которую она не в силах была вынести дольше, он приписал это тоже простой застенчивости и утешился при мысли, что скоро будет наслаждаться ее обществом, сколько ему вздумается.

Он остался вполне удовлетворен перспективой счастливого будущего; ибо, что касается полного и безраздельного обладания сердцем возлюбленной, к которому стремятся романтические поклонники, то самая мысль об этом никогда не приходила ему в голову. Единственным предметом его желаний было богатство Софьи и сама

она, и он не сомневался, что и то и другое скоро сделается его полной собственностью, поскольку мистер Вестерн твердо решил выдать за него дочь и поскольку он хорошо знал, что Софья всегда готова беспрекословно исполнять волю отца, даже если бы тот потребовал от нее гораздо большего. Таким образом, отцовская власть в соединении с чарами его собственной наружности и обращения не преминут, думал он, оказать должное действие на молодую девушку, сердце которой, он не сомневался, было совершенно свободно.

Он ни капельки не ревновал к Джонсу; иной раз это меня даже удивляло. Может быть, он думал, что слава отъявленного волокиты, ходившая кругом о Джонсе (насколько справедливо - пусть решает читатель), должна оттолкнуть от него девушку примерной скромности. А может быть, его подозрения были усыплены поведением Софьи и самого Джонса, когда им случалось бывать всем вместе. Наконец, и главное, он был твердо уверен, что у него нет соперников. Он воображал, что знает Джонса насквозь, и питал к нему глубокое презрение за недостаточную заботливость о собственных интересах. Он не допускал и мысли, что Джонс может любить Софью; а что касается корыстных соображений, то, по его мнению, они не могли играть большой роли у такого глупца. Кроме того, Блайфил предполагал, что связь Джонса с Молли Сигрим все еще продолжается, и был убежден, что она кончится женитьбой. Надо сказать, что Джонс любил его с детства и не имел от него никаких тайн, пока поведение Блайфила во время болезни мистера Олверти окончательно не отшатнуло его от сверстника; ссора, возникшая между ними по этому поводу и еще не улаженная, была причиной полного неведения Блайфила об изменении прежних отношений Джонса и Молли.

По всем этим причинам мистер Блайфил не видел никаких препятствий для успешного завершения своего сватовства к Софье. Он решил, что поведение Софьи ничем не отличалось от поведения всех барышень во время первого визита жениха, и оно вполне соответствовало его ожиданиям.

Мистер Вестерн позаботился подстеречь жениха при выходе его от невесты. Сквайр нашел Блайфила в таком приподнятом состоянии от успеха, таким влюбленным в дочь его и довольным оказанным ему приемом, что на радостях пустился приплясывать, скакать и выделывать по зале самые странные курбеты, ибо совершенно не умел сдерживать своих страстей и всякое овладевшее им чувство толкало его на самые дикие выходки.

Сейчас же после отъезда Блайфила, который должен был предварительно выдержать сотню поцелуев и объятий Вестерна, добрый сквайр отправился к дочери и, найдя ее, осыпал самыми восторженными похвалами, предложил ей выбирать какие угодно платья и драгоценности и объявил, что отдаст все свое богатство, лишь бы сделать ее счастливой; затем снова и снова ласкал ее, не скупясь на проявления своих чувств, называл самыми нежными именами и поклялся, что она его единственная радость на свете.

При виде этого порыва нежности, причина которого была ей совершенно неизвестна (такие порывы были не редкостью у сквайра, хотя нынешний отличался особенно бурным характером), Софья подумала, что, пожалуй, не встретит более благоприятного случая открыть свои чувства, по крайней мере, в отношении мистера Блайфила, тем более что рано или поздно ей все равно не миновать объяснения. Итак, поблагодарив отца за всю его доброту, она прибавила с невыразимо нежным взглядом:

- Так это правда, что для моего дорогого папы нет большей радости, чем видеть свою Софью счастливой?

Вестерн подтвердил свои слова клятвой и поцелуем; тогда, схватив его за руку и упав на колени, Софья, после жарких заверений в своей любви и покорности, стала просить его не делать ее несчастнейшей из женщин, заставляя выйти за

ненавистного ей человека.

- Я умоляю вас об этом, дорогой папа,- сказала она,- столько же ради вас, сколько и ради себя: ведь вы были так добры сказать мне, что все ваше счастье зависит от моего.

- Как? Что? - проговорил Вестерн, дико смотря на нее.

- И не только счастье вашей бедной Софьи,- продолжала она,- но самая ее жизнь, ее существование зависят от исполнения этой просьбы. Я не могу жить с мистером Блайфилом. Принудить меня к этому браку - значит убить меня.

- Ты не можешь жить с мистером Блайфилом? - изумился Вестерн.

- Не могу, клянусь вам жизнью! - отвечала Софья.

- Так умри и будь проклята! - закричал он, отталкивая от себя дочь.

- Сжальтесь, батюшка, заклинаю вас! - взмолилась Софья, хватая отца за полу кафтана.- Не смотрите на меня так сурово, не говорите таких страшных слов... Неужели вас не трогает отчаянье вашей Софьи? Неужели лучший из отцов разобьет мое сердце? Неужели он предаст меня мучительной, жестокой, медленной смерти?

- Вздор! Не верю! - отвечал сквайр.- Девичьи фокусы! Предаю тебя смерти? Глупости какие! Разве замужество убьет тебя?

- Ах, батюшка! Такое замужество хуже смерти. Я не просто равнодушна к нему: я его ненавижу, терпеть не могу!

- Можешь ненавидеть сколько угодно, а все-таки будешь его женой! закричал Вестерн, подкрепив свои слова таким непристойным ругательством, что мы не решаемся повторить его, и после целого каскада проклятий заключил свою речь словами: - Я решил сыграть эту свадьбу, и если ты не согласна, я не дам тебе ни гроша, ни полушки! Куска хлеба не подам, если увижу, что ты умираешь с голода на улице! Это мое решение непреложно, и предлагаю тебе о нем поразмыслить.

Сказав это, он так резко рванулся от нее, что она упала лицом в землю, и выбежал из комнаты, оставив бедную Софью распростертой на полу.

Войдя в залу, Вестерн встретил Джонса, и тот, пораженный его диким взглядом, бледностью и прерывистым дыханием, с беспокойством спросил о причине столь горестного вида. Сквайр тотчас же рассказал ему все случившееся, закончив резкими обвинениями против Софьи и патетическими жалобами на горькую участь отцов, которых судьба наградила дочерьми.

Джонс, ничего еще не знавший о счастье, выпавшем на долю Блайфила, в первую минуту был как громом поражен этим известием; но через минуту он немного овладел собой, и отчаянье, как говорил он после, внушило ему мысль обратиться к мистеру Вестерну с предложением, для которого, с первого взгляда, требовалось беспримерное бесстыдство. Он попросил разрешения пойти к Софье и попробовать добиться от нее подчинения воле отца.

Даже если бы сквайр отличался проницательностью, равной его близорукости, то возбужденное состояние, в котором он находился в ту минуту, ослепило бы его. Он поблагодарил Джонса за предложение уладить это дело, сказав ему: "Ступай, ступай, попробуй сделать, что можешь",- и в заключение несколько раз поклялся, что выгонит дочь со двора, если она не согласится на этот брак.

ГЛАВА VIII

Свидание Джонса с Софьей

Джонс в ту же минуту отправился к Софье и нашел ее только что поднявшейся на ноги, со струившимися из глаз слезами и кровью на губах. Он бросился к ней и голосом, полным нежности и страха, спросил:

- Милая Софья! Что означает этот ужасный вид? Она ласково посмотрела на него и сказала:

- Мистер Джонс, ради бога, как вы сюда попали? Оставьте меня сию минуту, умоляю вас!

- Не давайте мне такого жестокого приказания,- отвечал он.- Сердце мое обливается кровью больше, чем ваши губы. О Софья, с какой радостью я пролил бы всю свою кровь, чтобы спасти одну каплю вашей!

- Я и без того уже слишком многим вам обязана, вы, конечно, это знаете, сказала Софья, устремив на него долгий нежный взгляд, потом со страдальчески искаженным лицом воскликнула: - Ах, мистер Джонс, зачем спасли вы мою жизнь? Смерть моя принесла бы нам обоим больше счастья!

- Принесла бы больше счастья! - воскликнул Джонс.- Мне легче было бы умереть на дыбе, на колесе, чем перенести... вашу... не могу даже вымолвить этого страшного слова! Для кого же я живу, как не для вас?

И голос и взгляд его были полны невыразимой нежности, когда он произносил эти слова; в то же время Джонс мягко взял Софью за руку, и она ее не отняла; по правде сказать, вряд ли она и сознавала, что делает или что с ней делается. Несколько минут влюбленные провели в молчании; пылкие взоры Джонса были устремлены на Софью, а она стояла, потупив глаза в землю. Наконец она собралась с силами и снова попросила его оставить ее, говоря, что она неминуемо погибла, если их застанут вместе.

- Ах, мистер Джонс,- прибавила она,- вы не знаете, какая ужасная вещь произошла сегодня!

- Я знаю все, дорогая Софья,- отвечал он.- Жестокий отец ваш рассказал мне все и сам послал меня сюда к вам.

- Отец прислал вас ко мне? - воскликнула она.- Да вы бредите!

- Дай бог, чтобы все это было только бредом! Ах, Софья, отец ваш прислал меня выступить в защиту моего ненавистного соперника, расположить вас в его пользу. Я готов был пойти на все, лишь бы только быть допущенным к вам. Скажите же мне что-нибудь, Софья! Успокойте мое истерзанное сердце. Еще никто на свете не любил так безумно, как я. Не отнимайте же так жестоко вашей дорогой, вашей милой, вашей нежной руки,- одна минута оторвет вас от меня, может быть, навеки... Поверьте, только это ужасное событие могло заставить меня забыть почтительность и благоговение, которое вы всегда мне внушали.

С минуту Софья молчала в смущении, затем, ласково взглянув на него, спросила:

- Что же мистер Джонс хотел бы услышать от меня?

- Обещайте мне только,- отвечал он,- что вы никогда не отдадите вашей руки Блайфилу.

- Не произносите этого ненавистного имени! Будьте спокойны, я никогда не отдам ему того, что в моей власти не отдавать.

- А теперь,- продолжал Джонс,- раз уж вы так бесконечно добры, сделайте мне еще одно маленькое одолжение; скажите, что я могу надеяться.

- Увы! - сказала она.- Куда увлекаете вы меня, мистер Джонс? Какую надежду могу я вам подать? Вы ведь знаете намерения моего отца.

- И я знаю,- отвечал он,- что вас невозможно заставить подчиниться им.

- Но к каким ужасным последствиям приведет мое непослушание! Моя погибель тревожит меня меньше всего. Мысль быть причиной горя отца - вот что для меня невыносимо.

- Он сам его причина,- сказал Джонс.- Пусть не применяет к вам власти, которая не дана ему природой. Подумайте о моем горе, если я должен буду потерять вас, и скажите, на чью сторону жалость склонит ваше сердце.

- Подумать о вашем горе! - отвечала Софья.- Неужели вы воображаете, что я не сознаю, сколько бедствий навлеку я на вас, если уступлю вашему желанию? Именно эта мысль и придает мне решимость просить вас оставить меня навсегда, не идти навстречу собственной гибели.

- Мне страшна не гибель,- воскликнул Джонс,- а потеря моей Софьи! Если вы хотите избавить меня от самых горьких мучений, возьмите назад свое жестокое решение. Право, я не могу расстаться с вами,- нет, не могу!

Влюбленные замолчали и стояли трепещущие. Софья не в силах была отнять у Джонса руку, а он тоже почти не имел силы держать ее,- как вдруг эта сцена, наверное показавшаяся некоторым моим читателям чересчур растянутой, была прервана сценой настолько от нее отличной, что нам следует уделить изложению ее особую главу.

ГЛАВА IX,

гораздо более бурного свойства, чем предыдущая

Но прежде чем продолжать рассказ о том, что случилось с нашими влюбленными, мы должны сказать, что произошло в зале во время их любовных излияний.

Вскоре после того как Джонс покинул мистера Вестерна и отправился к Софье, в залу явилась сестра сквайра, и он тотчас же посвятил ее во все подробности сцены, разыгравшейся между ним в Софьей по поводу Блайфила.

Почтенная дама усмотрела в поведении племянницы полное нарушение условий, на которых она обещала хранить в тайне любовь ее к мистеру Джонсу, поэтому она сочла себя вправе рассказать сквайру все выведенное от племянницы, что тотчас же и сделала в самой резкой форме, без всяких церемоний и предисловий.

Мысль о женитьбе Джонса на его дочери никогда не приходила в голову сквайру - ни в минуты самых горячих порывов нежности к молодому человеку, ни в других случаях, которые могли бы заронить в нем подозрения. Он считал равенство состояний и общественного положения таким же физически необходимым условием брака, как различие пола или иные существенные обстоятельства, и любовь дочери к бедняку казалась ему столь же невозможной, как любовь ее к животному.

Поэтому рассказ сестры поразил его как гром среди ясного неба. Сначала он неспособен был вымолвить ни слова в ответ, так ошеломила его эта новость. Но скоро пришел в себя, и, как всегда бывает в подобных случаях, голос его зазвучал с удвоенной силой и бешенством.

Первое, на что сквайр употребил вернувшийся к нему после столбняка дар речи, был целый залп проклятий и ругательств. Зверем ринулся он к комнате, где рассчитывал найти влюбленных, на каждом шагу бормоча или, лучше сказать, изрыгая угрозы отомстить обидчику.

Подобно тому как две горлицы, или два диких голубя, или как Стрефон и Филида (это сравнение будет самым подходящим), удалившиеся в приятную уединенную рощу насладиться восхитительной беседой Амура - этого застенчивого мальчика, неспособного выступать публично, но незаменимого собеседника для парочек, вдруг приходят в смятение, если среди безмятежной тишины, рассекая тучи, раздается страшный удар грома, далеко раскатывающийся по небу, а испуганная девушка вскакивает с покрытого мхом или зеленым дерном холмика, при этом алый наряд, которым Амур покрыл ее щеки, сменяется бледными покровами смерти и все тело ее содрогается, а возлюбленный ее едва в силах поддерживать свою трепещущую подругу,- или подобно тому как двое проезжих, незнакомых с удивительным местным остроумием какого-нибудь солсберийского кабака или постоялого двора, где им вздумалось распить бутылочку, услышав вдруг лязг цепей и зловеющий вой на галерее, словно там появился великий Дауди, который играет роль сумасшедшего столь же хорошо, как иные его почитатели роль дураков, в ужасе вскакивают с места, перепуганные необычайными звуками, и ищут, где бы укрыться от надвигающейся опасности, готовые рискнуть даже шеей и выскочить на улицу, если бы окна не были забраны крепкой железной решеткой, так задрожала и побледнела бедная Софья,

услышав голос отца, грозно гремящий проклятиями и клятвами уничтожить Джонса. Сказать правду, юноша и сам, верно, предпочел бы из благоразумия находиться в эту минуту где-нибудь в другом месте, если бы страх за Софью позволил ему хотя бы на мгновение подумать о собственных интересах и позабыть о положении, в котором находилась она.

Сквайр, с шумом распахнув дверь, вдруг увидел нечто, заставившее его мгновенно позабыть весь свой гнев на Джонса: то была мертвенно бледная Софья, без чувств лежащая в объятиях своего возлюбленного. При этом трагическом зрелище ярость мистера Вестерна улетучилась; он закричал во всю глотку: "На помощь!" - кинулся к дочери, потом к дверям, требуя воды, потом снова к Софье, не соображая, в чьих она объятиях, и, может быть, даже позабыв, что есть на свете такой человек, как Джонс, ибо, я думаю, состояние дочери было единственным предметом, занимавшим все его помыслы.

Скоро на помощь Софье явилась миссис Вестерн и множество служанок с водой, лекарствами и со всем необходимым в таких случаях. Эти средства были применены с таким успехом, что через несколько минут Софья начала приходить в себя и к ней постепенно возвратились все признаки жизни. Миссис Вестерн и горничная тотчас же увели ее из комнаты; но перед уходом эта почтенная дама не забыла сделать брату несколько нравоучительных замечаний насчет ужасных последствий его горячего - или, как ей угодно было выразиться, - сумасшедшего характера.

Сквайр, должно быть, не понял ее наставления, преподанного в форме намеков, пожатия плечами и восклицательных междометий, а если даже и понял, то весьма мало им воспользовался; ибо не успели пройти его страхи насчет дочери, как он тотчас снова впал в бешенство и непременно затеял бы драку с Джонсом, если бы не вмешательство Сапла, человека атлетического сложения, который силой удержал сквайра от неприязненных действий.

Как только ушла Софья, Джонс почтительно подошел к мистеру Вестерну, которого священник держал в своих объятиях, и попросил его успокоиться, говоря, что он не может дать удовлетворения человеку в таком возбужденном состоянии.

- Вот я тебе задам удовлетворение! - отвечал сквайр. - Раздевайся! Не я буду, если не вздрючу тебя по-свойски!

И он осыпал Джонса словечками, которыми обмениваются деревенские джентльмены при разногласиях по какому-нибудь вопросу, усердно предлагая поцеловать ту часть тела, которая обыкновенно возникает во время всех споров, завязывающихся среди низших слоев английского джентри на скачках, петушиных боях и в других публичных местах. Намеки на эту часть тела часто делаются также в шутку. И тут, мне кажется, соль шутки понимается обыкновенно превратно. В действительности она заключена в том, что выпросите другого поцеловать вас в за то, что перед тем вы грозили дать ему пинка в это место; ибо я решительно никогда не замечал, чтобы кто-нибудь просил вас дать ему самому пинка в означенное место или изъявлял готовность поцеловать его у вас.

Равным образом может показаться удивительным, что, хотя каждому вращавшемуся среди деревенских джентльменов, наверное, тысячу раз доводилось слышать любезные приглашения этого рода, однако никто, я думаю, не наблюдал ни одного случая, когда просьба была бы уважена, - явное доказательство деревенской невоспитанности, ибо в столице вещь весьма заурядная для самых светских джентльменов ежедневно проделывать эту церемонию по отношению к особам высокопоставленным, без всякой со стороны последних просьбы о таком одолжении.

На все это остроумие сквайра Джонс спокойно отвечал!

- Сэр, ваше обращение освобождает меня от всякой признательности за прежние милости, которые вы мне оказывали, но одного я никогда не забуду: никакое оскорбление не заставит меня поднять руку на отца Софьи.

Слова эти только пуще разъярили сквайра, так что священник попросил Джонса уйти, сказав:

- Вы видите, сэр, что ваше присутствие выводит его из себя, поэтому я очень прошу вас покинуть нас. Он слишком возбужден, чтобы разговаривать с вами в настоящую минуту. Вам, стало быть, лучше проститься и отложить свое объяснение до более благоприятного случая.

Джонс с благодарностью последовал этому совету и ушел. Рукам сквайра была возвращена свобода, и он настолько успокоился, что выразил даже благодарность священнику за то, что тот удержал его, так как в противном случае он размозжил бы Джонсу голову; а было бы ужасно досадно угодить на виселицу из-за такого мерзавца.

Священник торжествовал по случаю успеха своих миротворческих усилий и пустился читать поучение против гнева, которое, пожалуй, способно было скорее распалить, чем успокоить это чувство в горячей натуре. Свое поучение он уснастил множеством замечательных цитат из древних, особенно из Сенеки, так прекрасно описавшего гнев, что разве лишь сильно разгневанный человек не получит от чтения большого удовольствия и пользу. Заключил свою речь богослов известным рассказом об Александре и Клите; но этот рассказ уже вошел в мои записки под заглавием "Пьянство", и потому я не буду приводить его здесь.

Сквайр пропустил мимо ушей и этот рассказ, может быть, и все, что говорил священник, так как, не дождавшись окончания его речи, перебил его и потребовал кружку пива, говоря, что гнев возбуждает жажду (совершенно справедливое замечание об этом лихорадочном душевном состоянии).

Отхлебнув порядочный глоток, сквайр снова завел речь о Джонсе и объявил о своем решении завтра же рано утром поехать к мистеру Олверти и все ему рассказать. Священник, по доброте сердечной, стал было отговаривать сквайра, но все его доводы привели лишь к потоку проклятий и ругательств, сильно оскорблявших благочестивые уши Сапла; он не решился, однако, оспаривать право сквайра на эту привилегию всякого свободнорожденного англичанина. Правду сказать, священник покупал удовольствие полакомиться за столом сквайра ценой снисходительного отношения к некоторым вольностям речи хозяина. Сапл утешал себя мыслью, что вина лежит тут не на нем и что сквайр сквернословил бы ничуть не меньше, если б он никогда не переступал его порога. Тем не менее, воздерживаясь из учтивости от выговоров хозяину дома, священник оплачивал ему косвенным образом с церковной кафедры; это, впрочем, несколько не исправило самого сквайра и оказало на его совесть лишь то действие, что он стал строже преследовать других за сквернословие, в результате чего сам блюститель закона остался единственным лицом в приходе, которое могло сквернословить безнаказанно.

ГЛАВА X,

в которой мистер Вестерн делает визит мистеру Олверти

Мистер Олверти только что позавтракал с племянником, довольный рассказом молодого человека о приеме, оказанном ему Софьей (Олверти очень желал этого брака больше ради личных достоинств молодой девушки, чем ради ее богатства), как вдруг к ним с шумом ворвался мистер Вестерн и без всяких церемоний начал так!

- Наделали вы дел, нечего сказать! На добро вырастили вашего ублюдка! Понятно, вы тут ни при чем, никакого умысла у вас не было, а только заварилась же каша в нашем доме!

- В чем дело, мистер Вестерн?- спросил Олверти,

- О, дело самое чистенькое; дочь моя влюбилась в вашего ублюдка, вот и все. Но я не дам ей ни полушки, ломаного гроша не дам! Я всегда думал, что зря люди черт знает чье отродье барином воспитывают и пускают в порядочные дома. Счастье его, что я не мог до него добраться, а то уж отодрал бы его, отбил бы у него охоту за

бабами волочиться, отучил бы сукина сына в барское кушанье морду совать. Ни кусочка от меня не получит, ни гроша! Если она за него выйдет, только рубашка на плечах будет ей приданым. Скорей отдам все свои деньги в казну, пусть посылают их хоть в Ганновер, на подкупы нашего народа!..

- Искренне сожалею,- сказал Олверти.

- А черта мне в вашем сожалении! - в сердцах продолжал Вестерн.- Много мне от него толку, когда я потерял свою единственную дочь, свою бедную Софью, радость моего сердца, надежду и утешение моей старости! Но я решил выгнать ее из дому пусть просит милостыню, пусть околеет и сгниет с голоду на улице. Ни полушки, ни одной полушки не получит от меня! Собачий сын чуток был выискивать зайца, а мне и невдомек было, на какого зайчика он зарится! Да только ошибся, братец: дохлого зверя поймал - кроме шкурки, ничего тебе не достанется, так и скажите ему.

- Я крайне удивлен вашими словами,- сказал Олверти,- после того, что произошло между моим племянником и молодой девушкой не дальше как вчера.

- Да после того, что произошло между вашим племянником и моей дочерью, все и открылось, сударь,- отвечал Вестерн.- Только что ушел мистер Блайфил, как этот сукин сын явился разнюхивать, что у меня в доме делается. А я ведь любил в нем славного охотника, и на ум мне не приходило, что он все время около дочки увивается.

- И правда,- сказал Олверти,- по-моему, не следовало давать ему столько случаев встречаться с ней; и вы ведь не станете отрицать, что я всегда был против того, чтобы он засиживался в вашем доме, хотя, признаюсь, и не подозревал ничего такого.

- Да кто же, черт возьми, мог это подумать! - воскликнул Вестерн.- Какого дьявола ей от него надо было? Ведь он приезжал не любезничать с ней, а охотиться со мной.

- Неужели вы никогда ничего не замечали? - удивился Олверти.- Ведь они так часто бывали вместе на ваших глазах.

- Никогда в жизни, клянусь спасением моей души,- отвечал Вестерн,- никогда не видел я, чтобы он ее целовал! И не только он не ухаживал за ней, но, напротив, в ее обществе делался как-то молчаливее обыкновенного, а она обращалась с ним гораздо пренебрежительнее, чем с другими молодыми людьми, бывавшими у нас в доме. Уж на этот счет провести меня не легче, чем других, надеюсь, вы мне поверите, сосед.

Олверти едва мог удержаться от смеха, но все-таки удержался: он прекрасно знал человеческую природу и был слишком хорошо воспитан и слишком добр, чтобы оскорблять сквайра в его теперешнем состоянии. Он только спросил Вестерна, чего он от него желал бы. Сквайр отвечал, что хорошо было, если бы мистер Олверти держал мерзавца подальше от его дома, а сам он запрет девчонку на замок, так как твердо решил выдать ее за мистера Блайфила, как бы она ни кобенилась. С этими словами он пожал Блайфилу руку, поклявшись, что другого зятя у него не будет, и сейчас же распрощался, говоря, что ему надо спешить домой, потому что там все вверх дном и дочь, того и гляди, даст тягу; а Джонса поклялся, если поймает у себя в доме, так отделать, что молодчик меринком от него выбежит.

Когда Олверти и Блайфил снова остались одни, между ними воцарилось долгое молчание; молодой человек все время вздыхал, частью с досады, но больше от злобы: успех Джонса был для него гораздо больнее, чем потеря Софьи.

Наконец дядя спросил, что он намерен делать, и Блайфил отвечал: .

- Увы, сэр, может ли быть вопрос, какие шаги предпринять любящему, когда рассудок и страсть увлекают его в разные стороны? Боюсь, что, поставленный перед такой дилеммой, он всегда будет следовать за страстью. Рассудок приказывает мне оставить всякую мысль о женщине, отдавшей свою любовь другому; страсть лелеет

надежду, что со временем она переменится и будет ко мне благосклоннее. Но тут я предвижу одно возражение, которое, если его не опровергнуть начисто, должно удержать меня от всяких дальнейших домогательств: я разумею несправедливость попыток вытеснить соперника из сердца, которым он, по-видимому, уже владеет; с другой стороны, непреклонное решение мистера Вестерна показывает, что, не сходя с взятого мною пути, я буду содействовать общему счастью: не только счастью отца, который будет набавлен таким образом от величайшего горя, но и счастьем двух других сторон, для которых брачный союз был бы гибелью. Мисс Вестерн, я уверен, ждет полная гибель; ибо, не говоря уже о потере большей части своего состояния, она выйдет за нищего, и те незначительные средства, которые отец не вправе у нее отнять, будут растрочены на гулящую девку, насколько мне известно, еще не прекратившую своей связи с Джонсом. Но это бы все пустяки; главное - то, что он один из самых дурных людей на свете, и если бы мой дорогой дядя знал все, что я до сих пор старался скрывать, то давно предоставил бы собственной участи такого отъявленного мерзавца.

- Как! - воскликнул Олверти.- Неужели он сделал что-нибудь еще худшее? Пожалуйста, расскажи.

- Нет,- отвечал Блайфил,- это дело прошлое, и, может быть, теперь он уже раскаялся.

- Приказываю тебе рассказать все, на что ты намекаешь,- обратился к нему Олверти.

- Вы знаете, сэр,- сказал Блайфил,- я никогда не отказывал вам в повиновении, но я жалею, что сказал об этом, потому что похоже, будто это сделано мной в отместку, тогда как, благодарение богу, у меня и мысли такой не было. И если уж я должен все раскрыть, позвольте мне также заступиться за него и просить вас о прощении.

- Я не принимаю никаких условий,- отвечал Олверти.- Кажется, я и без того оказывал ему слишком много снисхождения, может быть, больше, чем следовало.

- Боюсь, что больше, чем он заслуживал,- сказал Блайфил.- В тот самый день, когда вы были так опасно больны, когда я и все домашние проливали слезы, он предался разгулу и бесчинствовал, напился пьян, пел песни, орал во всю глотку; а когда я мягко намекнул ему на неприличие такого поведения, он пришел в ярость, страшно бранился, назвал меня подлецом и побил.

- Что? Он смел тебя бить?! - воскликнул Олверти.

- Право, я давно ему это простил,- отвечал Блайфил,- но не могу так легко забыть его неблагодарность к лучшему из благодетелей. Однако даже и это, я надеюсь, вы ему простите, потому что в него не иначе как вселился бес. В тот самый вечер я и мистер Тваком вышли подышать чистым воздухом, обрадованные появлением первых признаков благоприятного перелома вашей болезни, и, на свое несчастье, застали его с какой-то девкой в положении, о котором неприлично рассказывать. Мистер Тваком, проявив больше смелости, чем благоразумия, подошел к нему с намерением сделать выговор, но Джонс (прискорбно рассказывать об этом!) набросился на нашего почтенного наставника и так жестоко избил его, что, вероятно, он и до сих пор еще покрыт синяками. Досталось и мне от его кулаков, когда я попробовал вступить за своего учителя; я давно простил ему и уговорил мистера Твакома простить и ничего вам не рассказывать, опасаясь, что это может иметь для Джонса роковые последствия. Но если я уж сделал такую оплошность и проговорился об этом прискорбном случае, а затем, повинувшись вашему приказанию, рассказал вам все, то разрешите мне также, сэр, вступить за него пред вами.

- Не знаю, друг мой,- сказал Олверти,- бранить мне тебя или хвалить за то, что по доброте сердца ты скрывал от меня такую гнусность. Но где же мистер Тваком? Мне нужно от него не подтверждение твоего рассказа, а всестороннее освещение

дела, чтобы оправдать в глазах света примерное наказание, которому я решил подвергнуть это чудовище.

Послали за Твакомом, и он сейчас же явился. Педагог полностью подтвердил весь рассказ Блайфила и даже показал памятку на своей груди в виде явственно сохранившейся подписи мистера Джонса синими и черными буквами. В заключение он сказал мистеру Олверти, что давно бы уже сообщил ему об этом событии, если бы не неотступные просьбы мистера Блайфила.

- Превосходный юноша,- сказал он,- только слишком уж далеко заходит в своем прощении врагов.

Действительно, Блайфил приложил тогда немало усилий, чтобы уговорить священника не жаловаться мистеру Олверти, и имел на то достаточные основания. Он знал, что болезнь смягчает обычную суровость человека и делает его добрее. Кроме того, он думал, что если рассказать обо всем, когда дело свежо и в доме еще находится врач, который может открыть настоящую правду, то ему никогда не удастся придать случившемуся желательный для него дурной оборот. И Блайфил решил припрятать все это про запас, ожидая случая, когда какая-нибудь новая оплошность Джонса вызовет дополнительные жалобы,- ибо он рассчитал, что когда на Джонса обрушатся всей своей тяжестью сразу несколько обвинений, то они тем вернее его раздавят. Вот почему Блайфил стал дожидаться случая вроде того, каким судьба так любезно подарила его теперь. Наконец, уговаривая Твакома молчать до времени, он знал, что таким способом укрепит в мистере Олверти мнение о своих дружеских чувствах к Джонсу, которое он всеми силами старался поддерживать.

ГЛАВА XI,

коротенькая, но содержащая, достаточно материала, чтобы растрогать сердобольного читателя

У мистера Олверти было обыкновение никогда никого не наказывать, даже не рассчитывать слуг в пылу гнева. Он решил поэтому отложить исполнение приговора над Джонсом до после полудня.

Бедный юноша явился к обеду как обычно, но у него было слишком тяжело на сердце, и он почти не прикасался к еде. Неласковые взгляды мистера Олверти еще более омрачали его душевное состояние. Он пришел к заключению, что Вестерн сообщил Олверти все, что произошло между ним и Софьей, но об истории с мистером Блайфилом он совсем не думал: в большей части того, что было рассказано Блайфилом, он был совершенно неповинен; а что касается остального, то он сам давно все это простил и забыл и потому не предполагал, чтобы другие могли еще таить на него злобу. Когда обед был окончен и слуги ушли, мистер Олверти взял слово и произнес длинную речь, в которой перечислил все проступки Джонса, особенно те, которые были обнаружены сегодня, а в заключение сказал, что если Джонс не опровергнет возведенных на него обвинений, то он решил навсегда прогнать его с глаз своих.

Джонс оказался в чрезвычайно неблагоприятном положении: трудно защищаться человеку, когда он плохо понимает, в чем его обвиняют. Нужно заметить, что мистер Олверти, говоря об опьянении Джонса и тому подобном во время своей болезни, из Скромности опустил все, что относилось собственно к нему, а в этом и заключалось главным образом преступление. Джонс не мог отрицать фактов, приведенных мистером Олверти. Вдобавок сердце Нова было так истерзано, а состояние духа такое подавленное, что он ничего не мог сказать в свою защиту все признал и, подобно преступнику, впавшему в отчаяние, просил только о снисхождении. Закончил он заявлением, что хотя должен признать себя виновным во многих безрассудствах и оплошностях, однако не сделал ничего такого, что заслуживало бы величайшего из наказаний, какое только может постичь его на свете.

Олверти отвечал, что он и так уж слишком часто прощал ему, жалея его

молодость и в надежде на исправление, но что теперь находит его отпетым негодяем, которому было бы преступно оказывать какую-нибудь поддержку или поощрение.

- Больше того,- продолжал сквайр,- ваша дерзкая попытка похитить молодую девушку требует, чтобы я наказал вас ради сохранения своего доброго имени. Свет, уже бранивший меня за оказываемое вам внимание, может теперь подумать с некоторым правом, будто я потворствую столь низкому и грубому поступку поступку, который между тем, как вам это отлично известно, вызывает во мне отвращение и которого вы никогда бы не совершили, если бы хоть немного считались с моим спокойствием и честью и дорожили моим дружеским к вам отношением. Стыдитесь, молодой человек! Едва ли есть наказание, которое равнялось бы вашим преступлениям, и я не знаю, как мне оправдаться перед самим собой в том, что я собираюсь вам назначить. Однако я воспитал вас, как родного сына, и не хочу пускать вас по миру нагишом. Когда вы вскрыете этот бумажник, вы найдете в нем средства, которые помогут вам начать честную трудовую жизнь; но если вы их употребите на дурное, то я не буду считать себя обязанным оказывать вам поддержку и впредь, потому что решил с этого дня не иметь с вами никаких сношений. И еще я должен сказать, что больше всего в вашем поведении огорчает меня то, что вы так худо обошлись с этим прекрасным молодым человеком (он подразумевал Блайфила), который относился к вам с такой любовью и уважением.

Эти последние слова похожи были на горькое лекарство, которое застревает в горле. Слезы потоком полились из глаз Джонса, и он точно лишился всякой способности говорить и двигаться. Понадобилось некоторое время, прежде чем он оказался в силах исполнить решительное приказание Олверти удалиться; наконец он это сделал, поцеловав сначала руки сквайра с жаром, который трудно подделать и еще труднее описать.

Надо обладать слишком чувствительным сердцем, чтобы осудить мистера Олверти за суровость его приговора, учитывая, в каком свете представлялось ему тогда поведение Джонса. А между тем все соседи, из чувствительности или из каких-либо худших побуждений, объявили эту справедливую строгость бесчеловечной жестокостью. Те самые люди, которые раньше порицали отзывчивого сквайра за его доброту и любовь к незаконнорожденному (его собственному, по общему мнению, сыну), теперь завопили против него за то, что он выгнал вон родное дитя. В особенности женщины взяли единодушно сторону Джонса и распустили столько слухов по этому случаю, что, за недостатком места, мне их и не пересказать в этой главе.

Нельзя, однако же, умолчать, что при этих пересудах никто даже не заикнулся о сумме, лежавшей в бумажнике, который Олверти вручил Джонсу, а было там не меньше пятисот фунтов,- напротив, все в один голос говорили, что бесчеловечный отец выгнал его из дому без гроша и даже, по словам иных, нагишом.

ГЛАВА XII,

содержащая любовные письма и т. п.

Джонс получил приказание немедленно покинуть дом, и ему было обещано выслать платье и другие вещи, куда он укажет.

Повинуясь этому распоряжению, он отправился в путь и прошел с милю, не глядя и почти не соображая, куда он идет. Наконец ручеек преградил ему дорогу; он бросился на землю, не удержавшись при этом от негодующего восклицания.

- Надеюсь, отец не запретит мне полежать на этой лужайке!

И он принялся рвать на себе волосы и совершать множество других действий, обыкновенно сопровождающих припадки безумия, бешенства и отчаяния.

Дав таким образом выход своему волнению, Джонс начал понемногу приходить в себя. Горе его приобрело другую, более мягкую форму, и он мог довольно хладнокровно обсудить, какие шаги следует ему предпринять в этом плачевном

положении.

Он был в большой нерешительности, как ему вести себя по отношению к Софье. Мысль покинуть девушку раздирала его сердце; но сознание, что он будет причиной ее гибели и нищеты, было для него, пожалуй, еще большей пыткой. Кроме того, если пылкое желание обладать ею и могло побудить его остановиться на минуту на этой возможности, однако он вовсе не был уверен, что она решится на такую жертву для удовлетворения его страсти. Неудовольствие мистера Олверти и огорчение, которое он причинил бы ему, были сильными доводами против того, чтобы пуститься по этому пути. Наконец, очевидная невозможность добиться успеха, даже если бы он пренебрег всеми этими соображениями, окончательно отрезвила его. Таким образом, чувство чести, подкрепленное отчаянием, благодарностью к благодетелю и подлинной любовью к Софье, в заключение одержало верх над пламенным желанием, и Джонс решил лучше покинуть возлюбленную, чем погубить ее своими домогательствами.

Трудно тому, кто этого не испытывал, представить, какая жаркая волна прилила к груди юноши, когда он впервые сознал свою победу над страстью. Гордость так приятно щекотала его, что он наслаждался, пожалуй, полным счастьем; но счастье это было недолгое, Софья скоро снова заполнила его воображение и приправила радостное торжество той острой болью, какую испытывает добрый и чувствительный генерал при виде груды трупов, кровью которых куплены его лавры; тысячи нежных помыслів лежали убитые у ног нашего победителя.

Решившись, однако, следовать по стопам чести - этого гиганта, по словам гигантского поэта Ли,- он задумал написать Софье прощальное письмо; с этим намерением он зашел в ближайший дом и, получив необходимые письменные принадлежности, написал следующее:

"Сударыня!

Если Вы примете во внимание, в каком положении я пишу Вам это письмо, то, уверен, великодушно простите все несообразности и нелепости, которые в нем содержатся; каждая строка его вытекает прямо из сердца, настолько переполненного, что никакой язык не выразит моих чувств.

Я решил подчиниться Вашим приказаниям, сударыня, бежав навсегда от Вашего дорогого, Вашего милого общества. Жестоки эти приказания, но жестокость их исходит от судьбы, а не от моей Софьи. Судьба сделала необходимым необходимым для Вашего благополучия,- чтобы Вы навсегда забыли о существовании несчастного, которого зовут Джонсом.

Поверьте, я бы и не заикнулся Вам о своих страданиях, если бы не был уверен, что весть о них все равно дойдет до Вашего слуха. Я знаю доброту и отзывчивость Вашего сердца и не хотел бы возбуждать в Вас сострадание, в котором Вы не отказываете никому из несчастных. Пусть же весть о моих злоключениях, как бы ни были они тяжелы, Вас не тревожит: потеряв Вас, я считаю все остальное безделицей.

О Софья! Тяжело Вас покинуть, еще тяжелее просить, чтобы Вы меня забыли; но искренняя любовь требует и того и другого. Простите мне дерзкую мысль, что воспоминание обо мне способно причинить Вам тревогу; но если я могу утешиться этим в своем несчастье, пожертвуйте мной ради Вашего спокойствия. Вообразите, что я никогда не любил Вас, додумайте, как мало я Вас стою, и проникнитесь ко мне презрением за самонадеянность - порок, заслуживающий самого сурового наказания. Больше ничего я не в силах сказать. Да оберегают каждый Ваш шаг ангелы-хранители!"

Джонс хотел достать сургуч, обшарил карманы, но они оказались совершенно пусты: катаясь по траве в припадке отчаяния, он растерял все свои вещи, в том числе и полученный от мистера Олверти бумажник, который он еще не открывал и о

котором сейчас только вспомнил.

В доме нашлась, однако, облатка, которой Джонс запечатал письмо, после чего торопливо вернулся на берег ручья искать потерянные вещи. По дороге он встретил своего старого приятеля Черного Джорджа, который выразил ему сердечное сочувствие по случаю постигшего его несчастья, весть о котором уже разнеслась по всему околотку и достигла ушей сторожа.

Джонс рассказал Черному Джорджу о своей потере, и оба вернулись к ручью, обшарили каждый кустик травы как там, где был Джонс, так и там, где его не было; но все поиски оказались напрасны, они ничего не нашли - по той простой причине, что хотя вещи находились на лужайке, но приятели забыли поискать в том месте, куда они были положены, то есть в кармане Черного Джорджа. Он нашел их перед самой встречей с Джонсом и, удостоверившись в их ценности, тщательно припрятал для собственного употребления.

Проявив такое рвение, точно он и впрямь надеялся найти потерянное, сторож попросил Джонса припомнить, не был ли он еще где-нибудь.

- Ведь если бы вы потеряли их здесь, и так недавно, то они, конечно, здесь бы и находились,- сказал он,- на эту поляну редко кто заглядывает.

И действительно, сам он зашел сюда совершенно случайно, расставляя силки на зайцев, которых собирался доставить на следующее утро торговцу дичью в Бате.

Джонс оставил всякую надежду найти потерянные вещи в даже перестал думать о них. Обратившись к Черному Джорджу, он с жаром спросил его, не желает ли тот оказать ему величайшую услугу на свете.

Джордж отвечал в некотором замешательстве;

- Сэр, приказывайте мне все, что вам угодно; я от души готов оказать вам любую услугу, если это в моих силах.

Вопрос Джонса смутил его: дело в том, что продажей дичи етврож скопил на службе у мистера Вестерна порядочную сумму денег и испугался, уж не хочет ли Джонс взять у него взаймы.

Но опасения его тотчас рассеялись, когда Джонс попросил его доставить письмо Софье, что он с большим удовольствием обещал исполнить. И действительно, мне кажется, Черный Джордж охотно готов был чем угодно услужить мистеру Джонсу, потому что питал к нему благодарность, насколько мог, и был честен, насколько вообще бывают честны люди, любящие деньги больше всего на свете.

Оба согласились, что самым подходящим посредником для передачи письма Софье будет миссис Гонора. После этого они расстались; сторож вернулся в усадьбу мистера Вестерна, а Джонс направился в кабачок дожидаться возвращения посланного.

Войдя в дом своего хозяина, Джордж тотчас же встретился с миссис Гонорой. После нескольких предварительных вопросов, сделанных из осторожности, он отдал ей письмо для Софьи и тут же получил от нее другое письмо, для мистера Джонса, которое Гонора, по его словам, целый день носила за пазухой и уже отчаялась найти средство передать по назначению.

Сторож радостно поспешил с ним к Джонсу, а тот, взяв его, тотчас удалился, с нетерпением вскрыл и прочел следующее:

"Сэр!

Невозможно выразить, что я почувствовала после того, как рассталась с Вами. Навсегда буду Вам обязана за то, что Вы из-за меня так кротко перенесли грубые оскорбления моего отца. Вы знаете его характер, и потому прошу Вас, из уважения ко мне, избегайте с ним встречи. Жаль, что не могу сообщить Вам ничего утешительного; но будьте уверены, что только разве самое грубое насилие заставит меня отдать руку и сердце тому, кого Вам было бы неприятно видеть рядом со мной".

Джонс сто раз перечитал это письмо и столько же раз поцеловал его. Страсть

оживила в нем все любовные помыслы. Он пожалел, что написал Софье свое письмо, но еще больше пожалел о написанном и отправленном в отсутствие Черного Джорджа письме к мистеру Олверти, в котором дал торжественное обещание и обязательство оставить всякую мысль о своей любви. Когда к нему снова вернулась способность рассуждать хладнокровно, он ясно увидел, что письмо Софьи несколько не улучшает и не изменяет его положения и разве только подает слабый проблеск надежды на благоприятный оборот дела в будущем, свидетельствуя о постоянстве его возлюбленной. Это укрепило его в прежнем решении, и, попрощавшись с Черным Джорджем, он направился в город, находившийся милях в пяти, куда он просил мистера Олверти переслать его вещи, если ему не будет угодно отменить свой приговор.

ГЛАВА XIII

Поведение Софьи при сложившихся обстоятельствах, за которое ее не станет порицать ни одна представительница прекрасного пола, способная поступить таким же образом, а также разбор одного запутанного вопроса перед судом совести

Софья провела последние сутки не очень завидно. Большую часть этого времени тетка развлекала ее поучениями о благоразумии, советуя ей брать пример с благовоспитанного общества, где в настоящее время любовь (по словам почтенной дамы) подвергается полному осмеянию и где женщины смотрят на брак совершенно так же, как мужчины - на общественные должности,- то есть только как на средство составить себе состояние и сделать карьеру в свете. Миссис Вестерн несколько часов подряд упражняла свое красноречие, развивая эту тему.

Как ни мало подходили к вкусам и наклонностям Софьи эти назидательные речи, они, однако, докучали ей меньше, чем собственные мысли, которые не покидали ее всю ночь, не позволив ни на минуту сомкнуть глаза.

И хотя она не могла ни заснуть, ни отдохнуть, однако, не имея никакого дела, лежала, так что отец, вернувшись от мистера Олверти в одиннадцатом часу, застал ее еще в постели. Он отправился прямо в ее комнату, отворил дверь и, увидя, что дочь еще не вставала, закричал:

- О, да ты здесь в целости! Так я тебя и сохраню в целости.

И с этими словами сквайр запер дверь и вручил ключ Гоноре, предварительно строжайшим образом наказав ей стеречь Софью, с обещанием награды за верную службу и угрозами страшного наказания в случае предательства.

Гоноре было отдано приказание не выпускать госпожу из комнаты без разрешения сквайра и не впускать к ней никого, кроме него самого и ее тетки, причем Гонора должна была исполнять все, что Софья от нее потребует, но только ни под каким видом не давать пера, чернил и бумаги.

Сквайр велел дочери одеться и явиться к обеду. Софья повиновалась и, просидев положенное время, была снова отведена в свою темницу.

Вечером тюремщица Гонора принесла ей письмо, полученное от полевого сторожа. Софья внимательно прочла его два или три раза, после чего бросилась в постель, заливаясь слезами. Миссис Гонора была крайне удивлена таким поведением своей госпожи и не могла удержаться от горячей просьбы открыть ей причину горя. Несколько минут Софья не отвечала, а потом, стремительно вскочив с постели, схватила горничную за руку и воскликнула:

- Гонора! Я погибла.

- Боже упаси! - сказала Гонора.- Лучше б это письмо сгорело и я не передавала его вашей милости! Я-то думала, оно порадует вашу милость, черт бы его побрал! Я бы и не притронулась к нему.

- Гонора,- сказала Софья,- ты добрая девушка, и нечего мне дольше скрывать от тебя мою слабость. Я отдала свое сердце человеку, который покинул меня.

- Неужели мистер Джонс такой предатель? - спросила горничная.

- В этом письме он навсегда со мной прощается,- сказала Софья.- Он даже просит, чтобы я его забыла. Мог бы он просить об этом, если бы любил меня? Мог бы он даже подумать об этом? Мог бы написать такие слова?

- Разумеется, нет,- отвечала Гонора.- И верьте слову, если бы даже первый человек в Англии попросил, чтобы я забыла его, я поймала бы его на слове. Вот еще невидаль! Право, ваша милость делает ему слишком много чести, думая о нем,- ведь такая дама, как вы, может выбрать любого кавалера в стране. И, верьте слову, если б у меня хватило дерзости подать мой убогий совет, так я бы указала вам на мистера Блайфила: уж не говоря о том, что он происходит от честных родителей и будет одним из самых крупных помещиков в наших местах, он, верьте слову, по моему убогому мнению, и лицом краше, и гораздо обходительнее; а кроме того, он и характером положительный, и уж никто из соседей ничего худого про него не скажет: не гоняется за замарашками, и ему не подбросят ничьего отродья. Право же, забудьте его! Благодарение богу, я сама не в такой крайности и не потерпела б, чтобы какой-нибудь молодчик попросил меня об этом дважды. Да будь он красавец, а если бы посмел такие оскорбительные слова сказать мне, я его после этого никогда бы на глаза к себе не пустила, пока есть другие молодые мужчины в Англии. Ну, взять хотя бы, как я сказала, мистера Блайфила...

- Не произноси этого ненавистного имени,- прервала ее Софья.

- Что ж, сударыня,- продолжала Гонора,- если он не люб вашей милости, и без него есть много красавчиков, которые так и бросятся ухаживать за вашей милостью, взгляните только на них ласково. Я думаю, нет такого скромного молодого джентльмена в нашем графстве, да и в соседнем, который не предложил бы вам свою руку сейчас, стоит вам сделать вид, что он вам приглянулся.

- За кого ты меня принимаешь,- вспыхнула Софья,- что оскорбляешь мой слух такими гадостями? Я ненавижу всех мужчин на свете!

- И правда, сударыня,- продолжала Гонора,- довольно-таки натерпелась от них ваша милость. Сносить оскорбления от этого нищего, голоштанника без роду, без племени...

- Придержи свой гадкий язык! - перебила ее Софья.- Как ты смеешь произносить так непочтительно его имя при мне? Он меня оскорбил? Нет, его бедное, измученное сердце страдало больше, когда он писал эти жестокие слова, чем мое, когда я читала их. О, он - сама геройская доблесть и ангельская доброта! Мне стыдно за свою слабость, что я порицала его за то, чем должна восхищаться. Давая свой совет, он хочет только добра мне. Ради моего счастья он приносит в жертву и себя и меня. Боязнь погубить меня довела его до отчаяния.

- Очень рада слышать, что ваша милость об этом яе забывает,- сказала Гонора.

- И правда, это значило бы погубить себя - отдать сердце человеку, которого выгнали за порог и у которого нет гроша за душой.

- Выгнали за порог? - поспешно спросила Софья.- Что такое ты говоришь?

- Извольте знать, сударыня, что как только мой хозяин рассказал сквайру Олверти о том, что мистер Джонс осмелился ухаживать за вашей милостью, так сквайр велел раздеть его донага и выгнал вон из дому!

- Как! - воскликнула Софья.- Это я, несчастная, окаянная, была причиной такого ужаса! Выгнали вон голого! Скорее, Гонора! Возьми все мои деньги, сними кольца с моих пальцев. Вот мои часы. Отнеси ему все. Ступай отыщи его сейчас же.

- Ради бога, сударыня,- взмолилась миссис Гонора,- если барин заметит пропажу этих вещей, так ведь меня притянет к ответу. Заклинаю вашу милость не отдавать часов и драгоценностей! К тому же денег, верно, за глаза будет довольно, а о них барин ничего не узнает.

- Так возьми же все, что есть,- сказала Софья,- разыщи его сейчас же и отдай ему. Ступай же, ступай, не теряй ни минуты!

Миссис Гонора повиновалась и, встретив Черного Джорджа в сенях, вручила ему кошелек с шестнадцатью гинейми - всем богатством Софьи. Хотя отец не отказывал ей ни в чем, но собственная щедрость девушки мешала ей быть богатой.

Получив деньги, Черный Джордж отправился в кабачок, где находился Джонс; но дорогой ему пришла в голову мысль: не удержать ли и их? Однако Совесть тотчас же возмутилась против этого гнусного намерения и стала упрекать его в неблагодарности к своему благодетелю. На это Коришь возразила, что Совесть следовало вспомнить об этом раньше, когда он присвоил пятьсот фунтов бедняги Джонса, и что раз уже спокойно допущено похищение такой крупной суммы, то церемониться с безделицей было бы глупостью и лицемерием. В ответ на это Совесть, как хороший юрист, попробовала установить различие между явным злоупотреблением доверия, как в данном случае, когда ценность была передана из рук в руки, и простой утайкой найденного, как в прежнем. Коришь тотчас же подняла Совесть на смех, назвала это различие несущественным и твердо стояла на том, что кто однажды отказался от всяких притязаний на честь и порядочность, тот уже не вправе обращаться к ним в другой раз. Словом, доводы бедной Совесть, наверно, были бы разбиты, если б на помощь к ней не подоспел Страх, принявшийся горячо доказывать, что действительное различие между этими случаями заключается не в различных степенях честности, но в различных степенях безопасности: утаить пятьсот фунтов можно было почти без всякого риска, тогда как присвоение шестнадцати гиней сопряжено было с большой опасностью быть разоблаченным.

Благодаря этой дружеской помощи Страх Совесть одержала полную победу в душе Черного Джорджа и, похвалив его за честность, заставила отдать деньги Джонсу.

ГЛАВА XIV

Короткая глава, содержащая короткий разговор между сквайром Вестерном и его сестрой

Миссис Вестерн весь этот день не было дома. Когда она вернулась, сквайр встретил ее на пороге и на расспросы о Софье сказал, что держит ее в надежном месте.

- Она заперта на замок в своей комнате, а ключ у Гоноры,- пояснял он.

Сквайр посматривал необыкновенно хитро и проницательно, делая это сообщение: вероятно, он ожидал от сестры горячего одобрения за умный поступок. Но каково же было его разочарование, когда миссис Вестерн с самым презрительным видом проговорила:

- Право, братец, меня поражает ваша простота! Почему вы не желаете доверить племянницу моему попечению? Зачем вы вмешиваетесь? Вы расстроили все, что я с таким трудом начала было налаживать. Я все время старалась внушить Софье правила благоразумия, а вы вызываете ее на то, чтобы она их отвергла. Английские женщины, братец, благодарение богу, не рабыни. Нас нельзя сажать под замок, как испанок или итальянок. Мы имеем такое же право на свободу, как и вы. На нас можно действовать только логикой и убеждением, а не насилием. Я видела свет, братец, и знаю, когда какие доводы пускать в ход; и если бы не ваше безрассудное вмешательство, то я, наверно, убедила бы племянницу вести себя сообразно с правилами благоразумия и приличия, которым всегда ее учила.

- Ну конечно, я всегда не прав,- сказал сквайр.

- Братец,- отвечала миссис Вестерн,- вы не правы, когда мешаетесь в дела, в которых ничего не смыслите. Вы должны признать, что я видела свет больше вашего; и как хорошо было бы для моей племянницы, если бы она не была взята из-под моего надзора! Это здесь, живя с вами, набралась она романтических бредней о любви.

- Надеюсь, вы не считаете, что я научил ее всему этому? - обиделся сквайр.

- Ваше невежество, братец,- отвечала миссис Вестерн,- истощает мое терпение,

как сказал великий Мильтон²³.

- К черту Мильтона! - воскликнул сквайр.- Если б он имел наглость сказать мне это в глаза, то я дал бы ему здоровую пощечину, не посмотрев на его величие. Терпение! Раз уж вы, сестрица, заговорили о терпении, так у меня его побольше вашего, потому что я позволяю вам обращаться со мной, как со школьником. Вы думаете, если человек не побывал при дворе, то у него голова пустая? Вздор! Мир совсем зашел в тупик, если все мы дураки, исключая горсточку круглых голов и ганноверских крыс! Дудки! Сейчас наступают времена, когда мы их оставим в дураках, и то-то мы тогда порадуемся! Да-с, сестрица, вволю потешимся! Я, сестрица, надеюсь еще дожить до этого, прежде чем ганноверские крысы успеют съесть все наше зерно, оставив нам на пропитание одну только репу.

- Признаюсь вам, братец,- отвечала миссис Вестерн,- то, что вы говорите, выше моего разума. Ваша репа и ганноверские крысы для меня совершенно непонятны.

- Верю, что вам не очень приятно слышать о них, но интересы страны рано или поздно восторжествуют.

- Мне хотелось бы, чтобы вы подумали немножко об интересах вашей дочери, право, она в большей опасности, чем наша страна.

- А только что вы бранили меня за то, что я слишком забочусь о ней, и выражали желание, чтобы я предоставил ее вам,- возразил сквайр.

- Если вы обещали мне больше не вмешиваться,- отвечала миссис Вестерн,- то я ради племянницы возьму все на себя.

- Прекрасно, берите,- сказал сквайр,- ведь вы знаете, я всегда был того мнения, что женщины скорее всего управятся с женщинами.

После этого миссис Вестерн удалилась, презрительно бормоча что-то насчет женщин и управления государством. Она направилась прямо в комнату Софьи, и та, после суточного заключения, была снова выпущена на свободу.

1 Каждый раз, когда это слово встречается в наших сочинениях, оно означает людей, лишенных добродетелей и здравого смысла, не разбирая звания, и часто при этом подразумеваются особы самого высокого ранга.

2 Не желаю быть епископом (лат.).

3 Полноправна (лат.).

4 По божественному праву (лат.).

5 Дай мне чего-нибудь выпить (лат.).

6 В один голос (итал.).

7 Устно (итал.).

8 Мое и твое (лат.).

9 Блеск, сверкающий чище паросского мрамора (лат.).

10 Дикой природы (лат.).

11 Ничьей собственностью (лат.).

12 Перед судом совести (лат.).

13 Английский читатель не найдет этого в поэме: суждение Пенелопы совершенно опущено в переводе.

14 Вот уже второе лицо низкого звания среди героев этой истории, происходящее из духовенства. Нужно надеяться, что в будущем, когда семьи низшего духовенства будут лучше обеспечиваться, такие примеры будут казаться более странными, чем кажутся в настоящее время.

15 Всякому, опытному в искусстве своем, надлежит верить (лат.).

16 Сам сказал (лат.).

17 Я облегчил душу свою (лат.).

18 Какая скромность или умеренность может поставить границы нашей тоске по столь дорогому другу? (лат.). Слово *desiderium* перевести нелегко. Оно обозначает как желание снова насладиться обществом нашего друга, так и печаль,

сопровождающую это желание.

19 В прежнее положение (лат.).

20 Отойдите прочь, нечестивцы,- так восклицает вещунья,- из всей изыдите рощи! (лат.).

21 Всему роду живых существ (лат.).

22 "Мемуары, служащие пособием для изучения истории" (франц.).

23 Читатель тоже истощит, пожалуй, свое терпение, если станет отыскивать это место в сочинениях Мильтона.